

ANNALES INSTITUTI PHILOGIAE SLAVICAE
UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS
DE LUDOVICO KOSSUTH NOMINATAE

SLAVICA

XX.

ADIUVANTIBUS

L. DEZSŐ, E. NIEDERHAUSER

REDIGUNT

ENDRE IGLÓI, FERENC PAPP



DEBRECEN, 1984

**СОТРУДНИКИ
НАШЕГО ТОМА**

ЛУИ АЛЛЕН
(см. Slavica XVIII.)

АГНЕСЬ ГЕРЕБЕН
(см. Slavica XIX.)

В. Г. ЕЛКИН
доцент при кафедре русской литературы
педагогического института
(СССР, Владимир)

ЛАСЛО ИМРЕ
(см. Slavica XV.)

ЙОЖЕФ КРЕКИЧ
доцент при кафедре русского языка
педагогического института им. Д. Юхаса
(Венгрия, 6725 Сегед)

ЛАСЛО ЛИБЕР
(см. Slavica XVI.)

ЭСТЕР ОЙТОЗИ
(см. Slavica XII.)

ИШТВАН ЧАПЛАРОШ
(см. Slavica XI.)

АТТИЛА ШАЛГА
старший преподаватель при кафедре
русского языка
(Венгрия, 4010 Дебрецен)

ЛАЙОШ М. ТАКАЧ
старший преподаватель при кафедре
русской литературы
(Венгрия, 4010 Дебрецен)

ПАЛ УЗОНИ
ассистент при кафедре русского языка
(Венгрия, 4010 Дебрецен)

В. А. ФЕДОСОВ
доцент при кафедре русского языка
педагогического института
(СССР, Владимир)

ИШТВАН ФРИД
(см. Slavica XVII.)

ЛАЙОШ ХОПП
(см. Slavica XV.)

МИХАЙ ХОППАЛ
(см. Slavica XIV.)

ЛАСЛО ХУНЯДИ
(см. Slavica XVIII.)

ЛАСЛО ЯГУСТИН
(см. Slavica XV.)

SLAVICA XX.

ANNALES INSTITUTI PHILOLOGIAE SLAVICAE
UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS
DE LUDOVICO KOSSUTH NOMINATAE

SLAVICA

XX.

ADIUVANTIBUS

L. DEZSŐ, E. NIEDERHAUSER

REDIGUNT

ENDRE IGLÓI, FERENC PAPP

DEBRECEN, 1984

Категория залога в русском языке

А. ШАЛГА

1. Несмотря на богатую традицию в изучении грамматической категории залога, проблематика, связанная с залогами русского глагола, по-прежнему вызывает живой интерес у лингвистов. В.В. Виноградов пишет, что «в понятие залога вкладывалось и вкладывается крайне разнообразное и противоречивое лексико-грамматическое содержание»¹.

1.1. Главная причина необычной противоречивости залоговых концепций заключается в сложности самого языкового материала, относящегося к данной категории. Во-первых, русские глаголы лишены системы залоговых флексий, во-вторых, в русском языке залоговые значения выражаются своеобразно. В частности постфикс *-ся*, служащий одним из средств обозначения залоговых форм, характеризуется полифункциональностью и трудно отграничить случаи, когда эта морфема выполняет формообразовательную роль, когда — словообразовательную.

1.2. В традиции русской грамматики было принято называть залогами то, что в действительности представляло две разные системы отношений: одна из них оперирует понятием «*объект*» (V — O), а центром другой системы является «*субъект*» («*деятель*», «*агент*»; V — S или S — V). Поэтому одни лингвисты признают, что залог выражает отношение глагола к дополнению, т. е. отношение действия к объекту. В основе классификации залогов здесь лежит переходность/непереходность глаголов. В соответствии с этим различаются два залога: *действительный* (переходный) и *средний* (непереходный). Ср. Мама моет руку. — Мама моется. Залог в данном случае выражается синтаксически — сочетанием глагола-сказуемого с прямым дополнением.

Несомненно, что переходность/непереходность глагола связана с категорией залога, однако не совпадает с нею.

Применение принципа в разграничении залоговых форм, когда во внимание берутся отношения лишь двух элементов (S — V или V — O), вызывает возражение у многих лингвистов.

¹ В. В. Виноградов. Русский язык (грамматическое учение о слове). М., «Высшая школа», 1972, стр. 447.

1.3. В классификации залогов русского глагола широкое распространение получил принцип, согласно которому данная грамматическая категория выражает самые общие различия в отношениях между деятелем, процессом и предметом (S—V—O). Приведем определение залога, данное в академической «Грамматике русского языка» 1952 года: «Категория залога обозначает отношения между субъектом действия (производителем действия) и объектом, находящие свое выражение в форме глагола»².

2.1. При разработке универсально-типологической теории залога А. А. Холодович³ и его последователи рассматривают соотношение двух «объектов»: один из них семантического характера (например, партиципаны ситуации), а другой синтаксического (предикат с его переменными — актантами — подлежащим и дополнением, а также сирконстантами, т. е. обстоятельствами). В книге «Типология пассивных конструкций» В. С. Храковский так определяет проблематику диатезы: «Условимся называть диатезой соответствие членов предложения партиципантам ситуации. Тогда соответствие членов предложения партиципантам ситуации, фиксируемое в исходной конструкции, можно назвать исходной диатезой. При переходе от исходной конструкции к производной происходит изменение исходной диатезы. Суть изменения заключается в том, что партиципаны обозначаются не теми членами предложения, что в исходной конструкции, или на лексическом уровне не обозначаются вовсе. Диатезу, фиксируемую в производной конструкции, будем называть производной диатезой. Деривационные отношения, связывающие исходную и производную конструкцию, условимся называть залоговыми»⁴.

Такое расширительное толкование термина «залог», какое дается в данной книге, вряд ли оправдано. В своей рецензии на нее Л. Дэже указывает на целесообразность сохранения этого термина в традиционном понимании для обозначения тех диатез, в которых происходит изменение исходной формы предиката⁵.

2.2. Универсально-типологической теории залога противостоит системно-полевой подход к залоговым явлениям, разработанный А. В. Бондарко⁶, который полагает, что эти концепции находятся в отношении дополнительности, поскольку разные точки зрения связаны с направленностью исследования разных сторон изучаемого объекта, с различием сферы, приемов и целей анализа⁷. По мнению А. В. Бондарко, залог передает значение центробеж-

² Грамматика русского языка, т. 1. М., Изд-во АН СССР, 1952, стр. 412.

³ См. Категория залога. (Материалы конференции.) Л., 1970; Типология пассивных конструкций. Диатезы и залого. Л., «Наука», 1974.

⁴ В. С. Храковский. Пассивные конструкции. — В кн. «Типология пассивных конструкций. Диатезы и залого». Л., «Наука», 1974, стр. 13.

⁵ См. Л. Дэже. Рецензия на книгу «Типология пассивных конструкций. Диатезы и залого». — *Вопросы языкознания*, 1977, № 3, стр. 136.

⁶ См. А. В. Бондарко. К теории поля в грамматике — залог и залоговость (на материале русского языка). — *Вопросы языкознания*, 1972, № 3, стр. 20—35.; Теория морфологических категорий. Л., «Наука», 1976.

⁷ А. В. Бондарко. Теория морфологических категорий, стр. 244.

ной (при активе), или центростремительной (при пассиве) направленности глагольного признака по отношению к его носителю. Данная грамматическая категория находит синтаксическое выражение в оппозиции конструкций, основное различие между которыми заключается в соответствии носителя глагольного признака либо логическому субъекту (актив), либо логическому объекту (пассив), а морфологическое выражение — в глаголе⁸.

3.1. В дальнейшем мы переходим к более подробной характеристике данной грамматической категории в том ее понимании, которое сложилось у нас под влиянием изученных нами теорий.

Залог — это грамматическая категория, выражающая отношение действия к субъекту и объекту в определенной системе оппозиций.

В основу выделения залогов в русском языке кладется принцип, в соответствии с которым учитывается отношение глагольного действия как к субъекту (S — V), так и к объекту (V — O).

Существуют два залога: *действительный* и *страдательный*. Они различаются в зависимости от направленности действия по отношению к субъекту (производителю действия), или к объекту. Если действие представлено как исходящее от субъекта (носителя признака, обозначенного глагольным словом) или как сосредоточенное в самом субъекте, то мы имеем дело с активными конструкциями, в которых употребляются глаголы действительного залога. При этом в центре внимания находится субъект, производящий или испытывающий какое-либо состояние. В пассивных конструкциях на первый план выдвигается объект, подвергающийся определенному действию, которое передается глаголом страдательного залога, а субъект может быть назван или не назван.

3.2. Употребление активных и пассивных конструкций (типа *Учитель проверил тетради учеников* и *Тетради учеников проверены учителем*) связано с различием в отражении внеязыковой действительности в актуальном членении предложения (высказывания). Это значит, что составляющие компоненты описываемой речевой ситуации могут передаваться различными предложениями при одном и том же их лексическом составе, но отличающимися по своей залоговой характеристике. «Сущность грамматической категории залога, — пишет В. З. Панфилов — состоит не только в том, что она фиксирует различные отношения актантов к действию, но она состоит также в различии хода познания и языковых способов выражения этих отношений»⁹.

При выражении субъектно-объектных отношений в русском языке употребляются чаще всего активные конструкции, в центре внимания которых при прямом порядке слов находится субъект, производящий действие (тема высказывания), а последующая часть предложения является рематической: *Вновь нахлынувшая толпа бегущих захватила его с собой и повлекла назад* (Л. Толс-

⁸ Там же, стр. 233.

⁹ В. З. Панфилов. Языковые универсалии и типология предложения. — *Вопросы языкознания*, 1974, № 5, стр. 10.

той). В пассивных конструкциях — наоборот: тему высказывания составляет объект действия, а рему — субъект: Волнистая равнина вся исхлестана серыми дорогами (М. Горький).

Однако активная конструкция может употребляться и в том случае, если объект действия выступает в качестве данного. При этом используется обратный порядок слов (инверсия): Чистым воздухом подышим в тесном царстве ивняка, песню иволги услышим, а в осоке — кулика (С. Васильев).

3.3. Функциональная нагрузка между активом и пассивом в русском языке распределена не одинаково. Действительные конструкции в нем представлены весьма богато, и они широко используются во всех стилях речи. Сфера употребления страдательных оборотов ограничена: они распространены, главным образом, в книжной речи (особенно деловой); их удельный вес незначителен. Такое неравномерное распределение залоговых конструкций в русском языке предопределяет и способ изучения актива и пассива с точки зрения их грамматического выражения. Поскольку актив представлен чрезвычайно богато, но границы его весьма расплывчаты, диффузны, а пассив, наоборот, представлен бедно, но границы его более четки и определены, то вполне правомерно рассмотреть сначала средства выражения пассива (т. е. страдательного залога), а актив (действительный залог) можно выявить на основе отрицательного противопоставления. Иначе говоря, если мы сумеем установить границы пассива и определить формальные показатели страдательного залога, то нам будет легче выделить активные конструкции вообще, глаголы действительного залога в частности: то, что не является пассивом, составляет актив; то, что не относится к страдательному залогу, принадлежит к действительному.

3.4. Как оформляется в русском языке пассив? Какие формальные средства выражения страдательного залога существуют?

Страдательный залог (пассив) выражается А) морфологически и Б) синтаксически. Морфологическими показателями страдательного залога являются а) особые образования — страдательные причастия (разыскиваемый, пойманный, пойман); б) формообразующий постфикс *-ся* (ошибки исправляются самими учениками). Форма страдательного причастия является самым надежным и достаточным средством выражения пассива. Ср.: Нами ты была любима и для милого хранима (А. Пушкин); Гул моря, изредка прерываемый раскатистыми выстрелами в Севастополе, один нарушает тишину утра (Л. Толстой); Как крепнет весь человек, охваченный свежим дыханием весны (И. Тургенев); Врага отбросила Москва, и спасена Россия (А. Твардовский).

В первых трех из этих предложений страдательный залог выражен избыточно: синтаксическая характеристика залога (наличие при глагольном слове косвенного дополнения, выраженным «творительным действующим предметом»: любима нами, передаваемый выстрелами, охваченный дыханием весны) накладывается на «готовую» морфологическую характеристику. Наличие в предложении какого-либо страдательного причастия, не подвергающегося адъективации, свидетельствует о том, что в этом предложении имеется пассив, который может выражаться данным причастием и при отсутствии творительного субъекта (ср. последний пример).

Таким образом, морфологическим ядром пассива являются формы стра-

дательных причастий. Принадлежность этих образований к данному залогу определяется чисто морфологически, в отвлечении от конкретного лексического наполнения, от синтаксической конструкции.

Иная картина наблюдается, когда в предложении имеются *возвратные глаголы*. Постфикс *-ся* служит и активу и пассиву. Более того, один и тот же возвратный глагол в зависимости от своего значения в одном случае может выступать как показатель пассива, в другом — актива. Ср.: Дома строятся плотниками — Хозяева строятся летом; Грибы собираются на опушке леса — Пионеры собираются в поход. В первых из примеров возвратные глаголы образуют пассивные конструкции, во вторых — активные. При определении залоговой принадлежности возвратных глаголов необходимо иметь в виду прежде всего то, образованы ли они от переходных глаголов или нет.

Все возвратные глаголы, образованные от транзитивных глаголов постфиксом *-ся*, выражают действие субъекта, не переходящее на прямой объект, а как бы возвращающееся к самому производителю и относятся к действительному залогу.

Отношения между субъектом к объектом действия в русских глаголах проявляются как в значениях самих глаголов, так и в их синтаксических связях. Глаголы страдательного залога, в отличие от действительного, способны сочетаться с косвенным (агентивным) дополнением, выраженным существительным в творительном падеже. Ср.: Чины людьми даются, а люди могут обмануться (А. Грибоедов).

Поскольку важнейшим грамматическим показателем страдательного залога является творительный падеж существительного со значением деятеля, реального субъекта действия, то при определении залоговой формы возвратного глагола необходимо выяснить, имеется ли в предложении при этом глаголе агентивное дополнение или его можно подразумевать. Иными словами, глагол страдательного залога характеризуется наличием при нем творительного субъекта (Вовек не забудется народом Евфросиньюшка, посадская вдова — Н. Некрасов), причем синтаксическое место творительного падежа может оставаться незамещенным (Как? . . . Разве у вас приказы сперва сочиняются? — И. Тургенев) Естественно, значение страдательного залога более очевидно в тех случаях, когда в предложении присутствует агентивное дополнение. Когда же его нет, то в распознавании залоговых образований помогает прием подстановки: если возвратный глагол допускает при себе творительный действующего предмета, то можно сказать, что постфикс *-ся* в данном случае служит средством выражения значения страдательного залога, а если невозможно сочетание глагола с творительным субъекта, то он принадлежит к действительному залогу. Ср.: Сказали ему, что письма опускаются в почтовые ящики, а из ящиков развозятся по всей земле на почтовых тройках (А. Чехов). Глаголы *опускаются* (кем-то) и *развозятся* (кем-то) — страдательного залога. Вот солнце коснулось тихой воды у берега, — кажется, что вся река подалась туда, где окинулось солнце (М. Горький) — все возвратные глаголы в этом предложении действительного залога.

Сочетаемость возвратных глаголов с творительным субъекта зависит

от многих факторов, в частности от лексического и словообразовательного значения данного глагола, от вида, наклонения и лица¹⁰.

3.5. Таким образом, в системе залогов русского языка представлены две различные по своему характеру оппозиции: переходный глагол — пассивное причастие и переходный глагол — возвратный глагол со значением страдательного залога. В первой оппозиции залог выступает как категория морфологическая (собственно грамматическая категория словоизменительного типа), а во второй — как синтаксическая (или лексико-грамматическая). Синтаксический аспект проблемы залога в русском языке приобретает исключительно большое значение в том случае, когда возникает необходимость дифференциации залоговых отношений, выраженных возвратными глаголами.

¹⁰ См. А. В. Бондарко—Л. Л. Буланин. Русский глагол. Л., «Просвещение», 1967, стр. 130—182.; Л. Л. Буланин. Трудные вопросы морфологии. М., «Просвещение», 1976, стр. 130—138.

Die pantiven und totiven *po*-Ingressiva in der russischen Sprache

J. KRÉKITS

In der russischen Sprache werden Ingressiva mit dem Präfix *po-* auch von den Simplizia gebildet, die einen körperlichen oder seelischen Zustand und eine sinnliche Wahrnehmung bezeichnen: чувствовать → почувствовать, чутя → почувять, любить → полюбить, нравиться → понравиться, жалеть → пожалеть, слышаться → послышаться.

Das sind perfektive Verba, in deren Beurteilung die Spezialisten die verschiedensten Standpunkte einnehmen. *V. V. Vinogradov* betrachtet die ersten fünf Verben als reine Aspektpaare.¹ Ähnlich äußert sich auch *W. Boeck* darüber, aber mit Vorbehalt: „Es sind Verben mit der Aspektkorrelation Simplex — Kompositum mit einem Präfix, das noch nicht vollständig bedeutungsentleert ist.“² *A. N. Tihonov* kam zur Schlußfolgerung, daß das Verbum полюбить sowohl eine ingressive, als auch eine resultative Bedeutung haben kann: „В начинательном значении глагол полюбить в современном русском языке употребляется только как синоним (не)взлюбить и так же, как и глагол (не)взлюбить, имеет фразеологически связанное употребление (Не полюбил — невзлюбил он меня за что-то). Во всех других случаях приставка *po-* в глагол любить вносит результативное значение“.³ Von *Semskaja* wurden die Verben полюбить und послышаться in die Klasse der ingressiven Verben eingereiht.⁴ *Isačenko* schrieb den Verben полюбить, почувствовать und послышаться ingressive Bedeutung zu, obwohl die Wörterbücher sie mit den motivierenden Verben als Aspektpaare darstellen.⁵ *Maslov* hält полюбить für ein ingressives Verb, почувствовать für ein resultatives, das immer eine wirksame und

¹ Виноградов В. В. Русский язык. — Учпедгиз. 1947, М.—Л., стр. 535.

² Boeck W. Wechselbeziehungen zwischen Aspekten und Aktionsarten in der russischen Sprache der Gegenwart. — Wissenschaftliche Zeitschrift der Martin-Luther-Universität. 1961. Febr., Halle-Wittenberg, S. 228.

³ Тихонов А. Н. Способы выражения начинательного значения глаголов в русском языке. — Труды Узбекского госуд. университета им. Алитера Навои, Самарканд, Новая серия № 95., стр. 50.

⁴ Земская Е. А. Типы одновидовых приставочных глаголов в современном русском языке. — Сборник статей: Исследования по грамматике русского литературного языка. Изд-во Акад. наук СССР. 1955, М., стр. 13.

⁵ Исаченко А. В. Грамматический строй русского языка в сопоставлении с словацким. — Часть вторая. Изд-во Словацкой Академии наук. 1960, Братислава, стр. 231.

effektive Handlung wiedergibt.⁶ *Scheljakin* wollte die Debatte zu Gunsten derer entscheiden, die den obenerwähnten Verben eine ingressive Bedeutung zuschrieben, weil diese Verben — sozusagen — einen solchen seelischen oder körperlichen Zustand bezeichnen, der aus dem Nichtsein ins Sein übergeht, der fortgesetzt wird: „обозначают переход состояния из их небытия в бытие, которое продолжается, а не завершается“.⁷ Auch *Scheljakin* bemerkt in der Bedeutung der *po*-Ingressiva das paptive Bedeutungsmoment der Entwicklung (der Allmählichkeit) nicht, das sie von den totiven Ingressiva unterscheidet. Die nachfolgenden Beispiele widerlegen seine Behauptung, daß diese Verba einen solchen Zustand fixieren, der aus dem Nichtsein ins Sein übergeht:

„— Я так бы желала, чтобы вы все меня любили, как я вас люблю; а теперь я ещё больше полюбила вас — сказала она со слезами на глазах“ (Л. Толстой. Анна Каренина, 109). „Словом сказать, очаровал меня искренностью. И что ещё больше мне понравилось: слабых сторон имения не скрыл“ (М. Салтыков-Щедрин. Убежище Монрепо, 266). „Она и раньше любила их (детей) самозабвенно, но теперь полюбила почти болезненной, трепетной любовью“ (Г. Николаева. Жатва, I. 4).

Die oben angeführten Sätze stoßen *Scheljakins* These um, daß die Liebe (любить) vor dem Liebgewinnen (полюбить) noch nicht existieren würde. Das Gefühl der Liebe (любить), das sich (in der Semantik des Verbs полюбить) erst später entwickelte, gab es schon vorher im Subjekt. Diese allmähliche Entwicklung, die innere Bewegung des psychischen Zustandes wird durch das Präfix *po*- in die Bedeutung des Verbs hineingetragen. Das aus dem Adverbium „*po*“ hervorgegangene Präfix *po*- hatte die ursprüngliche Bedeutung, sich an der Oberfläche einer Sache zu bewegen. (Siehe nach *Igor Neměc M. A. Scheljakin*⁸).

J. *Budenz* ergreift das Wesen der Bedeutung des ungarischen Verbs „*megszeret*“ (das das Äquivalent des russischen Zeitwortes „полюбить“ ist): „Valamely állapotnak lassankénti beállását, fejlődését fejezi ki: megszeretni, liebgewinnen“⁹. (Ins Deutsche übersetzt, lautet es folgendermaßen: „Es bezeichnet das allmähliche Eintreten, die Entwicklung eines Zustandes: megszeretni, liebgewinnen“). Damit errahnt *Budenz* in der Semantik des Verbs „*megszeret*“ das Moment der allmählichen Entwicklung, der dynamischen Vorwärtsbewegung im psychischen Zustand des „aspektuellen Dinges“¹⁰ (hier: des Subjekts), das auch das Verb полюбить charakterisiert: „*Мало-помалу отец полюбил* меня; я уже осмеливалась заговаривать с ним,

⁶ Маслов Ю. С. Вид и лексическое значение глагола в современном русском литературном языке. — Известия Академии наук СССР. Том VII. Выпуск 4. М. — Л., стр. 306, 314.

⁷ Шелякин М. А. Функции и словообразовательные связи начинательных приставок в русском языке. — Сборник: Лексикограмматические проблемы русского языка. 1969, Новосибирск, стр. 15.

⁸ Шелякин М. А. Функции и словообразовательные связи детерминативно-временных приставок в русском языке. — Филологические науки, 1969/1, стр. 70.

⁹ *Budenz* J. A magyar *meg-* igekötőről. (Über die ungarische Verbalvorsilbe *meg-*) — *NyK*. Pest, 1863, 177., 185. p.

¹⁰ In der Bedeutung der russischen Perfektivverba entwickeln sich drei wichtige Faktoren: 1. „die Zeit“ (посидеть часок), 2. „die Handlung“ (наработаться) und 3. „das aspektuelle Ding“ (небо потемнело, сварить яйцо). Unter „dem aspektuellen Ding“ verstehe ich das Subjekt oder

и часто мы говорили с ним целые часы“ (Ф. Достоевский. Неточка Незванова, 203) = „*Apám lassanként megszeretett; már beszédbe mertem vele eredni, s gyakran egész órákig elbeszélgettünk*“ (36. Szabó Endre fordítása).

Die Bedeutung des pantiven ingressiven Verbs steht nahe dem pantiven¹¹ inchoativen Verb „повеселеть“:

„Идушка сначала брезгливо пожимался при маленьких шуточках, но убедившись, что Арина Петровна говорит ‚по-родственному‘, ‚всей душой‘, — и сам мало-помалу повеселел“ (М. Салтыков-Шедрин. Господа Головлёвы, 177).

Beide Verben (полюбить, повеселеть) sind imstande, das allmähliche Eintreten „der Handlung“ mit Hilfe der Adverbialbestimmung „мало-помалу“ zum Ausdruck zu bringen.

Die allmählich eingetretene pantive ingressive „Handlung“ („мало-помалу полюбил“) steht der plötzlich (auf einmal) eingetretenen Handlung der totiven ingressiven Verben („вдруг заговорил“) gegenüber. Während das pantive perfektive Verb potenziell beide Merkmale in sich trägt (seine „Handlung“ kann sowohl allmählich wie auch plötzlich eintreten), hat die Handlung der totiven Ingressiva nur die Fähigkeit, plötzlich, auf einmal einzutreten (закричать, заговорить, почувствовать). Infolgedessen unterscheide ich bei den russischen Verben die Bedeutungsopposition von totiven und pantiven Ingressiva, den Gegensatz zwischen 1. *сразу* und 2. *мало-помалу*. Die pantiven Ingressiva sind (im Gegensatz zu den totiven Ingressiva) Verben mit zwei Gesichtern: sie verfügen über die Potenz der Ambivalenz, d. h. sie sind imstande sowohl eine ingressive, wie auch eine inchoative Aktionsqualität (jede für sich oder beide zusammen) auszudrücken.

Ich habe meine Aufmerksamkeit auf die transitiven Verben полюбить und почувствовать konzentriert, weil diese zwei Verben im Kreise der Spezialisten die größte Diskussion hervorgerufen haben. In der aktionalen Bedeutung des perfektiven Verbs полюбить, das von dem Simplex любить gebildet wurde, spielt das Präfix *po-* eine wichtigere, relevantere Rolle als das Simplex. Würde ich diese Frage metaphysisch — trotz der sprachlichen Tatsachen — untersuchen, so würde ich diesen

das Objekt, die an der Handlung des Verbs unmittelbar beteiligt sind, die das Verb „von innen“ charakterisieren. In der Bedeutung der resultativen Verben tritt das aspektuelle Ding in den Vordergrund. Die Handlung erreicht ihr Ziel immer im in den Vordergrund getretenen aspektuellen Ding, das in der Bedeutung des resultativen Perfektivverbs die Faktoren „Zeit“ und „Handlung“ zurückdrängt. (Die Exponierung dieser Frage siehe: Крекич Й. Соотношение трёх основных семантических компонентов глаголов совершенного вида в значении так называемых финитивных глаголов с приставкой *от-*. In: *Dissertationes Slavicae*, 1978, Szeged, 114. p.)

¹¹ D. Grubor teilt die resultativen Verben in zwei Hauptgruppen: in totive und pantive Verben. Es ist möglich, daß die Benennungen „totiv“ und „pantiv“ nicht die passendsten sind, weil sie Mißverständnisse hervorrufen können. Das Wort „totiv“ ist lateinischen, das Wort „pantiv“ ist griechischen Ursprungs: in ihrer Bedeutung widerspricht keines von ihnen der Totalität, dem allgemeinen Kriterium der Perfektivität. Die Handlung der totiven Verben wird ungeteilt, auf einmal, und die der pantiven Verben allmählich verwirklicht: „Totivni: obuhvatna radnja izvršena potpuno sva. Pantivni: postepeno radnja izvršena od početka do kraja...“ (Siehe: Grubor D. *Aspektna značenja*. — Zagreb, 1953. Posebni otisak iz knjige Rad 293 i 295, str. 12). Nach meiner Ansicht läßt sich diese Unterscheidung auch auf die ingressiven Verben anwenden.

Verben nur die ingressive Bedeutung zuschreiben. Die Verben *полюбить, понравиться, пожалеть* haben mit dem Präfix *po-* auch eine inchoativ-ingressive Bedeutungsnuance entwickelt, die Bedeutung des allmählich und dynamisch eintretenden seelischen Zustandes. In dem Moment, wo diese allmähliche innere Bewegung aufhört, erreicht die „Handlung“ ihre „äußere“ zeitliche Grenze; darüber hinaus gibt es wiederum nur einen Zustand, ohne die Bedeutung der weiteren Entwicklung. Die Verben *любить* und *полюбить* könnten nur dann ein Aspektpaar bilden, wenn in der Bedeutung des Simplex *любить* die innere Dynamik der Entwicklung zu verspüren wäre. Diesem Simplex fehlt aber jenes Merkmal im Gegensatz zu dem Simplex *худеть*, das eben deswegen mit dem perfektiven Verb *похудеть* ein Aspektpaar bildet.

Im Vergleich mit den Verben *любить* und *полюбить* ist das Verhältnis des Simplex *худеть* zum Kompositum *похудеть* umgekehrt:

a) Ihre „Handlungen“ entwickeln sich in einer entgegengesetzten Richtung:

худеть → *похудеть*

любить ← *полюбить*

Die grenzbezogene „Handlung“ (*худеть*) erreicht ihre Grenze (ihr Ziel) in dem geänderten Zustand (*похудеть*) des aspektuellen Dinges (des Subjekts). Der nichtgrenzbezogene¹² Zustand (*любить*) ist nur die Folge der eingetretenen perfektiven „Handlung“ (*полюбить*).

b) Während das Merkmal der Dynamik die beiden inchoativen Verben (*худеть* → *похудеть*) kennzeichnet, charakterisiert es von den zwei anderen Zeitwörtern nur das Perfektivverb *полюбить*. In der Bedeutung des Simplex *любить* fehlt — wie oben gesagt — dieses Merkmal.

Den beiden perfektiven Verben (*похудеть, полюбить*) ist die Potenz gemein, die Pantivität der Zustandsänderung (die allmähliche Entwicklung des seelischen und körperlichen Zustandes) des aspektuellen Dinges zu bezeichnen, und die Zeit der Zustandsänderung mit der Konstruktion *za + Akkusativ* (*за десять лет, за два дня usw.*) zu fixieren. Das langsame, allmähliche Eintreten der inchoativ-ingressiven „Handlung“ dauerte im folgenden Satz 10 Jahre lang:

„*Tíz év alatt megszerette Szeghátot; azt hitte, itt öregszik meg*“ (Németh László. *Égető Eszter*, 296) = „*За десять лет она полюбила Сегхат, рассчитывая тут состариться*“ (Пер. Т. Воронкиной, 346).

Strukturell benimmt sich das inchoativ-ingressive Verb *полюбить* ebenso, wie das inchoativ-resultative Verb *похудеть*. Zur Bezeichnung der Zeitdauer der inchoativ-resultativen Handlung dient — wie ich schon erwähnt habe — die Konstruktion *za + Akkusativ*.¹³

¹² S. G. Andersson ist es gelungen, die Kategorien Terminativität/Aterminativität zutreffend zu verdeutschen: er nannte sie Grenzbezogenheit/Nichtgrenzbezogenheit. Die Verben, in deren Semantik „ein Hinweis auf eine Grenze der Handlung vorhanden ist“, sind *grenzbezogen* oder *terminativ*, und die Verben, in deren Bedeutung es „keinen Hinweis auf eine zu erreichende Grenze der Handlung“ gibt, sind *nichtgrenzbezogen* oder *aterminativ*. (Siehe: Andersson S. G. *Aktionalität im Deutschen*. — *Acta Universitatis Upsaliensis* 10. Uppsala, 1972, S. 28).

¹³ Pete I. *Az időviszonyok kifejezése az orosz nyelvben a magyar nyelv tükrében*. (Der Ausdruck der Zeitverhältnisse in der russischen Sprache im Spiegel der ungarischen Sprache.) — *Tk. Budapest*, 1976, 219. p.

„А если днём машина не придёт, мне что ли, прикажете гусей ваших съесть? Или в праздники их тут держать, а они за два дня, глядишь, и похудеют?“ (А. Вег. Один день счастья, 42. Пер. Е. Тумаркиной).

Die Verba vom Typ полюбить werden in die Gruppe der Ingressiva eingereiht, einerseits, weil sie die Fähigkeit haben, auch den plötzlichen Eintritt des seelischen Zustandes zu fixieren:

„Я *полюбил* вас с *первого мгновения* нашей встречи и знаю — на всю жизнь“ (Н. Погодин. Вихри враждебные, 33). „Ему *сразу понравился* этот здоровый, добродушный парень с ребячьими светлыми глазами“ (М. Горький. Челкаш, 109). „Полюбил я её. *Полюбил сразу* на всю жизнь, всей душой“ (Ч. Айтматов. Тополек мой в красной косынке, 522). „Его добродушное смуглое лицо, кое-где отмеченное рябинами, *мне понравилось с первого взгляда*“ (И. Тургенев. Хорь и Калиныч, 7).

Sie gehören zur Gruppe der Ingressiva andererseits auch, weil sie ferner — ähnlich den totiven ingressiven Verben — in unserem Bewußtsein die Vorstellung des Fortsetzens „der Handlung“ hervorrufen: „За десять лет она полюбила Сергата“, значит и сейчас любит его.

Die ingressive Funktion rückt in den Vordergrund, obwohl sich der plötzliche Eintritt des (seelischen) Zustandes aus dem Kontext nicht aufklären läßt:

„С *детства полюбил* я копаться в моторах“ (И. Шаркади. Трусиха, 40. Пер. Н. Подземской). „Рожи очень *понравилась* Бени, они познакомились, и он полюбил её. Девушке тоже приглянулся парень“ (Габор Года. Протокол, 142. Пер. Е. Бочарниковой). „Первое дело, Евпраксеюшку *пожалеть* нужно, а второе дело — и его человеком сделать“ (М. Салтыков-Щедрин. Господа Головлёвы, 198).

Die Inchoativität¹⁴ ist eine pantiv-resultative Aktionsqualität, die im Subjekt der Handlung verwirklicht wird. Beide Funktionen (die ingressive und die inchoative) sind in den folgenden Sätzen anwesend. Der Kontext informiert uns, welche von diesen zwei Bedeutungsfunktionen betont wird:

„Я его *полюбила* (в него *влюбилась*) с *первого взгляда*“ (А. Островский. Красавец-мужчина, II. б). Ein Gegenbeispiel: „Скажи, может человек с *первого взгляда влюбиться* в женщину?“ (*полюбить* женщину) (Ф. Каринти.

¹⁴ In der traditionellen russischen Grammatik nannte man die Ingressiva inchoative Verben. Koschmieder war der erste Sprachforscher, der in der slawischen Aspektologie die Ingressiva von den inchoativen Verben unterschied: „Czasowniki inchoatywne kamienieć, blednać i t. d. oznaczają stopniowe przejście z jednego stanu do drugiego“. (In: Koschmieder E. Nauka o aspektach czasownika polskiego w zarysie. Proba syntezy. — Rozprawy i materiały wydziału i towarzystwa przyjaciół nauk w Wilnie. Tom V., z. 2. Wilno, 1934, str. 4). Maslov nennt die Verben, die eine Zustandsänderung ausdrücken, Inchoativa oder Mutativa. (Siehe: Маслов Ю. С. Система основных понятий и терминов славянской аспектологии. — Вопросы общего языкознания. Издательство Ленинградского университета, 1965, стр. 77.) Dazu hatte Bondarko noch folgendes zu bemerken: „Результативность присутствует в глаголах инхоативного способа действия (вмянуть, дряхлеть, каменеть и т. п.): такие действия направлены на достижение результата — ср. соотносительные глаголы совершенного вида, у которых значение перехода в состояние связывается со значением достигнутого результата: завянуть, одряхлеть, окаменеть.“ Bondarko A. V. Теория морфологических категорий. — Л. „Наука“. 1976, стр. 199.

Юность, любовь, 196. Пер. И. Миронец). „С той минуты, как Анна полюбила Вронского (*влюбилась* в Вронского), он считал одно своё право на неё неотъемлемым“ (Л. Толстой. Анна Каренина, 334). „Однажды Ивана Ильича полюбила (в Ивана Ильича *влюбилась*) до слёз, до отчаяния модисточка из большого магазина“ (А. Толстой. Хождение по мукам, I. 21). „Я понял, что могу *полюбить* эту женщину (*влюбиться* в эту женщину) до полного отречения от себя“ (К. Паустовский. Снег, 208).

Die Bedeutung der eingeklammerten inchoativ-resultativen Verba überschneidet die der inchoativ-ingressiven Verben; sie können ziemlich oft miteinander substituiert werden.

Wenn die ingressive Funktion in den Vordergrund tritt, wird das Antonym vom Verb *полюбить* das egressive Zeitwort *отлюбить*, und wenn es die inchoative Funktion ist, wird es das gegensätzliche Wort vom Verb *полюбить* – das final-resultative Verb *разлюбить*:

1. „Женись на ней, ты её полюбишь... Я *не люблю*, маменька: я уж *отлюбил*“ (И. Гончаров. Обыкновенная история).

2. „Одеваясь, она занялась больше, чем все эти дни, своим туалетом, как будто он мог, *разлюбив* её, опять *полюбить*...“ (Л. Толстой. Анна Каренина, 587).

Ohne Kenntnis des aspektuellen Dinges ist die resultative Bedeutungsfunktion nicht zu bestimmen. Das aspektuelle Ding ist immer im Objekt oder im Subjekt der Handlung zu suchen. Die meisten obenerwähnten *po*-Ingressiva sind transitive Verben. Es ist sehr wichtig aufzuklären, was für eine semantische Funktion das bei ihnen stehende Akkusativobjekt erfüllt, wer oder was einem Wandel unterliegt, in wem oder worin (im Subjekt oder im Objekt?) die Handlung des perfektiven Verbs resultiert. Die Inchoativa (*похудеть*, *постареть*) sind intransitive Verba; dem Wandel kann — ohne jeden Zweifel — nur das Subjekt unterliegen. Die Verben wie *полюбить* und *почувствовать* unterscheiden sich von den Inchoativa *похудеть* und *повеселеть* auch dadurch, daß sie immer transitiv gebraucht werden.

Die inchoativ-ingressiven Verba verhalten sich ziemlich oft aber ähnlich wie die Inchoativa; auch sie drücken eine unabsichtliche „Handlung“ aus:

„Обвинять человека в том, что он *полюбил* или *разлюбил*, это глупо. *Любовь и ненависть не в нашей власти*“ (А. Чехов. Дуэль, 2).

Nicht das Subjekt übt eine Wirkung auf die Außenwelt aus, sondern umgekehrt, die Außenwelt affiziert das Subjekt der Handlung. Die Veränderung (der Wandel) im aspektuellen Ding wird durch die Erscheinungen, durch die Personen und durch die Dinge der Außenwelt verursacht. Diese Erscheinungen, Personen und Dinge der Außenwelt werden bei diesen Verben meistens mit dem Akkusativobjekt ausgedrückt. Das aspektuelle Ding (hier: das Subjekt) wird durch dieses „äußere“ Objekt affiziert. In der Bedeutung des perfektiven Verbs *понравиться* wird das aspektuelle Ding durch ein im Dativ stehendes logisches Subjekt (*dativus subiectivus*) ausgedrückt. Die Personen oder die Dinge, von denen und wovon das aspektuelle Ding affiziert wird, haben die Nominativform:

1. „Я приглубила её, она меня *полюбила*“ (В. Шукшин. Сны матери, 345). „Я *грозу полюбил* В эти первые дни февраля“ (Б. Пастернак. Детство,

92). „А между тем *Кизела* и сама уже *полюбила* скромную и тактичную *вдовушку*“ (Л. Немец. Траур, 55. Пер. Е. Малыхиной).

2. „*Мандарин почувствовал* на затылке *порыв резкого, холодного ветра* и только тогда поднял глаза“ (Дь. Молдова. Мандарин, знаменитый хулиган, 269. Пер. Ю. Шишмошина). „Я думал, что он не будет мешать мне, и пошёл дальше; но только *Мильтон почуял* в траве *фазана* и стал искать, Булька бросился вперёд и стал соваться во все стороны“ (Л. Толстой. Мильтон и Булька, 146).

3. „*И Семёну Васильевичу понравилась Настенька*, но так как он любил только негритянок, то не решился показать этого, и был хоть и вежлив, но холоден и недоступен“ (Л. Андреев. Оригинальный человек, 158).

Bei dem Verb *почувствовать* steht aber in den meisten Fällen ein „inneres Objekt“ (accusativus internus), das nur die Bedeutung des Verbs begrifflich einengt: „А Михаил Антонович посидел на собрании, в перерыве вышел покурить и вдруг *почувствовал* нестерпимую *боль* в животе“ (Н. Евдокимов. Сказание о Нюрке... , 193). „Даша *почувствовала нежность* к этому человеку“ (А. Толстой. Хождение по мукам, I. 19). „Он *почувствовал облегчение* уже оттого, что им не придётся вместе возвращаться домой“ (Е. Галгоци. Минное поле, 102. Пер. Т. Воронкиной).

In dieser Studie wurden die Bedeutungswandlungen innerhalb der russischen *po*-Ingressiva untersucht. Beim Studium der semantischen Funktionen der russischen Perfektivverben kam ich zu der Überzeugung, daß die Grenzen zwischen den einzelnen Aktionsarten flexibel sind, daß die Aktionsqualitäten der Verbalkomposita, abhängig von dem Präfix, dem Simplex, dem Kontext und von der aspektuellen Situation, häufig sich vermischen oder ineinander umschlagen.

Die totiven Verben *почувствовать*, *почуять*, *послышаться* haben — gegenüber den pantiven Zeitwörtern *полюбить*, *пожалеть* und *понравиться* — die Fähigkeit, eine plötzlich eintretende momentane, ingressive oder inchoativ-ingressive „Handlung“ zu fixieren.

Die pantiven *po*-Komposita *полюбить*, *понравиться*, *пожалеть* sind Verben mit zwei Gesichtern: sie verfügen über die Potenz, sowohl eine allmählich wie auch eine plötzlich eintretende inchoativ-ingressive Handlung auszudrücken. Diesen Gegensatz zwischen der denotativen Bedeutung und der syntagmatischen Potenz des Wortes nennt I. G. *Miloslavskij* eine Asymmetrie des sprachlichen Zeichens.¹⁵

¹⁵ Милославский И. Г. Вопросы словообразовательного синтеза. — Издательство Московского университета, 1980, стр. 231.

К полному словообразовательному синтезу

П. УЗОНИ

В наши дни подавляющее большинство лингвистов считает неоспоримым фактом, что наименьшим имеющим самостоятельное значение языковым элементом является морфема; однако описание этих признаваемых существующими значений — особенно значений аффиксов — только некоторыми из них считается необходимой задачей языкознания; а, наконец, совсем невелико число тех лингвистов, которые описанные ими самими или кем-нибудь другим значения морфем — в первую очередь, словообразовательных — хотели бы использовать в целях синтеза формы или значения многоморфемного слова¹. Конечно такое разделение взглядов неслучайно. Многие пугаются кажущихся джунглями сплетений сочетаемости, многозначности и синонимии словообразовательных элементов. По мнению других, при описании лексического значения слов не стоит учитывать их морфологического членения, ибо это приводит к обходу, излишнему осложнению дела. Тем не менее, как нам кажется, не надо отказываться от всех словообразовательных аффиксов: среди них встречаются и довольно продуктивные, с незначительной многозначностью и без излишних семантических компонентов. Чем ближе оказывается данный словообразовательный аффикс к этому идеалу, тем вероятнее, что в ходе описания языка к нему стоит подходить как к самостоятельному элементу, и синтезировать при его помощи комплексы более высокого уровня языка. После полного семантического описания словообразовательных аффиксов — и только после этого — станет возможным отбор самостоятельных элементов на основе экономности; оставшиеся же элементы придется отнести к сфере словообразовательной фразеологии, в которой производное слово рассматривается как неразделимое целое (нужно заметить, что без причисления некоторых словосочетаний к фразеологизмам — полный синтаксический синтез также немислим).

Описание значений словообразовательных аффиксов стало предметом специальных научных исследований только в недавнем прошлом, тем более, что

¹ См. Милославский И. Г. Вопросы словообразовательного синтеза. Москва, Изд-во Моск. университета, 1980.

занимающееся этим словообразование также является сравнительно молодой дисциплиной языкознания. Помимо лексического и грамматического значений начали говорить о новой разновидности значения: о словообразовательном значении, которое, однако, толкуется не всеми одинаково². Всё-таки, кажется, в толкованиях имеется общее ядро: это значение представляет собой инвариантную часть значений производных слов с общим словообразовательным формантом. Мнения расходятся между прочим в том, каково соотношение между инвариантом и той частью значения, которая получается путём «вычитания» значения производящего слова из значения производного. Не намечен пока однозначно — в связи с этим — статус так называемого приращения, которое представляет собой разность значения производного слова и суммы значения производящего слова плюс словообразовательного (инвариантного) значения. Следовательно, предпринятые до сих пор попытки описать семантику словообразовательных аффиксов³ свидетельствуют о разных принципиальных подходах. Ниже излагаются основные положения одного из возможных описаний аффиксальных значений, которое включает в себя и зафиксирование сочетаемости.

В отличие от И. Г. Милославского, который для словообразовательного синтеза предлагает сочетаемость морфем и значения морфем включить в отдельные словари⁴, эти словари двух типов мы «сплавили» бы друг с другом. Другое расхождение связано с тем, что из-за невыясненности вопроса о словообразовательном значении, в ходе составления словаря значения аффиксов (т. е. разности производящих и производных значений) мы пока никоим образом не разбиваем на известные инвариантные словообразовательные значения, с одной стороны, и их приращения, с другой, и, кроме того, не устанавливаем правил семантического характера для сочетаемости этих приращений с разными основами⁵. Однако не уклоняемся от объединения значений каждого словообразовательного аффикса в группы на основании некоторых общих частей значений, но целью такого группирования являлось бы лишь облегчение обращения со словарем, а не создание исходных элементов какой-нибудь двухэтапной процедуры словообразовательного синтеза.

Всеобъемлющее описание словообразования любого языка, в том числе и русского, лингвисты уже пытались осуществить в форме словообразовательных словарей разных типов. Эти словари дают информацию преимущественно

² См. Земская Е. А.—Кубрякова Е. С. Проблемы словообразования на современном этапе — ВЯ, 1978/6, стр. 114.

³ Напр. Потиха З. А. Как сделаны слова в русском языке. Ленинград, «Просвещение», 1974; Грамматика современного русского литературного языка (отв. ред. Н. Ю. Шведова), Москва, «Наука», 1970; Словарь словообразовательных элементов немецкого языка (под рук. М. Д. Степановой), Москва, «Русский язык», 1979; F. Nagy, A lexikális szóképzés — Általános nyelvészeti tanulmányok VI. 1969., стр. 329—358; и т. д.

⁴ Милославский И. Г., ук. соч. стр. 8 и далее.

⁵ Милославский И. Г., ук. соч. стр. 107 и далее.

о сочетаемости основ и аффиксов⁶. С другой стороны, немногочисленные инвентари словообразовательных аффиксов, толкующие их значения, как правило, не содержат указаний на сочетаемость аффиксов (кроме части речи основы). По всей видимости, «сплавление» сочетаемости со значением аффикса приводит к более сложной конструкции, чем любой из упомянутых словарей.

Под этим сплавлением мы понимаем описание по возможности всех значений всех словообразовательных аффиксов, и — при каждом значении данного аффикса — перечисление тех производящих слов, к которым присоединяясь, данный аффикс имеет данное значение (при самых продуктивных аффиксах с незначительной многозначностью удобнее перечислить только исключения); мы должны обозначить и то, к которому из значений многозначного производящего слова присоединяется данное значение аффикса. Описание значения и сочетаемости в сплаве содержит что-то качественно новое по сравнению с отдельными описаниями, поскольку при его помощи станет возможным правильно синтезировать — с одной стороны — известные составные формы уровня лексем (т. е. производные слова) из их элементов, опираясь на значения этих элементов, а с другой — значения известных составных форм уровня лексем из значений элементов (т. е. морфем), полученных путем анализа этих составных форм.

Значения аффиксов устанавливаются путем сопоставления производящего и производного значений; значение аффикса является соотношением двух значений. При установлении значения аффикса мы исходим из значения производного слова, и ищем к нему производящее значение. Из значений многозначного производящего слова выбираем то, с которым связь производного значения проще всего, то есть, больше всего общих семантических признаков. С производящим значением обращаемся как с неразделимой семьей в составе производного значения (значит, семему производящего слова не разбираем на семы), остальную же часть производного значения мы анализируем дальше. Компонентами анализа являются различительные признаки аффиксальных значений данного языка (или любого исследуемого корпуса).

Описанное значение аффикса содержит два обязательных компонента: значение производящей основы и значение производного слова. Если значение аффикса встречается в нескольких словах, то упомянутые два компонента фигурируют в нем в качестве параметров; достаточно любой из них заполнить конкретным значением, и сразу получим значение другого.

Общезвестна точка зрения, согласно которой каждый словообразовательный аффикс заменим какой-либо перифразой, состоящей из лексем (вернее

⁶ Напр. Worth, D. S.—Kozak, A. S.—Johnson, D. B., Russian derivational dictionary, New York, American Elsevier Publishing Company, Inc. 1970; Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка, Москва, «Просвещение», 1978 — они составлены по словообразовательным гнездам; Потиха З. А. Школьный словообразовательный словарь, Москва, «Просвещение», 1964, который приводит по алфавиту производные слова, разбитые на основы первой степени и аффиксы; Обратный словарь русского языка, Москва, «Советская энциклопедия», 1974, и все остальные обратные словари, которые могут относиться к словообразовательным словарям потому, что слова с общим суффиксом расположены в них рядом, в одной группе, правда, с омографами.

словоформ)⁷. У одного аффиксального значения в данном языке обычно может быть несколько синонимичных перифраз. Нужно разыскать их общую глубинную структуру и общую часть значений разных лексем.

Мы должны найти столько перифраз, чтобы по крайней мере одной из них мы всегда могли заменить данный аффикс в каждом его возможном окружении (при этом допустимы и неправильные в данном языке конструкции). Сколько перифраз (точнее: групп синонимичных перифраз) можно найти, столько же значений имеет многозначный аффикс. Об омонимии можно говорить только в том случае, когда слова с аффиксами совпадающей формы входят в разные словоизменительные парадигмы.

Нужно следить за тем, чтобы из состава производящего значения ничего не приписывалось значению аффикса. Если бы, например, венгерский глагол *fogócskázik* ('играть в салки') соотносился с перифразой *fogócskát játszik*⁸ (*fogócskát*: 'в салки'; *játszik*: 'играть', где значение суффикса *-z-* было бы 'valamit játszik': 'играть во что-либо'), то в результате дальнейшего анализа получилось бы следующее: *fogócska*, 'салки' содержит в себе сему 'játék' ('игра'), а *játszik* ('играть') — также. Следовательно, в глаголе *játszik* повторяется одна из сем производящей основы ('игра'). Путем вычитания этого лишнего семантического признака получится истинное значение суффикса: 'végez, úz stb. valamit' ('совершает что-л., занимается чем-л.' и т. д.), значит, правильная перифраза: *fogócskát végez* ('занимается салками'), несмотря на ее стилистическую недопустимость в данном естественном языке, так как это уже не тот язык, а метаязык для описания значений (более того, значение упомянутого суффикса можно обозначить и специальным символом, напр. AG).

Рассмотрим теперь некоторые конкретные вопросы описания значений аффиксов на примере русского суффикса прилагательного *-ист-*. В Обратном словаре русского языка (см. выше) находится 362 слова, образованных посредством суффикса *-ист-*, с несвязанными основами и с наличием хотя бы минимальной степени мотивированности значения. В них мы нашли 87 разных значений суффикса *-ист-*. К 38 значениям принадлежит только по одному слову а к 49 — больше одного. (Независимо от результата будущего полного описания, путем совсем простого вычисления уже заранее можно доказать, что с точки зрения языковой модели описание единичных аффиксальных значений неэкономно, в таком смысле, что, выделяя эти аффиксы в производных словах мы только умножаем число элементов описания языка; тем не менее, если на первом этапе мы описываем аффиксы в форме словаря, то, ради полноты списка, лучше включить и единичные значения, и каким-нибудь образом отмечать при каждом, что оно является т. н. фразеологическим значением).

В синтаксисе применяемого нами семантического языка выделяются три основные роли: предикат (обозначается через прописные буквы и математические или логические знаки), аргумент (через строчные буквы) и дополнительный член (через подчеркнутые буквы). Группа аргументов состоит из обяза-

⁷ См. напр. Kastovsky, D., Causatives — Foundations of Language 10, 1973.

⁸ См. F. Nagy, ук. соч. стр. 348.

тельных и факультативных актантов предикатов («аргумент» логическое, «актант» лингвистическое название одного и того же референта). Группу дополнительных членов составляют некоторые сирконстанты и модальные компоненты. В проведенных нами анализах каждый предикат имел по крайней мере два аргумента. Предикаты могут быть по направленности односторонними (нерверсивными) и двусторонними (реверсивными). К символу первых принадлежит и стрелка (если символ не математический или логический знак), которая направлена от субъекта в сторону других актантов. Глубинные падежи актантов и сирконстантов (напр. адресат, инструмент и т. д.) обозначаются через сокращения соответствующих латинских выражений, и связываются через дефис с символом параметра, за исключением субъекта и прямого дополнения (также особо не обозначаются и два аргумента двустороннего предиката). Сложное выражение в любой роли ставится в скобках. Непараметрические семантические компоненты обозначаются через сокращения латинских слов. Символ параметра производящего значения «г» (в зависимости от роли, буква прописная, строчная или подчеркнутая), а производного значения — «d» (в принципе у него тоже три варианта). Часть речи производящего и производного слова обозначается в позиции показателя (напр. r_v , d_N и т. д.); эти информации относятся к поверхности, значит, они нужны для синтеза формы. В случае суффиксов прилагательных «d» символизирует возможные имена существительные при данном прилагательном. Дополнительные члены пишутся непосредственно за предикатом (в случае односторонних предикатов здесь имеется в виду та сторона, в которую предикат направлен).

Теперь в качестве примера покажем, каким образом мы выделяли значение суффикса *-ист-* в слове *холмистый*. Производящее слово: *холм*. В различных толковых словарях дается несколько перифраз слова *холмистый*: «Имеющий много холмов, покрытый холмами». Сл. сов. рус. лит. яз-а в 17 тт. (Запятая здесь разделяет частично синонимичные выражения.) «Неровный, изобилующий холмами». С. И. Ожегов, Сл. рус. яз-а. (Однословный синоним нас теперь не интересует, так как он не содержит производящего слова *холм*.) Еще долго можно было бы продолжать ряд синонимичных перифраз. Второе значение слова *покрытый*: «Имеющий много чего-л. на поверхности». Значит, вторая из двух перифраз академического словаря содержит на один компонент значения больше, чем первая: «на поверхности». Но он не входит в значение суффикса, поскольку он имеется и в значении слова *холм*, правда, не в качестве различительного признака (т. е. по нашим прагматическим сведениям холм возвышается обязательно на какой-либо поверхности). Третью перифразу («изобилующий холмами») — путем перифразирования определения — можно преобразовать в синонимичное выражение *имеющий (очень) много холмов*. Значение прилагательного *холмистый* имеет самую тесную связь с первым, основным значением слова *холм* (другие его значения по академическому словарю: «волна» и «куча предметов»). Так как в ходе исследований выяснилось, что данное значение суффикса *-ист-* встречается и в других словах, то вместо *холм* мы теперь будем писать «г», хотя в нашем примере рассматривается только одно слово. Получается следующая перифраза: *d имеет много г*. Из исследований других значений суффикса *-ист-* также выяснилось, что глагол *иметь* может

представлять в перифразах поверхности разные компоненты значения суффикса *-ист-*: ‘иметь что-л. как часть’ (PART), ‘владеть чем-л.’ (POSS), ‘характеризоваться чем-л.’ (NAT). Они — компоненты различительного характера, то есть, в известных окружениях не заменяемы друг другом. Выражение *имеющий много холмов* может относиться, например, и к землевладельцу, но *холмистый* — нет, потому что в первом может фигурировать как сема PART, так и POSS, в последнем же — только PART. Значение слова *много* — тоже опираясь на сопоставление с другими значениями — можно разделить на семы: $\text{quant}\rangle\text{norm}$ (*quant* — символ количества; *norm* — символ того, что говорящим считается нормой; между ними общеизвестный математический знак). Данное значение суффикса в целом: $d_A \overrightarrow{\text{PART}} \Gamma_N \overrightarrow{\text{NAT}} \text{quant}\rangle\text{norm}$ (стрелки указывают от ‘части’ или ‘свойства’ на символы имеющих их предметов, лиц и т. д.).

Суффикс *-ист-* с вышеупомянутым значением встречается в 87 производных словах, в таких как: *болотистый*₁ (цифра указывает на то, что имеется в виду только одно из значений слова), *каменистый*, *лесистый*, *метелистый*, *сугробистый* и т. д.). Кроме того, следующие значения суффикса встречаются сравнительно во многих словах: $d_A \overrightarrow{\text{PART}} \Gamma_N$ (в 33 словах, напр. *каймистый*, *хвостистый*₁, и т. д.); $d_A \overrightarrow{\text{PART}} \text{in} \overrightarrow{\text{PART}} \Gamma_N$, где *in* обозначает ‘внутренность’ (находится в 37 словах, напр. *бромистый*, *глинозёмистый* и т. д.); $d_A \overrightarrow{\text{PART}} \Gamma_N \overrightarrow{\text{NAT}} \text{mens}\rangle\text{norm}$, где *mens* значит ‘мера’ (имеется в 32 словах, напр.: *когтистый*, *корнистый*, *плечистый* и т. д.); $d_A \overrightarrow{\text{NAT}} x_r \overrightarrow{\text{NAT}} \Gamma_N$ (x_r обозначает специфичные свойства *r*, значит, значение приблизительно соответствует перифразе ‘сходно ст’ — имеется в 45 словах, напр. *бархатистый*, *джентльменистый*, *лопатистый* и т. д.); $d_A \overrightarrow{\text{NAT}} \Gamma_{A/N}$ (в 36 словах, напр. *маслянистый*, *норовистый* и т. д.); $d_A \overrightarrow{\text{AG}} \Gamma_{V/N}$ (в 52 словах, напр. *игристый*₁, *лоснистый* и т. д.). Встречаются и такие значения, которые — при помощи сем данной системы — можно описать только намного сложнее, нежели выше перечисленные значения. Их частота, как правило, сравнительно низка. Например, в слове *жилистый* (‘сильный’) значение суффикса: $[d_A \overrightarrow{\text{AG}} \Gamma_V] \supset [d_A \overrightarrow{\text{AG}} \text{pot } x]$; $[d_A \overrightarrow{\text{AG}} \text{pot } x] \equiv [d_A \overrightarrow{\text{NAT}} \text{fort}\rangle\text{norm}]$. (Значение символа «*pot*»: ‘способен’, а «*fort*»: ‘сила’.) Значит: Если *d* совершает *г* (жилится), то он способен совершать *x*, и он это способен совершить только в том случае, если он сильнее обыкновенного (т. е. нормы). (Знак импликации указывает на то, что второй член может быть истинным и без истинности первого члена, то есть, сильный человек, возможно, справится с требующим большого усилия действием и без особенного напряжения сил.) Этот пример очень близок к грани, за которой говорящими не чувствуется мотивированность из-за отдаленности друг от друга значений производящей основы и производного слова. По всей вероятности, при отборе наиболее продуктивных значений для употребления (вместе с фонологическими оболочками) в качестве самостоятельных единиц, это значение окажется в группе фразеологических значений, то есть, с данным производным словом надо обращаться как с единым целым, так как отсечение суффикса явно приведет к обходу, поскольку в его значении имеется значение самого производного

слова ('сильный') вместе с сложной — и, по-видимому, лишней — конструкцией прочих семантических элементов.

Здесь нужно еще раз коснуться вопроса выбора производящей основы. Ибо неоднократно бывает, что к одному производному слову можно отнести несколько лексем в качестве производящей основы. Также, как и в случае многозначности, и здесь надо опираться при выборе на близость значений. Может случиться и то, что расстояния между некоторыми значениями примерно одинаковы: в таком случае значение производного слова приходится двояким (тройким и т. д.) образом разбивать на производящее и аффиксальное значения. Следовательно, данному аффиксу в одном слове иногда можно приписывать параллельно несколько значений, а при этом значение слова не изменяется (напр. прилагательное *пружинистый* мотивируется как словом *пружина*, $[d_A \overrightarrow{N\dot{A}T} \text{ } x\text{r } \overrightarrow{N\dot{A}T} \text{ } r_N]$, так и *пружинить* $[d_A \overrightarrow{A\dot{G}} \text{ } \text{pot } r_V]$). Вернемся к слову *жилистый*₃: кроме глагола *житься* оно относится — и по форме, и по значению — также к существительному *жила* (в значении 'сухожилие'), но его связь с последним можно описать еще сложнее, чем связь с первым (утрата глагольного суффикса *-и-* перед *-ист-* происходит по правилу, согласно которому в отглагольных образованиях с *-ист-* участвуют только усеченные основы глаголов).

Если под каждым значением аффикса перечислим все возможные производящие слова, отметив, к которому из значений производящего слова прибавляется данное аффиксальное значение, то получится своеобразный словарь, заглавные «слова» которого либо аффиксы, подразделенные на значения и производящие слова, либо аффиксальные значения (идеографический словарь), подразделенные на аффиксы и производящие слова (между прочим, в принципе возможны и другие «пермутации»). В целях облегчения ориентации, стоит аффиксальные значения сгруппировать по известным частичным совпадениям (т. е. по общим частям значений). Эти группы могут соответствовать традиционным словообразовательным типам. К примеру, часть *d P\dot{A}R\dot{T}* фигурирует в 22 значениях суффикса *-ист-*.

В описании словообразования любого языка в целях осуществления словообразовательного синтеза первым шагом должно было бы быть составление словаря вышеуказанного типа. Выделение применяемых к синтезу аффиксов и значений, установление различных правил, обобщения, абстрагирования, группирования и т. п., как нам кажется, лучше всего могут быть осуществлены на основании такого аутентичного «препарата».

⁹ Семы при описании должны толковаться намного чётче, но ради краткости мы теперь даем только одно- или двухсловные толкования.

Названия головных уборов в русском и венгерском языках
(О принципах сравнительно-типологического описания семантики
языков)

В. А. ФЕДОСОВ

1. На материале небольшой тематической группы слов (названия головных уборов в двух языках), не отличающейся высокой логической организованностью (как это и свойственно естественным языкам), по сравнению, например, с терминами родства, воинских званий, цветообозначений, которые обычно в этих случаях привлекаются для анализа, в статье обсуждаются вопросы типологического сравнения семантических систем двух языков. Делается попытка сформулировать некоторые принципиальные положения относительно типологического сравнения языков с использованием так называемого компонентного анализа¹.

Несмотря на то, что компонентный семантический анализ появился независимо от дихотомической фонологии², сущность его является той же, что и сущность дихотомической фонологии. И в том и в другом случае описание языка производится с использованием некоторых абстрактных компонентов которые в фонологии называются «дифференциальными элементами», а в семантике — «семами» (ниже они называются «признаками»). Каждая единица языка (плана выражения и плана содержания) в процессе такого описания получает определение через набор («пучок») компонентов. Единицы языка считаются тождественными, если они имеют одинаковый набор компонентов; единицы различны — если этот набор разный, причем единицы в такой степени различны, в какой отличаются друг от друга эти наборы.

Компоненты, представляя собой отношения между единицами языка

¹ Начало применения компонентного анализа к семантике языка относится к работам (W. H. Goodenough, F. Lounsbury), опубликованным в американском журнале *Language*, т. 32, № 4, 1956. С тех пор литература, посвященная компонентному анализу, увеличивалась очень быстро. См. один из первых ее обзоров: О. С. Ахманова и др. Основы компонентного анализа, изд. МГУ, 1969.

² Р. Якобсон, Г. М. Фант, М. Халле. Введение в анализ речи гл. 2. «Опыт описания различительных признаков» (перев. с английского). «Новое в лингвистике», вып. 2, М., 1962.

выступающие в виде отличительных и объединительных признаков, выражают существенное (релевантное) в языке, в отвлечении от бесконечной и многообразной «субстанции» языка, в силу чего они часто имеют универсальный характер и могут быть использованы в качестве основы для сравнения единиц не только одного, но и нескольких языков.

При сравнении разных языков эти последние считаются типологически сходными, если по составу своих компонентов единицы этих языков сходны, в противном случае — имеет место типологическое различие между языками.

Сравнение языков осуществляется в два этапа. Сначала выявляется состав компонентов, затем производится само сравнение (по выявленным компонентам).

Первый этап представляет собой особенно сложную работу. Необходимо в такой мере изучить «субстанцию» сравниваемых языков, чтобы в итоге не только сформулировать отличительные (и объединительные) признаки в каждом из языков, но и выявить изоморфизм языков в отношении этих признаков.

На втором этапе сравнение языков производится с точки зрения того, насколько последовательно проводится в них упомянутый изоморфизм и каким образом выражается в них на уровне конкретных слов и значений («поверхностная структура») вышеназванные компоненты («глубинная структура»).

Несмотря на то, что компонентный семантический анализ представляет собой существенно иной (и новый) подход в изучении языка, он логически вытекает из традиционного анализа лексики — подобно тому как сами компоненты являются закономерным итогом изучения непосредственно языковой «субстанции». При формулировке компонентов в области лексической семантики совершенно необходимым является учет толкований, которые даются в толковых словарях значениям слов, а при сравнительном изучении языков — также и переводов в двуязычных словарях. Можно сказать, что почти весь корпус компонентов, который требуется для перехода к структурному описанию семантики, в названных словарях уже сформулирован. Остается только отобрать эти компоненты, добавить некоторые недостающие, упорядочить, привести в систему³. Это ниже и сделано с использованием известных русских и венгерских словарей⁴.

2. Названия головных уборов (родовой термин — *головной убор*) в русском языке подразделяются в зависимости от того, надевают (1) ли его на голову или повязывают. Первые — это *шляпа, шапка, фуражка* и др., вторые — *платок, косынка*. Среди надеваемых головных уборов выделяется убор, имеющий поля (2): он называется *шляпа*. Все остальные уборы — без полей — называются общим словом *шапка*. Слово *шапка* имеет еще одно значение — обозначает меховой (3) головной убор, который надевается зимой; остальные головные уборы носят в любое время года. *Фуражка* и *кепка* отличаются от *берет* тем,

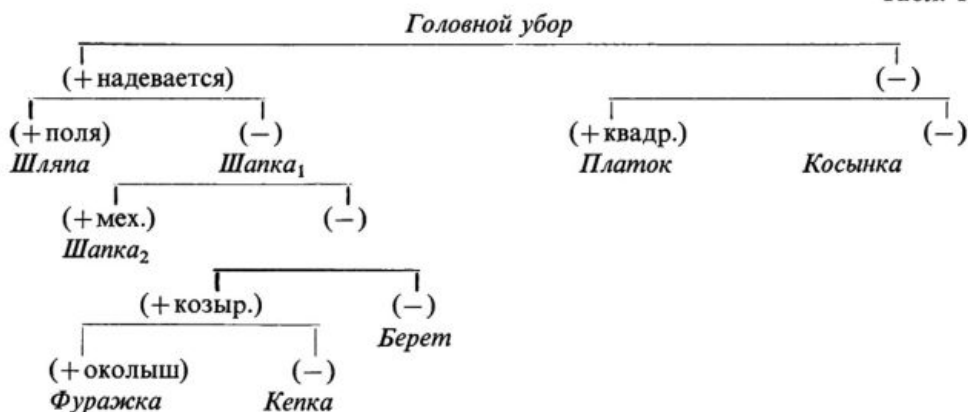
³ См. Д. Н. Шмелев. Проблемы семантического анализа лексики, М., 1973., с. 103—155

⁴ Словарь русского языка, т. 1—4, ред. А. П. Евгеньева, М., 1957—1961; Словарь русского языка, сост. С. И. Ожеговым, изд. 9-е, М., 1972; Венгерско-русский словарь, М.—Будапешт, 1974; Orosz—magyar szótár, т. 1—2, Budapest 1977; Magyar értelmező kéziszótár, Budapest, 1978.

что называют головной убор с козырьком (4), а *фуражка*, кроме того, называет убор с околышем (5). *Платок* — это имя повязываемого на голову убора, представляющего собой кусок ткани в форме квадрата (6), а *косынка* — то же, но в форме треугольника. Кроме общеупотребительных названий головных уборов существуют и малоупотребительные (*папаха, шаль*), устаревшие (*цилиндр, колпак*), диалектные (*повойник*), специальные (*пилотка, каска*), экспрессивные (*шапочка, шляпа*) и др., которые из рассмотрения исключаются. Для того, чтобы проиллюстрировать применение метода компонентного анализа для сравнения языков, достаточно и общеупотребительной лексики. Кроме того, неупотребительная лексика, относящаяся к разным сферам, несоотносима друг с другом, образует разные системы.

Посредством дихотомической схемы проанализированная терминология упорядочивается, с учетом вышеназванных 6-ти признаков, следующим образом (на левых ветках располагаются термины, имеющие признаки в их положительном значении, на правых — термины с отрицательными признаками) — см таблицу 1.

Табл. 1



То же самое представлено на таблице 2 (положительное значение признака обозначено плюсом, отрицательное — минусом, нейтральное — отсутствием знака).

Табл. 2

	1	2	3	4	5	6
	Надев.	Поля	Мех.	Козыр.	Околыш	Квадр.
<i>Гол. убор</i>						
<i>Шляпа</i>	+	+				
<i>Шапка₁</i>	+	-				
<i>Шапка₂</i>	+	-	+			
<i>Фуражка</i>	+	-	-	+	+	
<i>Кепка</i>	+	-	-	+	-	
<i>Берет</i>	+	-	-	-		
<i>Платок</i>	-					+
<i>Косынка</i>	-					-

Таблица 2 представляет собой краткие определения значения всех слов, называющих головные уборы, например: *шляпа* — надеваемый (а не повязываемый) на голову убор с полями; *шапка* — 1. любой (надеваемый) головной убор без полей, 2. меховой (зимний) головной убор; и т. д. Термин *головной убор*, как родовой, в системе видовых терминов определения не получает; он определяется в сопоставлении с другими родовыми названиями одежды (верхней одежды, нижней и др.).

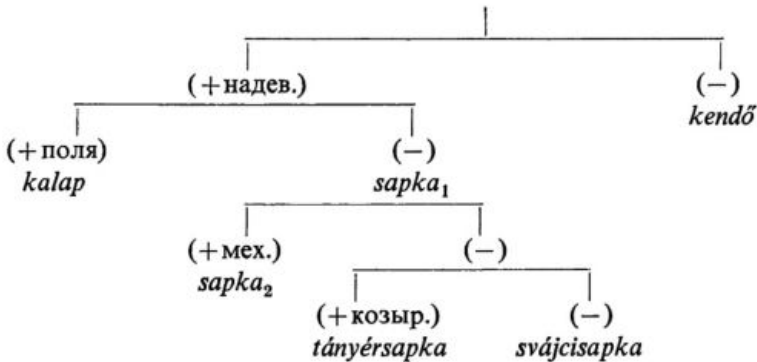
3. В венгерском языке, по-видимому, нет общеупотребительного термина для всех названий головных уборов. Русский термин *головной убор* переводится как *fejrevaló* («одеваемое на голову»); однако такого слова нет в венгерско-русском словаре; нет такого слова и в венгерском толковом словаре. Приходится заключать, что *fejrevaló* представляет собой свободное, а не устойчивое образование и поэтому термином не является. Венг. *fejfedő* («то, что покрывает голову»), отмеченное в толковом словаре, но отсутствующее в обоих переводных словарях, тоже, по-видимому, не может считаться родовым термином, по крайней мере — общеупотребительным.

Что касается видовых названий головных уборов в венгерском языке, то их можно подразделить, как и в русском, на две группы — надеваемые (1) на голову (*kalap, sapka* и др.) и повязываемые (*kendő*). Надеваемый головной убор, имеющий поля (2), называется *kalap*; другие, не имеющие полей, тоже, как и в русском языке, называются общим словом — *sapka*. Слово *sapka* имеет, кроме того, как и в русском языке, значение мехового (3) головного убора, одеваемого зимой, который противопоставляется, как и в русском языке, немеховым головным уборам, надеваемым в любой сезон. Среди последних выделяется убор под названием *tányérsapka*, который, как имеющий козырек (4), противопоставляется головному убору под названием *svájcsapka*, не имеющему козырька. Редкие термины типа *kucsma* (папаха), *sál* (шаль), *cilinder* (цилиндр) и нек. др. из рассмотрения тоже исключаются.

Разумеется, в венгерском языке названия головных уборов можно дифференцировать по-иному. Можно, например, в основу классификации положить признак «мужской — женский», разделив все головные уборы и соответствующие им названия на 1. мужские — *tányérsapka*, 2. женские — *kendő*, 3. нейтральные в отношении этого признака — *kalap, svájcsapka* и др. Но так можно поступить и в отношении русских терминов. Однако, чтобы достигнуть сравнения двух языков, в основу дифференциации приходится класть одни и те же признаки, упорядоченные одинаковым образом, — например, так, как это сделано выше.

Итак, в соответствии с избранной дифференциацией, венгерские названия головных уборов упорядочиваются, с учетом 4-х признаков, следующим образом (см. таблицу 3):

Табл. 3



Ср. таблицу идентификации венгерских терминов с учетом тех же 4-х признаков (таблица 4).

Табл. 4

	1	2	3	4
	Надев.	Поля	Мех.	Козыр.
<i>Kalap</i>	+	+		
<i>Sapka₁</i>	+	-		
<i>Sapka₂</i>	+	-	+	
<i>Tányérsapka</i>	+	-	-	+
<i>Svájcsapka</i>	+	-	-	-
<i>Kendő</i>	-			

В соответствии с таблицей 4 венгерские термины получают следующие определения: *kalap* — это надеваемый (а не повязываемый) на голову убор с полями; *sapka₁* — то же, но без полей; *sapka₂* — то же, но меховой. И т. д.

Проведенный анализ русских и венгерских названий головных уборов создает все необходимые основания для сравнения языков (в отношении данной терминологии).

4. Термины, которые в обоих языках имеют одинаковый набор признаков, являются тождественными по семантике. Такими терминами являются рус. *шапка* и венг. *kalap*. Ср. таблицы 2 и 4, где эти термины имеют два одинаковых признака — (+надев.) и (+поля): в обоих языках слова обозначают надеваемый (а не повязываемый) на голову убор с полями. Тождественными являются и рус. *шапка₁* и венг. *sapka₁*, как имеющие два признака (+надев.) и (-поля): в обоих языках слова обозначают головной убор (надеваемый) без полей. Тождественны также рус. *шапка₂* и венг. *sapka₂*: (+надев.), (-поля), (+мех.) — т. е. надеваемый, без полей меховой головной убор. То же самое — рус. *берет* и венг. *svájcsapka*: (+надев.), (-поля), (-мех.), (-kozyр.), т. е. надеваемый без полей немеховой головной убор без козырька. Такие термины легко переводятся с одного языка на другой, не создают трудностей при изучении другого языка, не вызывают интерференции.

Термины, которые в двух языках имеют разный набор признаков, являются различными по семантике. Таковыми, например, являются рус. *фуражка* и венг. *tányérsapka*. Сравнение наборов признаков, составляющих семантику этих терминов (ср. таблицы 2 и 4), показывает, что рус. *фуражка* содержит все признаки, составляющие семантику венг. *tányérsapka*, и кроме того еще один признак (+ околыш), отсутствующий в семантике венгерского термина. Сам по себе этот признак присущ, конечно, понятию венгерского термина но поскольку этот признак не используется в венгерском языке для отграничения данного термина от других терминов, то этого признака нет у значения венгерского слова. Дело в том, что в венгерском языке нет специального слова, соответствующего русскому слову *кепка*, от которого бы слово *tányérsapka* отличалось бы с помощью данного признака. Рус. *кепка* переводится на венгерский язык нетерминологическими выражениями *sportsapka* (спортивная шапка), *simlis sapka* (шапка с козырьком), отсутствующими в венгерско-русском и толковом словарях.

В венгерском языке нет, далее, слов, называющих разновидности повязываемых на голову уборов, соответствующих русским словам *платок*, *косынка*, но в венгерском языке есть родовое название *kendő*, отсутствующее в русском языке. Это создает еще одно несоответствие между языками. Венг. *kendő* маркируется (см. таблицу 4) только одним признаком (–надев.), в то время как рус. *платок* (см. таблицу 2) — помимо данного признака имеет еще признак (+кв.др.), а рус. *косынка* — еще признак (–кв.др.). Как и в случае со словами *фуражка* — *tányérsapka*, где семантика русского слова включает в себя семантику венгерского слова, набор признаков, составляющих семантику русских слов *платок*, *косынка* включает в себя набор признаков, составляющих семантику венг. *kendő*. Рассмотренные термины неоднозначно переводятся с одного языка на другой. Так, *kendő* в словарях переводится как *платок*, а *платок* — как *kendő*, хотя по значению *платок* — это лишь разновидность *kendő*. Такие термины создают неудобства также и при изучении другого языка, в особенности для той стороны, у которой термин выступает в родовом значении (например, *kendő*), ведь содержит он лишь часть признаков, составляющих значение видового термина (например, *платок*).

Различие между терминологическими системами состоит также в том, что в русском языке есть общий термин *головной убор*, в то время как в венгерском языке такой термин, по всей вероятности, отсутствует.

Соотношение русского и венгерского языков в области названий головных уборов можно передать с помощью таблицы 5.

Общую зону составляют признаки, из которых образуются значения слов в обоих языках, например: «надев.», «поля», «мех.» и «козыр.». Отличительная зона языков образуется из признаков, составляющих значение слов только одного из языков, например: «околыш», «кв.др.», участвующие в образовании русских терминов *фуражка*, *кепка*, *платок*, *косынка*.

Соответственно, общую зону образуют термины обоих языков, обладающие одинаковым набором признаков, например: *шляпа* — *kalap*. В общую зону входят также и термины только одного языка, значение которых составляется из части признаков, образующих значение соответствующего

<p>Признаки: «околыш», «квадр.»</p> <p>Слова: гол. убор, фуражка, кепка, платок, косынка.</p>	<p>Признаки: «надев.», «поля», «мех.», «kozyр.»</p> <p>Слова: шляпа — <i>kalap</i>, шапка₁ — <i>sapka₁</i>, шапка₂ — <i>sapka₂</i>, берет — <i>svájcisapka</i>,</p> <p><i>tányérsapka</i> <i>kendő</i></p>	
---	--	--

Венгерский язык

ших терминов другого языка. Таким общим термином является, например, венг. *kendő*, значение которого состоит из признаков, полностью включающихся в значения русских слов *платок*, *косынка*. Слова *платок*, *косынка* образуют отличительную зону русского языка, в которую входят также и термины, вовсе отсутствующие в венгерском языке, как, например, *головной убор*, не имеющий соответствующего обозначения в венгерском языке.

Трудности при изучении другого языка образуются прежде всего за счет тех признаков и тех терминов, которые составляют его отличительную зону. Так, в области терминологии, называющей головные уборы, изучение русского языка представляет для венгров большую трудность, чем изучение венгерского языка русскими, так как отличительная часть русского языка в области этой терминологии содержит больше единиц: на 2 признака и 5 терминов больше, чем в венгерском языке. В других терминологических системах положение может измениться на противоположное. В третьих случаях трудности при изучении могут уравновеситься. Если же взять языки в целом, то надо полагать, что трудности при их изучении для обеих сторон будут одинаковыми. Эти трудности можно измерить, если оба языка описать методом компонентного анализа. К сожалению, этот анализ пока не находит широкого распространения при сопоставительном описании семантики, в особенности — применительно к русскому и венгерскому языкам, вообще имеющим мало сопоставительных работ, несмотря на интересные типологические особенности, тем более если эти языки рассматривать друг по отношению друга*.

* Автор выражает искреннюю благодарность своим информантам-венграм Е. Матэ и Д. Явору.

Beitrag zur Frage des Klassizismus in den ostmitteleuropäischen Literaturen
(Zum Charakter der Spracherneuerungen)

J. FRIED

Als der Literaturhistoriker der ungarischen Romantik, Ferenc Toldy (1805—1875) die Werke von Ferenc Kazinczy (1759—1831)¹ besprach, er ist derjenige unter den Schriftstellern des ungarischen Klassizismus, der die Methoden der deutschen Klassik am selbstbewußtesten in die ungarische übernahm und ihr anglich, schrieb Toldy unter anderem das Folgende: „Die harmonische und notwendige Einheit des Gedanken und der Form, des Teiles und des Ganzen macht die Klassizität aus; dazu sind Studium und Kunstfleiß nötig, und diesen Kunstfleiß entwickelte nur er [d. h.: Kazinczy. I. F.], damit arbeitete nur er.“² Diese Meinung stimmt mit der Aussage des besprochenen Autors völlig überein: „...Ich erkenne an der Arbeit keines ungarischen Schriftstellers so viel Klassizität wie an meiner [...] Ich verstehe darunter keine klassische Schönheit, sondern klassische Kenntnisse, und darunter nicht nur Reminiszenzen, Allusionen, sondern auch den Ton, und zwar auch dort, wo mir kein neues oder altes klass. [isches] Beispiel vorschwebte.“³ Damit bestimmen Kazinczy und ihm folgend Toldy eigentlich die charakteristischsten Züge des künstlerischen Verfahrens und ästhetischen Bekenntnisse des Klassizismus. Aber diese Definition könnte von jedem beliebigen klassizistischen Verfasser oder Theoretiker herrühren, darin können wir die ostmitteleuropäische Besonderheit noch nicht entdecken. Was von Ferenc Toldy nicht erwähnt, seiner Behauptung jedoch hinzugefügt werden muß, ist das sprachliche Medium, in dem diese klassizistische Literatur entstand. Die polnische abgerechnet, laufen die einer Erneuerung—Neuwerdung harrenden, eine Regelung (Erweiterung—Verschönerung) verlangenden sprachlich—grammatischen Bewegungen mit den klassizistischen Bestrebungen meistens parallel, die Dichter werden durch solche sprachästhetischen und sprachphilosophischen Diskussionen in Lager gespalten, die die Herausbildung der klassizistischen Doktrin fördern. Der „sprachliche Charakter“ der als „nationales Erwachen“ bezeichneten

¹ Ferenc Kazinczy: Dichter, Schriftsteller, Übersetzer, die größte Persönlichkeit der ungarischen Spracherneuerung.

² D.[r.] Schedel F.[erenc]: Kazinczy Ferencz' eredeti munkái. (Originalwerke von F. K.) Figyelmező I (1837) Bd. II., Nr. 8., Columne 121.

³ Kazinczy Levelezése (Briefwechsel von K.) Bd. XX., S. 274.

Epoche kann nicht nur von den tschechischen,⁴ sondern auch von den anderen ostmitteleuropäischen Forschern mit Recht hervorgehoben werden. Hier war es vielfach vonnöten, ein an strenge Regeln gebundenes, festes und tragfähiges Sprachsystem, das nicht die Traditionen einiger Landschaften weiter vererbt, sondern die Bedürfnisse des größeren Ganzen, d. h. der ganzen muttersprachlichen Gemeinschaft berücksichtigt, gegen die mundartlichen Eventualitäten, die zum Provinzialismus neigenden sprachlichen Faktoren, die Exzentrizitäten des Barocks auszubauen.

Das bedeutet aber einen Bruch nicht nur mit der mundartlichen Überlieferung, mit dem durch Bräuche sanktionierten Provinzialismus, sondern auch mit der diesen hervorrufenden und ernährenden Mentalität, Lebensführung und Weltauffassung. Deshalb bleiben die sprachlichen Neuerungen nicht in ihrem im engeren Sinne genommenen grammatischen Rahmen, sondern sie werfen mit der sprach- und grammatikbezogenen Arbeit zusammen auch sprachästhetische Probleme auf, die das weitere Schicksal der Sprache und der muttersprachlichen Literatur bestimmen. Denn durch die Sprachreform wurde die Inbesitznahme sämtlicher Zweige, Gattungen, Akzente und Nuancen der Literatur ermöglicht, das auf die Nationalliteratur angewandte ästhetische System des Klassizismus konnte mit dem sprachlichen Vereinheitlichungsprozeß parallel ausgebaut werden. Diese normative Ästhetik war hier meistens nur in ihren Prinzipien starr, in ihrer Praxis machte sich schon die wohlthuende Wirkung geltend, die sich aus der „Verspätung“ und „Zeitverschiebung“ (*décalage chronologique*) ergab. Da gerade der sprachliche Charakter so ausgeprägt war, bekamen die sprachlichen Beziehungen der Literatur eine bedeutende Rolle, was sich zum Teil darin offenbarte (und da konnte man sich auf Horatius, Quintilianus und Cicero stützen), daß bestimmte Gruppen der Gattungen in immer anderen, verschiedenen Sprachen zu Wort kommen konnten. Das kann am anschaulichsten in der serbischen Literatur nachgewiesen werden, in der vor der Sprachreform von Vuk St. Karadžić zahlreiche, beinahe nach Schriftstellern einzuteilende Varianten der slawenoserbischen Sprache entstanden — neben der Volkssprache, die in bestimmten Gattungen und zu einem bestimmten Publikum sprechend, anerkannt worden war. Dieselbe Erscheinung kann so, in diesem Maße anderswo nicht wahrgenommen werden, doch ist der Kampf der Dichter, die gegen die künstliche Sprache der Kirche kämpfen und sich die Verwirklichung einer auf der Volkssprache aufgebauten Schriftsprache zum Ziele setzen (z. B. in dieser Periode der ukrainischen Literatur) mit ihr durchaus verwandt. Die Auffassung, die Ferenc Kazinczy vertrat, ist von einer anderen Art, kann bis zu einem gewissen Grade jedoch in diese Kategorie eingereiht werden: „Wir begehen den Fehler, daß wir nicht begreifen wollen, daß die ungarische Sprache eine Sprache ist, aber die Sprache des Poeten, des Rhetors, des Historikers, des Theaters, des Marktes, der Schule und der Kirche nicht dieselbe Sprache ist.“⁵ Das ist die Anschauung, die genauso gut auf die Lehren des schulmä-

⁴ Dějiny české literatury II. Literatura národního obrození. Red. svazku: Felix Vodička. Praha 1960. (České národní hnutí mělo proto ve svých počátcích vysloveně jazykový charakter)., R. Pražák: Dobrovský a Kazinczy. (K typologii českého a maďarského kulturně politického a literárního vývoje na přelomu 18. a 19. století). Sborník prací Filosofické fakulty Brněnské University. D 17/18 (1971) S. 45—60.

⁵ Briefwechsel von Kazinczy, Bd. XI, S. 173.

Bigen Klassizismus zurückgeführt werden kann wie auf die antiken Autoren (z. B. auf Cicero, der in seinem rhetorischen Bildungsschriften, in erster Linie im *Orator* drei Arten der Reden unterschied: *genus dicendi grave*, *genus dicendi tenue* [subtile], *genus dicendi medium*)⁶ Das ist ein leitendes Prinzip in allen ostmitteleuropäischen Literaturen, die bewußt danach strebten, eine klassizistische oder sog. klassische Epoche zu prägen. Bestrebungen solcher Art können z. B. auch in der ungarischen, in der polnischen und in der tschechischen Literatur wahrgenommen werden. Damit die verschiedenen Sprachschichten auch verwendet werden können, mußte erst die oben geschilderte Sprachregelung durchgeführt werden; genauer gesagt, die sprachlichen Möglichkeiten mußten aufgrund des immer mehr ausgebauten ästhetischen Systems eingeteilt werden. Diese Einteilung erfolgte von den klassizistischen Grundlagen ausgehend aufgrund der rationalen Sprachauffassung, und strebte die sprachliche Reinheit an. Diese sprachliche Reinheit ist natürlich mit dem Purismus nicht identisch; die Übernahme von Fremdwörtern, die Bildung von Lehnwörtern gehören ebenso ins Arsenal der Neologismen mit hinein wie die Absicht, fremdartige Wendungen einzubürgern.⁷ Die bewußt verwendeten Fremdlichkeiten, die Lehnwörter waren sogar überall, wo der „gehobene Stil“, das *genus dicendi grave*, Platz gegriffen hatte und eigentlich zur Sprache der Literatur geworden war, berufen, zur Differenziertheit, zur Genauigkeit der Ausdrucksweise beizutragen. Denn das Ziel ist, ob man den tschechischen, ob den ungarischen Neologismus nimmt, aber auch die sprachästhetischen (doch keinesfalls neologen) Bestrebungen des polnischen Klassizismus können hierzugezählt werden, ein und dasselbe: die Herausbildung einer klaren Sprache, die frei ist vom Bombast des Barock, vom Provinzialismus und die das Aufblühen der klassizistisch werdenden Literatur ermöglicht. Bernoláks Bemühen um die Ordnung und sein Kampf gegen die Provinzialismen von J. I. Bajza sind eigentlich beredete Offenbarungen derselben Geste. Die klare, übersichtliche Rede, die logische Darstellung, die Disziplin und die Ruhe sind die Merkmale des Sprachideals, das einzubürgern der ostmitteleuropäische Klassizismus bemüht ist.

Zu dieser Zeit beginnt sich auch die großangelegte lexikographische Literatur zu entfalten, um gewissermaßen den Wortschatz der Muttersprache zu erfassen. In diesem sprachlichen Medium kann der Klassizismus in Ostmitteleuropa die Bühne betreten. Deshalb sind die ausdrücklich sprachlichen Probleme hier von so großer Wichtigkeit. Ihre Erörterung schlägt nicht selten in ästhetische Kämpfe um, bzw. die ästhetischen und poetischen Fragen erscheinen in linguistischen Gewand. Hier wollen wir nur Dobrovskýs prosodische Auseinandersetzungen, die Entwicklung der slowenischen Prosodie und Metrik im 18. Jh., die ungarischen prosodischen Gefechte in den 80—90-er Jahren des 18. Jh. andeuten. Die Sprache für die anspruchsvollere und kompliziertere Verskunst vorzubereiten, das führt die Dichter, die Theoretiker der behandelten Epoche; den Sprachgebrauch nuancenreicher,

⁶ *Orator* V, 20.

⁷ R. Auty: Párhuzamosság és eltérés a magyar, a szerb-horvát és a szlovén irodalmi nyelv történetében (Parallelität und Divergenz in der Geschichte der ungarischen, serbo-kroatischen und slowenischen Schriftsprachen). In: Szomszédtság és közösség. Délszláv—magyar irodalmi kapcsolatok (Nachbarschaft und Gemeinschaft. Südslawisch-ungarische literarische Beziehungen). Red.: Vujicsics, Sztojan D. Budapest, 1972., S. 135—151.

die geschliffene Ausdrucksweise allgemeiner zu machen ist das Ziel und in dieser Bestrebung ist das Verlangen zugegen, sich den differenzierteren Literaturen anzuschließen. Mit Recht nennt Henrik Becker die tschechische und die ungarische Spracherneuerung „*Sprachanschluß*“,⁸ aber auch die übrigen, auf eine andere Weise sprachschöpferischen ostmitteleuropäischen Literaturen sind im Zeichen dieser Bestrebung bemüht, ihre Schriftsprache zu erschaffen. Nur ein an Regeln gebundenes, systematisiertes, auf rationalen Prinzipien basierendes Sprachsystem konnte die Ausbildung einer ebenfalls an Regeln gebundenen, die rationalen Grundsätze mit Emotionalismus färbenden und abschwächenden Literatur von aufgeklärtem Geschmack gewähren. Es ist ein ostmitteleuropäisches Merkmal: die wissenschaftlichen, sprachästhetischen und die im engeren Sinne genommenen literarischen Bestrebungen traten nicht getrennt, sondern zusammen, wengleich auch nicht im institutionellen Rahmen, sondern -hauptsächlich- in der Tätigkeit von Dichtern-Schriftstellern, auf. Die Grenzen der Sprachästhetik—Sprachphilosophie und der Dichtung waren nicht selten verwischt und zugleich entfalteten sich diese im Schatten des Bedrohtseins der nationalen Existenz. So fing der Klassizismus der Epoche die Impulse, die von der Boileauschen rationalen Lyrikauffassung, sowie von mehreren Elementen der Philosophie der französischen und der englischen Aufklärung, von den Lehren der antiken Autoren, von einigen Ergebnissen des deutschen Klassizismus und der Weimarer Klassik, von den deutschen linguistisch-sprachlichen Bestrebungen (von Adelung, Wieland, Campe, Jenisch) ausgingen, größtenteils zur gleichen Zeit auf, (und wir müssen zudem auch die außerordentlich zusammengesetzte Wirkung der Werke von J. G. Herder mit in Betracht ziehen!) und gestaltete diese zusammen mit dem Kampf gegen die nationalen Traditionen und damit parallel mit der Angleichung der nationalen Traditionen um. Der ungarische Literaturhistoriker, János Horváth (1878—1961) will die ungarische Aufklärung so charakterisieren, seine Gedanken scheinen aber auch für die anderen ostmitteleuropäischen Literaturen in dieser Epoche gültig zu sein: „Die Aufklärung ist eine weltbürgerliche Richtung, und doch diente nicht nur ihre Opposition, sondern auch diese Richtung selbst letzten Endes dem nationalen Erwachen. Ihr eigener Gedankengang zwang sie dazu, denn sie kann ihr Ziel nur erreichen, wenn sie allgemein, alles durchdringend, also demokratisch wird, und nicht nur den Bereich des höheren geistigen Lebens und die höheren Stände des Gesellschafts erfäßt, sie hat aber nur die Nationalsprache als einziges Mittel, sich allgemein zu verbreiten; Verblendung, geistige Finsternis zerstreuen kann sie nur, wenn sie sich der Nationalsprache bedient. Aber der nationale Gedanke wird nicht nur ihr Mittel, sondern recht bald auch ihr Zweck.“⁹ Dazu muß noch nur so viel hinzugefügt werden, daß die Aufklärung selbst in die Stellungen der zu ihr eigentlich gegensätzlichen Ideenwelt des Spätbarock eindringt und im Gedankensystem der Vertreter dieses Gedankenguts eine Änderung bewirkt. Sie findet aber in erster Linie bei den Anhängern der klassizistischen ästhetischen Prinzipien echten Anklang: Aufklärung und Klassizismus gehen auch in Ostmitteleuropa nicht unbedingt einher, Klassizismus ist jedoch (ob seine Sprach- oder ob seine Geschichts-

⁸ H. Becker: *Zwei Sprachanschlüsse*. Berlin—Leipzig, 1948.

⁹ J. Horváth: *A magyar irodalom fejlődéstörténete* (Entwicklungsgeschichte der ungarischen Literatur). Budapest, 1977., S. 173.

auffassung geprüft wird) ohne Aufklärung kaum denkbar. Die Vernunftmässigkeit, die Klarheit des Stils, die aus der Darstellung hervorleuchtende „edle Einfach“, die ästhetischere und funktionellere Auffassung als bisher über die Sprache als Literatur- und Wissenschaftsträger, der Drang nach Systematisiertheit- sind alle Eigenschaften, die den Klassizismus in unserer Zone mit der Aufklärung verbinden. Die sprachreini-gende Bewegung, die die puristischen Bestrebungen von Campe verwarf, kann gleich-falls mit der klassizistischen Ästhetik in Verbindung gebracht werden, und das wird durch die mehr oder weniger konsequente Anwendung des Ciceronischen Prinzips (suus est cuique poemati sonus) quasi ergänzt.

Man darf aber nie vergessen, daß die klassizistische und aufgeklärte Sprach-auffassung während der Erschaffung der *nationalen* Schriftsprache entstand. Auf diese Weise mag der Dichter in Ostmitteleuropa auch noch so sehr auf die Mensch-heit, auf das Allgemeine schauen — wie worauf J. Horváth hindeutete —, dabei vergißt er aber nie, daß er nicht nur der Wissenschaft, der Humanität, der Welt, sondern auch der eigenen Nation verbunden ist. Deshalb sind das Nationale und das Universale, das Besondere und das Allgemeine für ihn keine sich gegenseitig ausschließenden Faktoren.¹⁰ Was bei Goethe einander gegenübergestellt wird, (in erster Linie die Erscheinungen der deutschen Literatur prüfend) ergänzt sich hier. „Poesie wird durch Geschichte [...], das allgemein Menschliche durch's Vaterlän-dische verdrängt“ — schreibt Goethe im Jahre 1800 in seinem Artikel „Flüchtige Übersicht über die Kunst in Deutschland“.¹¹ Für die Art des Historismus und Patrio-tismus, gegen die Goethe (und Schiller) kämpfte(n), war gerade die Versteifung auf das Partikuläre charakteristisch. Auch dieser Historismus und Patriotismus schätzte die Antike hoch, nur kam er beim Studieren der Antike zu einer von Goethe und Schiller abweichenden Schlußfolgerung, und sein Mittelalterbild regte eine von der Auffassung der Weimarer Klassik verschiedene Utopie an. Zwar hallt er anscheinend in den Vorstellungen über „das goldene Zeitalter“ in der Abhandlung von Schiller „Über naive und sentimentalische Dichtung“ wider, doch rührt er in Wirklichkeit aus davon abweichenden Veranlassungen her und gelangt zu anderen Ergebnissen. Für die die Schriftsprache erschaffenden Theoretiker Ostmitteleuropas stellt der Historismus und Patriotismus einen *integrierten* Teil des Allgemein-Menschlichen dar, das ist eine Besonderheit ihres Klassizismus. Später machten die Dichter, die Gelehrten, die den Historismus und Patriotismus (sogar den historisch untermauerten Patriotismus) dem Allgemein-Menschlichen vorzogen, von den Behauptungen, Resultaten der vorhergehenden Epoche gerne Gebrauch. Selbst die Abweichungen, die sich manchmal nur in der Verschiebung der Akzente, in Nuancen offenbaren, sagen etwas über wesentliche Unterschiede in der Anschauungsweise aus. Wenn man Dobrovskýs, Kopitars, Miklós Révais, Kazinczys Abhandlungen mit linguisti-schem Bezug oder im allgemeinen über die Muttersprache und die Sprache liest,

¹⁰ Z. B. A. Linhart in seinem Buch „Versuch einer Geschichte von Krain und den übrigen Ländern der südlichen Slawen Österreichs“ möchte „den Gang der Menschheit in diesem kleinen Teile Europas“ darstellen. Zitiert von J. Pogačnik: *Zgodovina slovenskega slovstva. Klasicizem in predromantika*. Maribor, 1968., S. 33.

¹¹ Zitiert von H. Hamm: *Der Theoretiker Goethe. Grundpositionen seiner Weltanschauung*. Berlin, 1975., S. 251.

sind die Verflechtung, die Einheit des Nationalen und des Allgemein-Menschlichen (oder wie es Kazinczy die Größen der Weimarer Klassik zitierend formulierte des „rein Menschlichen“¹²) augenfällig. Ob man Dobrovský, ob Kopitar, ob Kazinczy (ihre wissenschaftlichen Abhandlungen oder Privatbriefe, historischen oder polemischen Werke) untersucht, begegnet man bei ihnen häufig der toleranten Formulierung der Sprachfrage, der maßhaltenden Anwendung des Historismus und dem legenden-zerstörenden Mut. Wie Dobrovský der „prahlerischen“ Geschichtsauffassung des Großmährischen Reiches abgeneigt ist,¹³ und wie er in seinem Werk „Geschichte der böhmischen Sprache und Literatur“ den entwicklungsgeschichtlichen Wert von den wahren und universelleren Werten trennt, humanisiert (und klassiziert) Kazinczy ebenso die Sage von der ungarischen Landnahme, und beschwichtigt ihren aggressiven Charakter in Richtung des „rein Menschlichen“. Freilich entsprechen Dobrovskýs und Kazinczys, Kopitars oder Miklós Révais linguistisch-historische Grundsätze, in denen auch die Achtung für andere Völker, andere Kulturen ein kolorierender Zug ist, der Goetheschen oder Schillerschen Vorstellung vom Allgemein-Menschlichen nicht genau. Schiller legt in seiner Schrift „Ankündigung der Horen“ den Nutzen des „rein Menschlichen“ dar. Seiner Ansicht nach ist es notwendig, die Menschheit „durch ein allgemeines und höheres Interesse an dem, was *rein Menschlich* und über allen Einfluß der Zeiten erhaben ist, wieder in Freiheit zu setzen, und die politisch geteilte Welt unter der Fahne der Wahrheit und Schönheit wieder zu vereinigen.“¹⁴

Auch in Ostmitteleuropa kam es dazu, sich von der aktiven politischen Tätigkeit in die Kunst und in die Wissenschaft zurückzuziehen. Das Scheitern der ungarischen, österreichischen, kroatischen Jakobinerbewegung, der Absolutismus von Franz I., die dritte Teilung Polens bedeuten in der Tat eine Zäsur in der Geschichte der einzelnen Nationalliteraturen. Nur wurden die klassizistischen Tendenzen hier (Polen abgerechnet) erst *nach* dem Sturz des Josefinismus stärker; die Zerstreung, die Einkerkung, der Tod oder die Einschüchterung der Jakobiner in der Habsburg-Monarchie förderten — auf paradoxe Weise — die Verbreitung des Klassizismus, das Wiedererwachen und die Umbewertung der Antike. Die polnische Literatur abgerechnet, kann sich die Spracherneuerung, -erweiterung, -schöpfung zu dieser Zeit (d. h. am Ende der 90-er Jahre des 18. Jahrhunderts bzw. im ersten Jahrzehnt des 19. Jh.) entfalten, und die Lehren der Auseinandersetzungen über die Prosodie reifen gleichfalls zu dieser Zeit aus. Zu dieser Zeit (im Jahre 1808) beginnen Dobrovský und Kopitar Briefe zu wechseln, und in den Wiener Blättern (in den Annalen der Literatur und Kunst, in den Vaterländischen Blättern) erscheinen nacheinander Rezensionen über die — böhmischen, slowakischen, ungarischen, serbischen usw. — sprachlichen und kulturellen Bestrebungen, deren Verfasser hauptsächlich nach Gesichtspunkten der sprachlichen Korrektheit und Reinheit, sowie der Klassizität ihr Urteil fällten. Daß die Linguistik unter den Fachwissenschaften eine hervorragende

¹² Briefwechsel von Kazinczy, Bd. XIX., S. 485—486.

¹³ „Es ist eitle Prahlerey mit dem großen mährischen Reich und Svatopluk.“ S. ferner: *Vzájemné listy Josefa Dobrovského a J. Ribaye z let 1783—1830*. K tisku upravil Adolf Patera. Praha, 1912., S. 58., 66., 75.

¹⁴ Zitiert von Hamm: *op. cit.*, S. 107.

wichtige Rolle bekam, wurde durch die Ansprüche der Nationalbewegungen gerechtfertigt. Der notgedrungene Rückzug bewog die Vertreter der kulturellen Bestrebungen, den *Nationalgedanken*, die Sache der *Nationalbildung* durch die Lexikographie, durch den vollen Ausbau des grammatischen Systems, durch das Aufstellen der Normen der Schriftsprache in die nächste, eventuell liberalere Epoche hinüberretten zu wollen. Die Tätigkeit von Bernolák, M. Révai, Kumerdej, Dobrovský, Linde, Kopitar, Kazinczy usw. wirkte weitreichend; ihre sprachlich-linguistische Grundlegung schuf die Möglichkeit, daß die einer sprachlichen Reinheit bedürftige klassizistische Dichtung aufblühen könnte. Der in der Bernolákschen westslowakischen Sprache schreibende Ján Hollý ist die bedeutendste Persönlichkeit der slowakischen Klassik; Ferenc Kazinczy machte die historisch hergeleitete Sprachauffassung von Miklós Révai zu der seinen und verhalf der Sache der ungarischen Spracherneuerung zum Siege; Dobrovský förderte mit der Klärung der umstrittenen Fragen der böhmischen Prosodie die Lyrik der in der biblischen tschechischen Sprache schreibenden Slowaken und des Kreises von A. Puchmajer; auch der in den ersten beiden Jahrzehnten des 19. Jh. ausklingende und immer überholter werdende polnische Klassizismus baute auf die normenaufstellenden Grundsätze der polnischen grammatischen Literatur, und auch Vodnik schrieb seine slowenische Gedichte nicht ohne Vorläufer. Die Idee des „rein Menschlichen“ bei den ostmitteleuropäischen Klassizisten, ihr den Patriotismus mit dem Kosmopolitismus paarendes Bewußtsein sind der Utopie ledig, obzwar die Arkadien-Vorstellung ein inspirierender Faktor (und die Idylle eine kennzeichnende Gattung) dieser Epoche ist. Der Kreis, in dem der ostmitteleuropäische Klassizismus ein Feld für die Selbstverwirklichung hatte, war nicht einfach populärer und an die Scholle gebundener, von „nationalerem“ Charakter, sondern er war von vornherein von den Nationalbewegungen determiniert. Er wuchs (auch) aus dem nationalen Erbe heraus, bzw. bestritt gewisse Züge dessen. Außerdem kämpfte er ständig mit dem Barock, der in die Mündlichkeit, in die Lateinischsprachigkeit gedrängt, manchmal halbvolkstümlich, gegebenenfalls kleinelig oder kleinstädtisch wurde. Im Unterschied zu der Goethesch-Schillerschen Klassik, die auf der Höhe der deutschen Dichtung und Philosophie des 18. Jh. ihre gleichfalls nicht leichten Kämpfe führen mußte, treten mehr seine literaturgründend—literatur-schaffenden Züge hervor.

Es kann also nur als ein partikulärer Rückzug betrachtet werden, daß die sprachlichen Probleme in den Vordergrund getreten sind, denn vor der erwähnten Zäsur waren die spätere, bedeutsame Werke verheißenden Ansätze (Bernoláks Werke und Polemiken, Pohlins gottschedianistische Sprachauffassung, Kumerdejs Wörterbuch aus dem Jahre 1781, die sprachlichen Bestrebungen der ungarischen Aufklärung usw.) bereits vorhanden. Die Festlegung der Sprachnorm war eine Voraussetzung dafür, daß die Literatur klassizistisch werde, nur eine systematisierte, Regeln angepaßte Sprache konnte ja die aufgrund der normativen Ästhetik geregelte Literatur tragen, noch genauer gesagt: die klassizistische Literatur bedarf der sprachlichen Regelung, zu der es in unserer Zone hauptsächlich am Ende des 18. Jh. und am Anfang des 19. Jh. kam.

К методологии истолкования пушкинского текста
(Фрагмент анализа «Капитанской дочки»)

В. Г. ЕЛКИН

Параллелизм или симметрия сходных элементов сюжета, композиции, образов и т. д. пушкинских произведений — явление общеизвестное. В повести «Капитанская дочка» к числу значительных и проблемных явлений такого рода относятся два варианта «царской милости» по отношению к Гриневу: Пугачева и Екатерины II.

Указанную параллель советские литературоведы чаще всего рассматривают как противопоставление. Один из них, например, считает, что в повести таким образом «милости Пугачева, основанной на справедливости, противопоставлена „милость“ Екатерины, выражавшей произвол самодержавной власти»¹. Другой сердцевиной этого противопоставления видит в том, что в «отличие от Пугачева, Екатерина руководствуется не гуманной милостью, а нормами дворянского правосудия»². Третий полагает, что здесь противопоставляется «подлинной доброте мужаика... доброта по долгу царицы, которая только восстанавливает справедливость»³ и т. д.

При некоторых нюансах общая «противопоставительная» тенденция вышеприведенных суждений о двух «царских милостях» очевидна. В известной мере она, безусловно, «подсказывается» самим пушкинским текстом, но ее исследовательская однозначность — есть вольное или невольное нарушение марксистского принципа «содержательной логики», необходимости многостороннего рассмотрения любого изучаемого явления. Эта тенденция не способствует выявлению реальных отношений тождества и различия, обедняет смысл, созданного Пушкиным параллелизма, искажает его этико-эстетическую систему. Опора на чисто «вкусовое», эмоциональное восприятие текста ведет

¹ Г. П. Макогоненко. «Капитанская дочка» А. С. Пушкина. Изд. «Художественная литература», Л., 1977, с. 87.

² И. М. Тойбин. Пушкин. Творчество 30-х годов и вопросы историзма. Воронеж, 1976, с. 266.

³ В. В. Белькинд. Время и пространство в романе А. С. Пушкина «Капитанская дочка» — В кн.: Пушкинский сборник, Л., 1977, с. 19, 20.

одновременно к слишком свободному от связи с ним толкованию понятий «справедливость», «правосудие» и «доброта».

Милости Пугачева — это ответ на «добродетель» Гринева. В повести устами мятежного героя об этом говорится неоднократно (на постоялом дворе: «Спасибо, ваше благородие! Награди вас господь за вашу добродетель. Век не забуду ваших милостей»; после взятия Белогорской крепости: «Ты крепко виноват передо мною... но я помиловал тебя за твою добродетель...»; при встрече в Бердской слободе: «Долг платежом красен»).

Пугачев дважды «щадит» Гринева (а во второй раз и Машу Миронову) и оказывает ему милости потому, что из всех «бунтовщиков», только он, их предводитель, связан с прапорщиком узами взаимообязывающей человеческой «добродетели». Не «справедливость», ибо с точки зрения социального «я» пугачевцев и их вожака, дворян уничтожать справедливо, не абстрактная «доброта», так или иначе свойственная большинству людей (и капитан Мионов, прибегающий к пытке башкирца, и «губители», ободряющие Гринева под виселицей: «Не бось, не бось», не лишены доброты), а конкретное, совершенное «доброе дело», требующее своего возмещения по неписанным законам человеческого взаимного благодеяния — составляет этическую и логическую основу милостей Пугачева.

Эта исходная сюжетная «милостивая линия» имеет в повести не только «параллель» контрастов, но и подобий.

Прежде всего, как и Пугачев, Екатерина II оказывает прапорщику Гриневу свою милость дважды (сначала предотвратив его казнь, затем освободив от ссылки в Сибирь и заключения). С позиций социальной «справедливости» дворянский суд и императрица имели все основания считать молодого офицера виновным, так как, не желая «впутывать» в следственное дело имя своей невесты, он скрыл от них подлинные причины своего вынужденного общения с Пугачевым. В этой ситуации единственным человеком, способным рассеять «предубеждение» властей против осужденного, оказалась Марья Ивановна. Она «мучилась больше всех, — свидетельствовал Гринева. — Будучи уверена, что я мог бы оправдаться, когда бы только захотел, она догадывалась об истине и почитала себя виновницею моего несчастья». Поэтому капитанская дочь отправляется в Петербург не затем, чтобы искать «правосудия», а «просить милости» — пересмотра дела Гринева на основе известных ей обстоятельств. Она так и говорит «даме»-императрице: «Я приехала просить милости, а не правосудия».

Другим сближающим моментом «параллелизма» является переход «государей» от одного решения к другому в результате «узнавания» (Пугачев, благодаря Савельичу, узнает его молодого барина, Екатерина II, благодаря Маше Мироновой, — «истину» о ее женихе). То, что казалось им справедливым до «узнавания», предстает в ином свете после него. Суть перехода составляют борьба и победа в душах «государей» человеческих, личных начал над общественносоциальным, хотя степень и качество этих побед у каждого из них, безусловно, не одинаковы.

Марья Ивановна убеждает в непричастности своего суженого к мятежу не столько императрицу, сколько женщину, для которой любовь и благород-

ство прапорщика становятся самым убедительным свидетельством его политической «невинности». «Я убеждена в невинности вашего жениха», — говорит она просительнице и это «я» — сигнал личного начала ее милостивого деяния, как и деяния Пугачева («Я помиловал тебя...»). Подобно «мужицкому царю», встающему в момент определения судьбы Маши Мироновой на точку зрения Гринева («Ин быть по-твоему!... Возьми себе свою красавицу: вези ее куда хочешь...»), императрица, в окончательном решении участи прапорщика, встает на точку зрения его невесты. При этом у обоих «государей» обман Гринева, утаившего от них имя своей возлюбленной, вызывает не гнев, а понимание, уважение и сочувствие.

Такие сюжетно-структурные «схождения параллелей» не случайны и не позволяют безоговорочно определять милость Екатерины II как проявление монаршей воли, «произвола самодержавной власти» или «нормы дворянского правосудия». Способность сильных мира сего «убеждаться» в правоте слабых, становиться на их точку зрения, жертвовать для них чем-то социальным во имя человеческого, как говорится, «не вписывается» в рамки этих определений. Больше того, эти определения не гармонируют с главной, изначальной концепцией «параллелизма», ставящей все рассказанное о «царских милостях» как бы на грань реального и идеального, действительного и желаемого⁴.

Сложность нравственно-политического содержания, созданной Пушкиным «художественной параллели», обусловлена диалектикой взаимопритяжения и отталкивания ее линий. В ней есть то, на наш взгляд, что называется неточной рифмой, «рифмой ситуаций». Впервые на это обратил внимание Ю. М. Лотман, он же рассмотрел в кульминации сопоставления двух фигур «государей» утопичную и в то же время глубоко гуманистическую идею художника о необходимости валстям предержащим превращать «человечность и доброту из личного свойства в государственный принцип»⁵. Универсальность идеи «оставления герою сердца» для творчества Пушкина общепризнана, и тем не менее для повести, как видно из литературоведческих источников, она все еще не бесспорна.

Контраст и подобие «царских милостей» — это производное социально-исторических характеров Пугачева и Екатерины II, результат их многих душевных движений, где всякое выделение частных сопряжено с разрушением целого. И все же есть среди этих движений одно, доминирующее — человеческая «добродетель», ради которого и создан «параллелизм милостей», приподнимающий всю повесть над «жестоким веком».

«Долг платежом красен», — объясняет нормой народной морали свою «личную» милость «государь-самозванец», предводитель взбунтовавшихся мужиков, «бродяга, шатавшийся по постоянным дворам» и «потрясавший государством». «Я в долгу перед дочерью капитана Миронова», — говорит глава

⁴ Напомним, что у Пушкина на случай описания «милостей» имелись реальные исторические факты: рассказ в «Истории Пугачева» о казнях предводителей мятежа завершается сообщением о том, что «помилованные мятежники были на другой день казней приведены пред Грановитую палату. Им объявили прощение и при всем народе сняли с них кандалы» (VII, 274).

⁵ Ю. М. Лотман. Идеинная структура «Капитанской дочки» — В кн.: Пушкинский сборник, Псков, 1962, с. 17—18.

государства, абсолютная монархия, естественно объединяющая в своем сознании понятия «государство» и «я». При этом вспомним, что всей повести предпослан эпиграф: «Береги честь смолоду», и, следовательно, он имеет отношение ко всем ее персонажам, так как доброе имя никому никогда не мешало.

Несомненно, в «чести», в «добродетели» Екатерины II есть примесь расчета, идущего при этом не от «доброты по долгу царицы», а от политического жеста, осознания того, что

«...Земных властителей ничто не украшает,
Как милосердие. Оно их возвышает».
(«Анджело»)

Но от этого расчета в какой-то мере не свободна и милость Пугачева, не очень заинтересованного в том, чтобы лишний раз, по его словам, «пугать дворян» и готового при удобном случае показать им, «что я не такой еще кровопийца, как говорит обо мне их братия».

Сон и явь Гринева — это прежде всего «ласковое» приглашение «страшного мужика» дворянину «подойти под его благословение», принести ему «присягу». Только отказ дворянского сына от этого приглашения дважды (в сновидении и реальной ситуации) вызывает гнев мужика, взмахи топора и угрозу виселицы. Немаловажен и тот факт, что после отрицательной реакции Гринева, на «рассказанную Пугачевым с каким-то диким вдохновением» «затейливую» калмыцкую сказку о вороне и орле («Но жить убийством и разбоем значит, по мне, клевать мертвечину»), самому рассказчику она открывается неожиданно новой, проблемно-гуманистической стороной («Пугачев посмотрел на меня с удивлением и ничего не отвечал»).

Существенное отличие «кроткого царствования Александра» от «века минувшего» в силу «быстрых успехов просвещения и распространения правил человеколюбия» — главная историческая причина, побудившая Петра Андреевича Гринева, «свидетеля двух веков», взяться за перо. Он сделал это для того, чтобы внушить новым поколениям самую дорогую для него мысль: «Молодой человек! Если записки мои попадутся в твои руки, вспомни, что лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений». «Параллелизм» двух «государевых милостей» — художественная конкретизация этой мысли и она отчетливее проявляется при логически более «строгом» подходе к анализу текста произведения, при «системном» взгляде на него.

Das Echo des Novemberaufstandes im Spiegel der damaligen öffentlichen Meinung in Ungarn

I. CSAPLÁROS

Die Gründe für den sog. Novemberaufstand, der vor 150 Jahren ausbrach, werden von den Historikern außer in den europäischen Revolutionen in erster Linie in der inneren Situation des sog. Kongreßkönigreiches gesucht. Der Sturz der Verfassung des Königreiches aus dem Jahre 1815, der Kampf gegen die liberale Sejmopposition, die Repressionen gegen die geheimen Verbündeten, die Gewalttätigkeiten des Oberbefehlshabers Großherzog Konstantins sowie die Unzufriedenheiten, die sich unter der verarmten Stadtbevölkerung breit machten, leisteten ihren Beitrag dazu, die Oppositionsstimmung in der polnischen Gesellschaft anwachsen zu lassen. Diese Stimmungen wurden nur noch gespeist durch die Nachrichten von der französischen Revolution, welche hauptsächlich Warschau in ihren Bann zogen.

Der von Piotr Wysocki 1828 gegründete Bund machte sich daran, den Aufstand vorzubereiten. Auch die Studentenschaft schloß sich Wysocki an, während den Kern des Aufstandes die Jugendlichen von der Unteroffiziersschule sowie die Offiziere der verschiedenen Militäreinheiten bildeten. Die Intervention, die die zaristische Macht gegen die westlichen Revolutionen plante, und die Teilnahme von Einheiten der polnischen Armee daran sowie die stete Angst, verhaftet zu werden, die den Jugendlichen drohte, trieben den Ausbruch des Aufstandes nur noch schneller voran.

Dem Aufstand, der am 29. November nachts begann, schloss sich — mit Ausnahme einiger zarentreuer Generäle — ein Großteil der polnischen Armee sofort an und die plebejischen Massen nahmen die Waffenlager ein. Aus dem ersten, dem sog. Warschauer Zusammenstoß gingen die Aufständischen siegreich hervor. Dennoch blieb die Macht in den Händen der konservativen Kräfte. Die Patriotische Gesellschaft, die sich am 1. Dezember bildete, forderte die Ausbreitung des Aufstandes auf das ganze Land. Vier Tage darauf wurde General Chlopicki zum Diktator ausgerufen. Eine Woche später wurde der Aufstand als Nationalaufstand erklärt. Am 25. Januar erfolgte der Thronsturz Nikolaus I. Der Aufstand stützte sich aber nur auf den Adel und auf die ärmeren Schichten des Bürgertums, nicht aber auf die bäuerlichen Massen.

Am 6. Februar überschritt die zaristische Armee mit 115 000 Mann unter der Befehlsgewalt von General Diebitsch die Grenze des Polnischen Königreiches. Am 25. Februar gelang es der 45 000 Mann starken polnischen Armee jedoch, die russischen Eindringlinge bei Grochow zum Stillstand zu bringen. Ende März Anfang

April kam es zu dem siegreichen Frühjahrskriegszug unter der Leitung von General Skrzynecki (Wawer, Dębe Wielkie, Iganie). Der Aufstand breitete sich auch auf die litauischen und weißrussischen Gebiete, ja sogar bis auf den Westteil der Ukraine aus. Auf die Siegeszüge folgten auch Niederlagen. Infolge dieser trat General Dwer-nicki schon am 27. April mit seinem Heer auf österreichisches Gebiet über. Als Ergebnis seiner fehlerhaften Kriegsführung mußte Skrzynecki am 26. Mai bei Ostro-lenka eine Niederlage erleiden. Dies brachte den Aufstand in eine kritische Situation. Da die Führer des Aufstandes nicht in der Lage waren, der Bauernschaft zu helfen, blieb die Massenbasis aus, welche den Anschluß des bodenständigen Volkes bedeutet hätte. Am 29. Juni wurde in Warschau auf heftigen Demonstrationen die Bestrafung derer gefordert, die des Verrates angeklagt waren. Am 11. August wurde General Dembiński mit dem Oberkommando betraut. Schon vier Tage später brachten die Volksmassen Verräter und spionageverdächtige Elemente an den Galgen. General Krukowiecki suchte (gemeinsam mit General Chrzanowski) bereits Mitte des Monats den Weg zu einem Kompromiß mit der russischen Heeresleitung. Nach einem zweitägigen blutigen Angriff 7.—8. September auf Warschau kapitulierte Kruko-wiecki. Die Regierung und der Sejm verlegten ihren Sitz nach Zakroczym und bald darauf nach der heutigen Ölstadt Plock. Der Oberbefehlshaber war zu der Zeit General Rybiński. So war die Sache des Aufstandes gestürzt. Am 18. September überschritt auch General Ramorino die österreichische Grenze, und zwei Wochen darauf trat General Rybiński mit den Hauptkräften — ca. 20 000 Mann — auf preußisches Gebiet über. Am 19. Oktober fiel die Festung von Modlin und am 21. Oktober kapitulierte auch die Burg Zamość...

Nach dem Sturz des Aufstandes kam es zur Vergeltung. Die Autonomie des Polnischen Königreiches wurde stark eingeschränkt, die polnische Armee wurde aufgehoben, die Führer des Aufstandes wurden des Landes verwiesen und ihr Besitz wurde ihnen genommen.

Der polnische Aufstand rettete Frankreich und Belgien vor der zaristischen Intervention und stärkte die demokratischen Kräfte in Europa. Er gewann die Sympathie der europäischen Völker, vor allem in Deutschland, Belgien, Frankreich und bei den kleinen osteuropäischen Völkern — in erster Linie in Ungarn —, die der Freiheit entbehren mußten.

In der vorliegenden Arbeit zum Jahrestag des Aufstandes möchte ich darauf hinweisen, was für ein Echo der Aufstand in unserer Heimat hervorrief, welche Kräfte er hier in Bewegung setzte und — was das wichtigste ist — welche Konsequenzen für die Entwicklung in Ungarn gezogen wurden. Ich werde hierbei von der gewohnten Rangordnung abweichen und mich vorwiegend mit den hier aufgeworfenen Problemen auseinandersetzen. Dabei möchte ich unterstreichen, daß sich vor mir schon mehrere ausgezeichnete Historiker Adorján Divéky¹, Imre Lukinich², Endre

¹ A. Divéky: Magyarok és lengyelek a XIX. században (Ungarn und Polen im 19. Jh.). Budapest (im weiteren: Bp.) 1919. 8—19. Ebenso: Węgrzy i Polacy w XIX. stuleciu. Warszawa (im weiteren: Wwa.) é. n. 11—28. Ebenso: Węgrzy w powstaniu listopadowym. Wwa. 1931. 23.

² I. Lukinich: Az 1830. évi varsói forradalom és a magyar közvélemény. (Die Warschauer Revolution von 1830 und die öffentliche Meinung in Ungarn.) Bp. in: *Budapesti Szemle* 1930. Bd. 220, 51—72. Ebenso: L'insurrection polonaise de 1830 et l'opinion publique hongroise. in: *Revue*

Kovács³ und Gyula Mérei⁴ mit dieser Frage beschäftigt haben. Die Ambition für diese Studie besteht darin, gestützt auf die bisherige Fachliteratur, dieses Echo in erster Linie durch die Stellungnahmen der ungarischen Schriftsteller und durch den Wiederhall bei der Jugend zu ergänzen. . .

Gleich zu Anfang möchte ich darauf hinweisen, daß das Interesse und die Begeisterung für die polnische Frage in der ungarischen Gesellschaft keine isolierte Erscheinung darstellte. So interessierte man sich in unserer öffentlichen Meinung und in unserer Literatur — wenn auch nicht mit der Intensität wie bei den polnischen Ereignissen — für die Freiheitsbewegungen in Irland^{4a}, Italien und Griechenland⁵. Die ab 1831 einsetzenden Freundschaftsbekundungen für die Polen von Seiten der Ungarn waren Teil einer sich herauskristallisierenden internationalen Verhaltensweise für Freiheit und Solidarität. Und diese Solidarität setzte sich darin fort, daß dies Gefühl, diese Verhaltensweise bisher ungeahnte Ausmaße annahm. Der Grund dafür war, daß es sich hier im Jahre 1831 um *die Zugrunderichtung eines von jeher befreundeten Nachbarvolkes handelte, was auch für Ungarn sehr lehrreich sein konnte.*

Woher bekam man damals in Ungarn die Nachrichten über den Aufstand?

In erster Linie stammten diese Nachrichten aus der ungarischen und aus der ausländischen Presse, aus ausländischen Mitteilungen sowie aus Berichten von geflüchteten Polen. Das Wiener Blatt „Magyar Kurir“ sowie die „In- und Ausländischen Berichterstattungen“ widmeten dem Aufstand oft ganze Seiten und bis zur Hälfte ihres Umfangs. Viel gelesen wurde die „Augsburger Allgemeine Zeitung“. Aus ihr übersetzte auch Kossuth die Dokumente zum Aufstand. Die Auflageziffer der ungarischen Blätter war damals noch nicht sehr hoch (sie schwankte zwischen 800 und 1 000 Stück), doch da diese meist von Kaffeehäusern, Kasinos, Konversations- und Lesevereinen und auch von Schulbibliotheken abonniert wurden, lag die Zahl ihrer Leser um vieles höher als die ihrer Exemplare. Als Quellenangaben werden in den ungarischen Blättern der „Österreichische Beobachter“, die „Polnische Zeitung“, die „Preußens Statuszeitung“ und die „Polnische Statuszeitung“

des Études Hongroises 1933. 193—215. Ebenso: L'insurrection polonaise et l'opinion publique hongroise. in: Pamiętnik V Zjazdu Hist. Polskich. Lwów 1930. 743—765. Sowie: Lengyel felkelések a XIX. században és a magyar közvélemény (Polnische Aufstände im 19. Jh. und die öffentliche Meinung in Ungarn.) in: Magyarország és Lengyelország. Red. Huszár, K., Bp. 1936. 65—71. und: Powstania polskie w XIX. wieku a opinia węgierska. in: Polska i Węgry. pod. red. K. Huszára. Bp.—Wwa. 1936. Hierher gehörige Teilstudie: Arany és az 1831-i lengyel felkelés. (Arany und der Aufstand von 1831). in: *Irodalomtörténet* 1949. 1.

³ E. Kovács: A lengyel kérdés a reformkori Magyarországon. (Die Polenfrage im Ungarn der Reformzeit) Bp. 1959. 67—200 und 371—404. (Die Aufreihung der Artikel von Odorkiewicz, E., Makay, G., Lengyel, M. und anderer populärmachender Artikel geschieht hier nicht.)

⁴ Gy. Mérei: A magyar reformmozgalom és az 1830—31-es lengyel szabadságharc (Die ungarische Reformbewegung und der polnische Freiheitskampf von 1830/31.) in: A magyar és a lengyel nép közös küzdelmeinek hagyományából. Bp. 1954. 3—26.

^{4a} A. Csorba: Magyar—ír kapcsolatok 1867-ig. (Ungarisch-irische Verbindungen bis 1867.) Debrecen, 1944. Széchenyi erwähnte Moore zuerst in seinem Tagebuch. Siehe: Csorba, ebenda 74.

⁵ K. Csia: A filhellenizmus. Bp. 1941. Ungarisches Material ist hier zwar nicht gegeben, doch es genügt, auf die griechisch orientierten Werke von Ferenc Teleki, M. Helmecky, K. Kisfaludy, J. Szenvey, F. Toldy, F. Tessedik und Dániel Berzsenyi hinzuweisen.

erwähnt. So veröffentlichten z. B. die „Berichterstattungen“ zuerst eine polnische Zeitungsschau und dann in der Spalte „Das Russische Reich“ Nachrichten aus der russischen Presse. Ich fühle mich hier nicht dazu berufen, die Nachrichten der ungarischen Presse über Polen vorzustellen, doch in Bezug auf ihren Mut und ihre Objektivität soll erwähnt werden, daß die ungarische Presse z. B. in vollem Umfange den Vorschlag von Roman Soltyk zur Entthronung der Romanows und die damit verbundenen Diskussionen veröffentlichte, sich mit der Angelegenheit des Verrates von General Chlopicki sowie mit den Streitigkeiten ausländischer Parlamente um Polen beschäftigte.⁶

Diese Artikel kommentierten die Ereignisse zwar nicht, und deshalb könnte gesagt werden, daß allein schon die Veröffentlichung der Tatsachen eine gewisse Stellungnahme bedeutet haben mag. . .

Die Beilage „Nützliche Vergnügungen“ in den „In- und Ausländischen Berichterstattungen“ trug eher literarischen, gesellschaftlichen und künstlerischen Charakter. Auf interessantere Artikel, zum Thema Polen werde ich an späterer Stelle hinweisen. Hier darf auch nicht die ausländische Fachliteratur zur Polenfrage vernachlässigt werden. Es ist bekannt, daß sich in der Bibliothek von István Széchenyi mehrere Veröffentlichungen über Polen befanden; so unter anderem die deutsche Übersetzung des Buches „Polen“ von Lord John Russel Brougham. Doch auch schon im Jahre 1831 gelangten die literarischen, publizistischen und musikalischen Äußerungen der polenfreundlich Bewegung im Ausland an die ungarische Gesellschaft, die den Ablauf des Aufstandes gespannt verfolgte.

1. Aus der ausländischen Presse schöpfte auch der Redakteur der „Nützlichen Vergnügungen“ seine Nachrichten. Da es sich hierbei um ein literarisches und künstlerisches Blatt handelte, konnte hier solchen Artikeln, die in den Spalten eines politischen Blattes ein ganz anderes Echo hervorgerufen hätten, besser Statt gegeben werden. Im Grunde genommen bedeuteten diese Schriften die Stellungnahme der ungarischen Presse zur Polenfrage. Ja, sie waren sogar Ausdruck für eine gewisse zage Begeisterung. In den Artikeln dieses Blattes wurden die Generäle Chlopicki und Umiński populär gemacht.⁷ Hier veröffentlichte man die Freudensnachrichten der französischen Presse über die Siege der Polen⁸ und schrieb über die patriotischen Oberinnen, die die Verwundeten pflegten. Das Blatt zitierte die Worte des Vizepräsidenten Seuffert auf der Münchener Versammlung: „Die polnische Nation ist des weiteren nicht dazu da, daß man sich eine nichtswürdige Sache darunter vorstelle, sondern sie ist etwas wahrhaft Großes, Edles, Mutiges und Fürstliches.“⁹ Laut „Warschauer Kurier“ wurde hier die Verachtung seitens der Aufständischen gegenüber den Franzosen zitiert, die allein die Erträge aus Konzerten und Theatervorstellungen als Hilfeleistung anbieten konnten.¹⁰ Auf der Grundlage einer Petersburger

⁶ Hazai és Külföldi Tudósítások (In- und ausländische Berichterstattungen.) 1831. Böjt-elő hava 2, 9 usw.

⁷ Hasznos Mulatságok (Nützliche Vergnügungen) 1831. Nr. 6. 48. und Nr. 31. 241.

⁸ Ebenda. 1831. Nr. 35. 278

⁹ Ebenda. 1831. Nr. 37. 293

¹⁰ Ebenda. 1831. Nr. 34. 268—270

Zeitung zitierte das Blatt den Streit zweier Freunde, und zwar des russischen Oberst Perechristov und seines polnischen Freundes, des Adligen Bienkowski, die sich gegenseitig das Leben retten wollten.¹¹ Doch der interessanteste mag wohl der Artikel gewesen sein, der über die litauischen Heerführer Graf Emilia Plater und Cezary Plater berichtete, welcher nahezu gleichzeitig mit dem allgemein bekannten Gedicht von Mickiewicz „Śmierć pułkownika“ „Der Tod des Oberst“ dem polnischen Freiheitshelden den Glorienschein anlegte. In den Monaten nach dem Sturz des Aufstandes wurde dieser Artikel zu einem Gedicht und so der Beginn des ungarischen Kultes um Emilia Plater¹². . .

2. Die Pressenachrichten waren nur Ausgangspunkte für die ungarischen Stellungnahmen, welche *in der Korrespondenz und in den Tagebüchern der Zeitgenossen* am offensten und am direktesten zum Ausdruck kamen.

Diese — meist verstreut angebrachten — einige Sätze langen Bemerkungen warfen ein klares Licht auf den Charakter ihrer Verfasser, auf deren Interessiertheit und Tiefenblick. Im folgenden möchte ich mich allein auf den Briefwechsel von Ferenc Kazinczy, einer der führenden Gestalten der ersten Jahrzehnte des vergangenen Jahrhunderts, sowie auf das Tagebuch von István Széchenyi, der in seiner politischen Laufbahn immer höher stieg, stützen. Beide hatten sich schon früher für die Polenfrage interessiert. Kazinczy und sein Freundeskreis begeisterte sich schon in den Jahren des Warschauer Herzogtums für dies neugeborene Volk. Széchenyi kam 1823 zum ersten Mal nach Südgalizien und hatte eine sehr gute Meinung von dem, was er dort gesehen hatte.¹³

Die erste Bemerkung über den Aufstand ist in Széchenyis Tagebuch zu lesen, als diese Nachricht eben nach Wien gelangte: „(Dezember) Am 6-ten Revolution in Warschau wurde bekannt Lange Gesichter.“¹⁴ Eine Woche darauf schrieb er in sein Tagebuch: „15-ten Revolution in Pohlen scheint gut organisiert zu seyn.“ Széchenyi war der erste und der einzige, der in seinen Notizen zu dem gleichen Tag die heimische Lage mit den europäischen Ereignissen verglich. So war er der Ansicht, daß „... In die Zukunft sehe ich, oder daß Land blühen wird, oder wir von den Bauern und den kleinen Adel erschlagen. Der kleine Adel wird sich mit den Bauern gegen den reichen Gutbesitzer allüren, machen wir zur rechten zeit keine Conditionen —“¹⁵ Welch ein Weitblick zu Beginn des Jahres 1831!

Auch Ferenc Kazinczy und sein Freundeskreis interessierten sich für die polnischen Ereignisse. In einem Brief an László Bárfay berichtet der Nestor der ungarischen Schriftsteller seinem Freund Dinge, die er von einem Polen aus Warschau

¹¹ Ebenda. 1831. Nr. 34. 268—270

¹² Platerek a lengyel seregben. (Platerer im polnischen Heer.) In: Hasznos Mulatságok. 1831. II. Halbjahr Nr. 9. 70. Die Gestalt von Emilie Plater wurde hauptsächlich von den Polonofil-Dichtern der deutschen Romantik heroisiert. Neben Kościuszko und Poniatowski wurde sie zum dritten Symbol der polnischen Freiheitsbewegung.

¹³ Graf István Széchenyi Napló. (Tagebücher.) 4. Bd. Bp. 1934. 61 und Széchenyi: Napló. Gondolat, 1971. 314.

¹⁴ Széchenyi Napló. 4. Bd. 165.

¹⁵ Széchenyi Napló. 4. Bd. 167—168.

über die polnischen und die russischen Kräfteverhältnisse gehört hatte. Dazu schreibt er: „... denn wer interessiert sich schon nicht für die Warschauer Sache“¹⁶

Eine wenn auch detaillierte, so doch falsche Analyse der Lage in Polen gab in seinem Brief vom 12. Februar Miklós Cserey, Rat i. R. des Gouvernements Siebenbürgen, seiner Meinung nach war der polnische Aufstand nicht gegen Rußland gerichtet. Konstantin wollte polnischer König werden (seine Frau war Polin!). Wenn er dazu noch Litauen bekäme, wären auch die beiden Brüder Nikolaus und Konstantin zufriedengestellt, und auch Galizien hätte keinen Angriff von russischer Seite zu befürchten.¹⁷ Angst hatte er aber darum, daß seine engere Heimat Siebenbürgen eingekreist würde. Anfang März gab Kazinczy widersprüchliche Nachrichten über die Niederlage der Polen bzw. der Russen an Kőlcsey.¹⁸

Von den polnischen Siegesnachrichten schrieb Kazinczy auch an Izidor Guzmics (am 11. März), gleichzeitig setzte er aber pessimistische Anmerkungen hinzu: „(. . .) doch selbst wenn dem so ist, so, schickt Zar Nikolaus neue und immer größere Scharen gegen sie. Der Wagemut ist immer eine gefährliche Sache und er richtet oft mehr Schaden als Nutzen an.“¹⁹ Von den anfänglichen Siegesnachrichten der Polen war auch der siebenbürgische Cserey begeistert. Er versuchte, Lehren aus diese Ereignissen zu ziehen: „Die Verbitterung gibt Kraft. Sie richtet Helden auf. Deshalb sollte nie auch nur eine Nation zur Verbitterung gebracht werden!“ Cserey hätte den Polen den Habsburger König gegeben. Er verurteilte die gegen Frankreich gerichteten Pläne und die Beschirmung des Absolutismus, denn „die unerschöpfliche russische Macht wird uns demnächst belagern. Und davor sollten wir uns zu Recht fürchten, nicht vor den Franzosen“.²⁰ Nach der Schlacht bei Ostrolenka mußte Cserey voller Schmerz sehen, daß „die unerhörte Kraft des Russischen Reiches die Polen unterdrückt“. Er warf den Franzosen und den Engländern vor, daß sie dem polnischen Aufstand nicht beigestanden haben. Seine Schlußfolgerung war: „Es geht um das Schicksal der Völker Europas. Jene Moralanschauungen, die die Freiheit leben lassen, sind in den Europäischen Nationen nicht aufzufinden; daß die Polen und Griechen ähnliche (d. h. patriotische Moralanschauungen, I. Cs.) aufwiesen, darf dem letzten Zugrundegehen zugeschrieben werden“.²¹ Die Ausbreitung der Choleraseuche setzte dem Gedankenaustausch von Kazinczy und seinen Genossen ein Ende.

Auch Széchenyi geriet unter die Auswirkungen der sich immer mehr ausbreitenden Choleraseuche. Seine Tagebucheintragung vom 15. August zeigt, daß er alles um sich in trüben Farben sah: „Bald wird nun die polnische Sache entscheidenseyn. Die Polen werden unterliegen. Skrzenny [!] hat keinen historischen Namen. Die Schlacht, die ihr Schicksal entscheiden wird, kann nicht anders, als ausnehmend blutig werden. — Sie wird im Anfange gewonnen werden — Skrzenny aber von sei-

¹⁶ Kazinczy, Ferenc Levelezése (Korrespondenz) XXI. Bd. Bp. 1911. 456—457.

¹⁷ Ebenda. 465—466.

¹⁸ Ebenda. 470.

¹⁹ Ebenda. 482.

²⁰ Ebenda. 530.

²¹ Ebenda. 568, Brief vom 29. Mai.

nen eigenen Leuten ungebracht — sodann ist Verwirrung etc.“²² Wenn auch nicht alles so verlief, wie hier beschrieben, so war es dennoch ein interessanter Zufall, daß Széchenyi eben am ersten Tage des Sturmes gegen Warschau Lord Brougham's Buch über Polen studierte.²³ Mitte September gelangte die Nachricht von der Kapitulation Warschaus auch nach Ungarn. In Széchenyi's Tagebuch steht zu lesen: „Die Pohlen haben den . . . nach einem Bombardement von 3 Stunden capituliert. — Liberalismus ist um 50 — vielleicht 100 Jahre zurückgesetzt . . . Die armen — und doch beneidenswerthen Pohlen! — Solche Seelen-grösse, — die jene, die die Macht u. die Scepter in Händen haben — Hartnäckigkeit, Stützigkeit — Verstocktheit nennen — und von ihrem Richterspruch hängt unser Loos ab — Gott weiss. Es wird einem sauer, d'exercer des vertus civiques — Werden die grossherzigen, grossartigen Pohlen mit Koth beworfen, was bleibt uns noch übrig —, welches Loos haben wir zu erwarten!“²⁴

Beeindruckend und in die Zukunft weisend waren auch die Gedanken des jungen, zur Zeit des Aufstandes eben 18 Jahre zählenden József Eötvös in Verbindung mit dem Aufstand: „. . . wenn große Nationen für ihre heilige Sache und für ihre Freiheit kämpfen, dann fragt selbst der im Sterben liegende nur das Eine, wem gehört der Triumph, denn was bedeutet das kleine Menschenleben gegenüber dem Leben der Nation und der Freiheit“.²⁵ Wenige Zeit später, doch noch gegen Ende 1831, drückte er sich konkreter aus: „Im großen Geschichtsbuch sind viele Bilder gezeichnet, die der Mensch voller Stolz betrachtet, denn er sieht seine Größe in diesen Zeichnungen. Doch jetzt steht allorts mit ungezählten Blutstropfen gemalt *das Grab einer großen Nation*, jetzt müßte das Herz eines jeden guten Menschen vor Kummer brechen, sähe er über dem Grab nicht den Genius, der Bernstein auf den Grabhügel streut. Und den Toten klingt ein Lied von der Auferstehung. Sei getrost, es naht der Tag der Auferstehung und frei wird jedes Volk, das nach Freiheit lechzt.“²⁵

3. Nach der Meinung und den Stellungnahmen der Elite der damaligen ungarischen Intelligenz soll jetzt das Augenmerk darauf geworfen werden, *wie die ungarische Gesellschaft den Aufstand der polnischen Nation unterstützte*. Hier muß an erster Stelle von den polenfreundlichen Aktionen der Komitate, von den allgemeinen Sammlungen sowie von den Jugendbewegungen jener Zeit gesprochen werden.

Nachdem die Landesversammlung von 1830 früh geschlossen worden war, konnten die Vertreter der öffentlichen Meinung in Ungarn nur *auf den Vollversammlungen der Komitate* öffentlich Stellung zu der sog. Polenfrage nehmen. Wie bekannt, hat der Abgeordnete János Balogh auf der Vollversammlung im Komitat Bars am 4. Mai 1831 auf Veranlassung eines Führers der Opposition gefordert, daß man den König möglichst bald um Einberufung der Landesversammlung bitten solle, um dort zu beraten, wie den Polen in ihrer bedrängten Lage zu helfen sei. Diese Initia-

²² Széchenyi Naplói. 4. Bd. 198.

²³ Széchenyi Napló 693.

²⁴ Széchenyi Naplói. 4. Bd. 214.

²⁵ Eötvös, József. Vallomások és gondolatok. (Geständnisse und Gedanken.) Bp. 1977, 48. und 51u. 825.

tive des Komitats Bars wurde von 36 weiteren Komitaten aufgegriffen.²⁶ Die dort gehaltenen Reden sind schon vielfach veröffentlicht und analysiert worden (Adorján Divéky, vor allem Endre Kovács). In meiner Eigenschaft als Literaturhistoriker möchte ich hier in erster Linie kurz auf die Reden von hervorragenden Schriftstellern, Dichtern und Publizisten eingehen. Diese Reden hielten Miklós Wesselényi auf der Vollversammlung des Komitats Pest am 7. Juni, Sándor Kisfaludy im Komitat Zala am 9. Juni, Ferenc Kölcsey auf der Vollversammlung des Komitats Szatmár am 13. Juni gemeinsam mit Wesselényi und schließlich Lajos Kossuth auf der Vollversammlung des Komitats Zemplén am 23. Juni.²⁷

In den erwähnten Reden wiederholen sich die Argumente aus dem Barser Vorschlag häufig. Die Redner berufen sich auf die historischen und gutnachbarlichen Verbindungen (Kisfaludy, Kölcsey), auf die Blutsbande (Kölcsey), auf die Zerschlagung der polnischen Verfassung (Kisfaludy, Kölcsey), auf die Wiener Verdienste des polnischen Königs Sobieski, der dabei half, die Türken aus Ungarn zu vertreiben (Kölcsey, Wesselényi, Kossuth). Jeder der Sprecher unterstrich, daß Polen in der Vergangenheit die Schutzfestung Europas war und dies auch in der Zukunft sein kann. Sämtliche Komitatsredner beriefen sich auf die Gefahr, die Ungarn von Norden her drohte. Laut Kossuth „ist die polnische Angelegenheit eine europäische Angelegenheit“, „sie kämpfen für die Weltfreiheit“. Kisfaludy rief dazu auf, daß das brennende Nachbarhaus gelöscht werden müsse, wolle man sein eigenes Haus retten. Charakteristisch für die Reden auf den Komitatsversammlungen waren das Wissen um Geschichte und Recht, aufrichtige Begeisterung, ein pathetischer Ton und die versteckte Opposition gegen Habsburg. Eine recht interessante Erscheinung war, daß die Zeitgenossen eine einheitliche polenfreundliche Stimmung „in beiden Heimatländern“ schaffen wollten. So sandte Sándor Kisfaludy seine auf der Vollversammlung des Komitats Zala gesprochene Rede an Sándor Ujfalvy, einen literaturbegeisterten Grundbesitzer aus dem Komitat Szolnok-Doboka, damit man dort, das heißt in Siebenbürgen ebenfalls seinen Standpunkt zur Polenfrage kennenlerne.²⁸ Kazinczy hingegen ließ die Schrift aus dem Komitat Bars über die Gattin des Grafen Pál Ráday ebenfalls nach Siebenbürgen schicken. . . .²⁹

Zu dem inneren, das heißt dem heimischen Echo möchte ich wiederum Kazinczy und Széchenyi zitieren, um zu zeigen, wie sehr die Ansichten der Großen aus der Literatur und der Politik über die Komitatsreden voneinander abwichen. Wie dies mehrere Briefe bezeugen, war der Meister von Széphalom auf der Vollversammlung der Stände des Komitats Nógrád in Losonc zugegen. Eingehend berichtete er von der begeisterten Stimmung dort. Manchmal befürchtete er jedoch, daß die Sprecher vielleicht über das erlaubte Maß hinausgegangen sein mögen.³⁰ Széchenyi vertrat

²⁶ Vgl. Divéky, Adorján und E. Kovács mit ihren eingangs erwähnten Monographien.

²⁷ Die Texte dazu siehe: Zs. Trócsányi: Wesselényi Miklós. Bp. 1965, 107—108.; Kossuth, Lajos: Minden Munkái. (Sämtliche Arbeiten.) Bd. 6. Bd. 1886. 260—263 und Kossuth, Lajos: Ifjúkori iratok (Jugendschriften.) Bp. 1966. 223—225. sowie E. Kovács: A lengyel kérdés. (Die Polenfrage.) im Anhang. Vgl. dazu: Die Texte der polnischen Diskussion in: Kossuth, Lajos Országgyűlési Tudósítások (Parlamentsberichte.) Bp. 1949, Bd. II. 401—449.

²⁸ Ujfalvy, Sándor: Emlékiratai (Memoiren). Bp. 1941, 228.

²⁹ Kazinczy: Levelezése XXI. Bd. 580.

³⁰ Ebenda. 593, 607

auch hier einen anderen Standpunkt. Die Wiener Meinung war auch ihm nicht gleich, doch er gab einen Hinweis auf weitaus wesentlichere Dinge. In Verbindung mit dem Rundschreiben aus dem Komitat Bars erkannte er erstmals (am 16. Mai) an, daß den Polen geholfen werden muß. Und am 17. Juni nach der verlorenen Schlacht bei Ostrolenka wies er schon viel weiter in die Zukunft: „Sie (das heißt der ungarische Adel) wollen den Pohlen zu Hilfe eilen, — — — und helfen ihren eigenen Bauern nicht! — — Schwätzen von Liberalität und schinden ihre eigene Untertanen.“³¹

Die polenfreundliche Bewegung in den Komitaten traf auch im Ausland auf bedeutenden Widerhall. Es ist bekannt, daß im polnischen Sejm Dankesschreiben an die ungarischen Komitate verfaßt wurden. Doch die Aktion der Komitate rief in den Reihen der ausländischen Schriftsteller und Dichter ein Echo hervor.

So veröffentlichte der deutsche Schriftsteller und Dichter Karl Herloßsohn (1802—1849) als Redakteur des Blattes „Der Komet“ (mehrere Polengedichte: An die Polen, Zur Weihnacht, Zuruf an die Polen auf der Wanderung) und in der Nummer vom 23. Juni das Gedicht „An die Ungarn als sie die Adresse zu Gunsten der Polen an die Majestät den Kaiser von Österreich gelangen liessen“, welches Petrichevich Horváth Lázár noch druckwarm sofort ins Ungarische übertrug. Allein schon die ersten Zeilen klingen erhebend:

„Der Todesseufzer, der aus Polen dringet,
Fand einen Widerhall im Ungarland;
Es steht mit Blut auf deinen Siegesaltären:
Der Held nur kann den Heldenbruder ehren.“³²

In der Begeisterung und Anerkennung gegenüber den Ungarn stand Herloßsohn nicht allein. Zum Novemberaufstand schrieb Ernst Ortlepp (1800—1864) 48 Gedichte, von denen sein „An die Ungarn“ ein beseelter Gruß an die Ungarn ist:

„Fliegt, Ihr braven Ungarn, flieget!
Reicht euch zu den Jubelzug!
Dass ihr euch zu Polen füget,
Prangt in der Geschichte Buch.

Fliegt, Ihr braven Ungarn, flieget!
Der Geschichte Buch — es hat
Schon von euch manch goldne Letter
Doch dies ist das schönste Blatt.“³³

In der Epoche des Frühlings der Völker verband sich die Ungarnfreundschaft der polenfreundlich gesinnten deutschen Dichter in dem Büchlein „Polen- und Magyar-
elieder“ (1849) bald zu einem selbständigen Werk.

³¹ Széchenyi Naplói, Bd. 4. 190.

³² D. Kecskeméti Csapó: Vegyes iratai. (Gemischte Schriften.) OSzK. Handschriftenarchiv. II. Quart. Hung. 10/11. ff. 26.

³³ St. Leonhardt: Polenlieder deutscher Dichter. Bd. 1. Krakau. 1911, 125—127.

4. In seinem Buch „Die Polenfrage im Ungarn der Reformzeit“ schrieb Endre Kovács eingehend über die gesellschaftliche Bewegung zur Unterstützung der Flüchtlinge aus Polen. An dieser Stelle möchte ich über zwei dieser gesellschaftlichen Bewegungen sprechen, die nach Erscheinen des erwähnten Buches bekannt waren. Aus Anlaß des 25. Jahrestages des Bestehens des Ungarischen Philologischen Lehrstuhls in Warschau erschien eine Sammlung von Studien, in deren einem Artikel der Historiker Elek Csetri aus Kolozsvár (heute Cluj) darüber berichtet, mit welcher Wärme die in Gefangenschaft geratenen Soldaten des General Dwernicki in Siebenbürgen aufgenommen worden waren. Diese Sympathiebezeugung besaß ohne Zweifel auch eine Spitze gegen Wien. Aus dieser Quelle wissen wir auch, daß Ádám Kendeffi und seine Reformanhänger 16 000 Rft für die Kriegsgefangenen sammelten, gegen die auch die Jugend eine ordentliche Demonstration organisierte.³⁴

Aus seiner Korrespondenz ist uns bekannt, daß Graf György Károlyi (1802—1877) lebhaften Anteil an der Organisierung dieser Sammlung im Komitat Szatmár genommen hat. Auf einen enthusiastischen Verbündeten in dieser Arbeit traf er in dem Vizenotar Ferenc Kölcsey, der in jenen Monaten an seinen Reformvorschlägen arbeitete. Aus dessen Brief an den Sekretär des Grafen György, an László Bártfay, ist bekannt, daß „er bis fünftausend Geld für die Polen bringt“. Sein Bruder, István Károlyi von Fóth (1797—1881), bat den Literaturfreund Bártfay des öfteren, einem polnischen Offizier zu helfen, und ein andermal bat er um einen Reisepaß für einen Polen namens Libanovszky (!).³⁵

Weitaus vorsichtiger und sich selbst gegenüber konsequenter verhielt sich Széchenyi in der Polenfrage. Die Bitte des Aufständischen Jan Bartkowski, einem ehemaligen Jurastudenten aus Warschau, um einen Reisepaß wehrte er damit ab, daß „er keinen Einfluß in Regierungskreisen habe“.³⁶ Auch der ehemalige Professor für Philosophie an der Universität zu Warschau und ehemaliger Kommandeur der akademischen Garde Krystyn Lach-Syrma wandte sich an den Verfasser des „Kredit“. Nach Aussage seines „Tagebuches“ geriet Széchenyi hier erneut in Konflikt mit sich selbst: „... soll ich mich um sie kümmern? Hat nicht meine Heimat selber genug Sorge nötig? Soll ich Geld für sie sammeln? — Ob die Bauern welches haben? Und was wird die Regierung dazu sagen?“³⁷ Es soll hier nicht über die Verhaltensweise von Széchenyi geurteilt werden. Seine Tagebucheintragungen zeigen deutlich, daß er damals genug andere Sorgen hatte. . .

Eine Hauptstütze für die Flüchtlinge war der Sekretär der Károlyis, László Bártfay mit seinem Freundeskreis. Dieser Freundeskreis kam im Literatursalon von Frau Bártfay zusammen. Hier ging auch Dzwonkowski, der Bibliothekar der

³⁴ E. Csetri: Żołnierze powstania listopadowego w Siedmiogrodzie. In: Z dziejów polsko-węgierskich stosunków historycznych i literackich. Wwa. 1979. 137—147.

³⁵ Országos Levéltár. A Károlyi-család nemzetségi levéltára. (Landesarchiv. Nationalarchiv der Familie Károlyi.)

³⁶ J. Bartkowski: Wspomnienia z powstania 1831 r i pierwszych lat emigracji. Kraków MCMLXVI 125. Vgl.: Sawrymowicz, E.: Une épisode de l'histoire de l'amitié hungaro-polonaise. Slavica. Vol. IV. 1964, Debrecen, 139—153.

³⁷ Széchenyi Napló. 697.

Károlyis, aus und ein... Anhand der Erinnerungen eines polnischen Memoirenschreibers kann hier das Zusammentreffen der ehemaligen Warschauer Jurastudenten (Jan Bartkowski, Seweryn Dziewicki, Andrzej Guzowski und Pawel Celiński in dem 1696 gegründeten, altherwürdigen Weißen Schiff) mit ungarischen Jugendlichen rekonstruiert werden, durch welche diese dann zu Bártfay gelangten. Wie überrascht mögen sie gewesen sein, als die Dame des Hauses, die aus stammende Jozefina Mauks, sie auf Polnisch begrüßte. Im Salon der Bártfays trafen sie mit mehreren Landesgenossen zusammen, so zum Beispiel mit dem einstigen Sejmabgeordnete Jan Ledóchowski, mit ihrem ehemaligen Professor Lach-Syrma und mit dem Oberst Zaliwski, dem Graf Károlyi auch schon einen Reisepaß besorgt hatte. Den Dichter József Gaál lernten sie noch im Weißen Schiff kennen. Die Bekanntschaft Vörösmartys machten sie ebenfalls bei den Bártfays. Der Verfasser von „Zalás Flucht“ gab Bartkowski seine Unterschrift als Erinnerung. Die Wurzeln für seine Polenfreundschaft müssen bei Vörösmarty auch in diesen Treffen gesucht werden. Von Graf Károlyi erhielten diese Flüchtlingen 120 Gulden, er mietete zwei Zimmer für sie, empfing sie und war ihnen bei ihren weiteren Reisen behilflich. Die ehemaligen Warschauer Studenten besuchten eine Versammlung im Komitat Pest und kehrten auch bei dem Untergespan Simon Dubraviczky ein. Ihre Reise nach Frankreich führten sie über Brno, Budweis und Regensburg. In ihren Dankeschreiben vergaßen sie nicht, Vörösmarty, József Gaál und andere ihrer Wohltäter aus Pest zu grüßen.³⁸

5. Eine andere interessante Erscheinung der gesellschaftlichen Bewegung ist *das Verhältnis der ungarischen Jugend zum Aufstand und zu den Flüchtlingen des Aufstandes*.

Der Geschichtsunterricht an den Hochschulen, und hier in erster Linie an den protestantischen Hochschulen, spielte eine bedeutende Rolle bei der Herausbildung der Freundschaft zu den Polen von Seiten der ungarischen Jugend. Die wertvolle Monographie von Sándor Bíró machte darauf aufmerksam, mit was für einer Hingabe die Hochschullehrer József Lácza Szabó³⁹ (1764—1829) und József Péczely⁴⁰ (1789—1849) von der Geschichte des geteilten Polen und von den sich daraus ergebenden Lehren sprachen. Vielsagend ist die Tatsache, daß der Prämonstratenser Lehrer Imre Hollók (1796—1871) aus Rozsnyó für seine ungarischen und galizischen Studenten in Kassa gerade in den Monaten des Aufstandes ein Buch in lateinischer Sprache unter dem Titel „Nexus nationis hungaræ cum polonica“ herausgab. Auch er gibt hier Hinweise auf die Lehren aus der Geschichte Polens.⁴¹

Die Begeisterung von Seiten der ungarischen studentischen Jugend nahm selbst dann kein Ende, als der Stern des Aufstandes schon am Verblässen war. Anfang

³⁸ Bartkowski; Wspomnienia. 125—132.

³⁹ S. Bíró: Történelemtanításunk a XIX. század első felében a korabeli tankönyvirodalom tükrében. (Unser Geschichtsunterricht in der ersten Hälfte des 19. Jh.s im Spiegel der damaligen Lehrbuchliteratur.) Bp. 1960, 133—134.

⁴⁰ Ebenda. 65, 71, 75.

⁴¹ Siehe den Text des Vorwortes vom 28. Februar 1831. Der königliche Kanzler verhinderte später die Verbreitung des Buches.

Juli trugen die Juristen in Pozsony (heute Bratislava) polnische Kappen, am 19. Juli veranstaltete die Jugend von Kassa (heute Košice) eine Kundgebung, auf der sie die ungarische Nation und die Verfassung sowie Skrzynecki und die Polen hochleben ließ und sich gegen die Österreicher und Russen stellte.⁴²

Den Höhepunkt bildete die Kundgebung der Juraten in der Hauptstadt. Sie versammelten sich in dem „Weißen Schiff“, dem geistigen Vorgänger des „Pilvax“. Hier diskutierten sie die Ereignisse und sangen polnische Lieder. Die politischen Zusammenkünfte im „Weißen Schiff“ wurden auch recht häufig in den Polizeiberichten erwähnt.⁴³ Beinahe das ganze Jahr über kam es zu Zusammenstößen zwischen den polenfreundlichen ungarischen Juraten und den zarenfreundlichen, in der Hauptstadt ansässigen Serben. Schon Ende März schrieb Kazinczy folgendes an Professor János Somosy: „Vor einer Woche hieß es, daß die Russen gesiegt hätten und die Raizen mit den jungen Ungarn angebändelt hätten, die polnische Lieder spielen ließen. Doch diese hätten die Raizen gehohlet. — Die Raizen sind im Weißen Schiff auf die Tische gestiegen und von da haben sie ihnen die freudige Botschaft vorgelesen.“⁴⁴

Zeugen der zarenfreundlichen Kundgebungen der Serben in der Hauptstadt waren auch die polnischen Studenten, die sich im „Weißen Schiff“ vergnügten. In den Erinnerungen von Bartkowski steht zu lesen, daß als die Ungarn die Chłopicki-Mazurka spielen ließen, „... zwei recht stämmige Burschen mit schwarzem Schnauzbart, die an der Tür zwischen den beiden Sälen herumlungerten, zu pfeifen begannen. Die erbosten Ungarn gingen gegen sie an und warfen sie aus dem Saal. Wie sie uns erzählten, waren dies Raizen, Anhänger des russischen Zaren und somit Gegner der Ungarn und der Polen.“⁴⁵

Der polnische Aufstand machte sich auch bei der Studentenkundgebung bemerkbar, welche am 18. Juli in Pest stattfand. Die Studenten hatten sich dagegen erhoben, daß die Regierung wegen der Choleraeuche eine Charantäne verhängt hatte, sodaß viele von ihnen nicht nach Hause zurückkehren konnten. Dieser Erhebung schlossen sich später auch andere Elemente an, und es kam zu einer kleinen Meuterei. (Zu den Parolen der Kundgebung gehörten unter anderem folgende: „Es leben die Polen! Es lebe die Freiheit!“ Schließlich wurde die Kundgebung durch Soldaten zerstreut.) Diese Ereignisse versetzten nicht nur den betagten Kazinczy, sondern auch den recht vorsichtigen Széchenyi in Schrecken. So bat Kazinczy seinen Sohn, sich von ähnlichen Dingen fernzuhalten, denn „Die geheime Polizei wird jetzt alldie noch mehr beobachten ..., die die Polen hochpreisen...“⁴⁶ Noch stärker schreckte durch diese Ereignisse der große Reformler István Széchenyi zurück. In sein Tagebuch schrieb er: „In der Nacht vom 17. auf den 18. kam es in den Morgenstunden zu einer Volkserhebung in Pest. C'est le commencement de la fin. (Das ist der Anfang vom Ende.)“⁴⁷

⁴² E. Kovács: A lengyel kérdés ... (Die Polenfrage) 75—76.

⁴³ I. Barta: Az 1831. évi koleramozgalom. (Die Choleraausbreitung von 1831.) In: Tanulmányok. Bp. múltjából. Bd. 14. 448—449 und 457.

⁴⁴ Kazinczy Levelezése. XXI. Bd., 514.

⁴⁵ J. Bartkowski: Wspomnienia... 125.

⁴⁶ Kazinczy Levelezése XXI. Bd., 604, 608, 610.

⁴⁷ Széchenyi Napló. 687.

Deutlich zeichnete sich hier der Unterschied zwischen dem Mut der jungen Generation und der Vorsicht und Angst der weisen Alten ab. Was aber wäre erst gewesen, hätten sie jene kleinen, in Hexametern abgefaßten Gedichte lesen können, die an die Mauern der Großen Kirche zu Debrecen angeschlagen waren! Dieseran, Batsányi erinnernde Aufruf bildete den Höhepunkt der damaligen Studentenbewegungen als Freundschaftsbeweis gegen die Polen, und er war etwas besonderes:

„Melly édes nevezet legyen a Polgári szabadság
Szent volt az mindig s bennünk természeti ösztön;
.....
Nemzetem ébredj fel! Sulyos teher nyomja Hazádat;
S Varsó példáján Béts jármát vesd ki nyakadból.
Bátran, mert ha magát elszánó bajnoki szived
Vér pálya felé bosszut szomjazva közelget,
Öszve rogy akkor Béts gögös Thronusa Ferentzel.“⁴⁸

(Wie süßer Name sei die Bürgerliche Freiheit
Sie war immer heilig und in uns ein natürlicher Instinkt;

.....
Werde wach, meine Nation! Deine Heimat wird von schwerer Last bedrückt;
Und nach Warschaus Beispiel wirf das Joch Wiens von deinem Hals.
Mutig, denn, wenn sich ein entschlossenes, tapferes Herz
Rachsüchtig der Bahn des Blutes nähert,
Der hochmütige Thron von Wien sinkt mit Ferentz zusammen.)

„Das Beispiel Warschaus“ weist deutlich auf die Entthronisierung der Habsburger hin. Irgendwie mutet es symbolisch, fast geisterhaft an, daß der fromme Wunsch und die Absicht jener unbekanntenen Debrecener Studenten, eben zwischen diesen heiligen Mauern 18 Jahre darauf Wirklichkeit wurden... Der Haupttrichter der Stadt ordnete eine Fahndung unter den Studenten an, doch Professor Ferenc Kerekes konnte den Täter nicht feststellen...

6. Die ungarischen Sympathiebezeugungen für den Novemberaufstand werfen ganz von selbst die Frage auf: *Waren unter den Aufständischen auch ungarische Soldaten?*

Wahrscheinlich handelte es sich um eine Übertreibung, als die damaligen polnischen Blätter von vielen ungarischen Freiheitskämpfern schrieben. Doch zwei sind uns mit Sicherheit bekannt. Es steht außer Zweifel, daß der aus Szomolnok (Komitat Zips) gebürtige Károly Krajszir (1804—1877), der in Rozsnyó die Mittelschule besucht hatte (und vielleicht ein Schüler von Professor Hollók war), am Aufstand teilnahm. Er begann seine Arbeit als Arzt in Eperjes und ging von dort aus zu den

⁴⁸ S. Kiss: A debreceni Református Kollégium és diákjai az 1848—49-es szabadságharcban. (Das Reformierte Kollegium zu Debrecen und seine Studenten im Freiheitskampf von 1848/49.) Debrecen, 1962. 53.

Aufständischen über, wo er Stabsarzt des 9. Infanterieregiments wurde.⁴⁹ Auch später hielt er seine Verbindung zu den Polen aufrecht (und auch sein Name stand unter dem Aufruf „An die Ungarn“, der von der polnischen Emigration gerichtet war).

Weitaus mehr ist uns über die Teilnahme von dr. Fülöp Bernstein, später Károly Hugó, am Aufstand bekannt. Er diente als Jungarzt im 7. Husarenregiment und verließ dies im März 1831, um nach Warschau zu eilen. Er wurde dreimal befördert und erlangte den Rang eines Stabsarztes. Zweimal wurde er mit Orden ausgezeichnet. Als Warschau fiel, geriet er in russische Gefangenschaft in das Gardekrankenhaus in Petersburg. Auf Einschreiten des österreichischen Konsuls konnte er 1832 nach Pest zurückkehren, wo er im Weißen Schiff stürmisch gefeiert wurde.⁵⁰ Auch als Dichter verewigte Bernstein-Hugó seine Kriegserinnerungen. In seinem Band „Sehnsuchtsklänge eines wandernden Hagestolzes“, der 1840 in Hamburg herausgegeben wurde, sind seine Gedichte „Des Pulkowniks Weib“, „Olga, die Heldenbraut“, „Emilie Plater“, „Geisteraufstand bei Wola“ und „Polens Witwe“ zu lesen, die in deutschsprachigen polenfreundlichen Antologien nicht erschienen waren.⁵¹

Über einen wahrscheinlich ungarntämmigen Edmund Kisfaludy, der ebenfalls am Aufstand teilgenommen haben soll, wissen wir hingegen so gut wie nichts. Dieser Kisfaludy verfaßte zahlreiche deutschsprachige Gedichte über die polnische Revolution, die größten Führer des Aufstandes und seine Schlachten. Diese seine Gedichte sind als Handschriften erhalten geblieben und befinden sich in der Handschriftensammlung der Bibliothek des Krakauer Czartoryski-Museums.⁵² Die Ungarn, die sich nach dem Aufstand in Paris aufhielten — unter anderen Mihály Táncsics und János Erdélyi —, trafen häufig mit einem „polnischen Ungarn“, mit József Báthory⁵³, zusammen, welcher wahrscheinlich Ungar war und am Aufstand teilgenommen hatte...

7. Der Widerhall des Aufstandes in der Literatur

Auf ein erstes Echo in der Literatur stößt man unter den Notizen von János Batsányi, der in Linz im Exil lebte. Diese zeugen noch von seinem Wissen um die deutsche literarische Polonophilie. Es handelt sich hierbei um die Kopien des Textes polenfreundlicher deutscher Gedichte und um kurze Gedichtbruchstücke.⁵⁴ Als frühester ungarischer Widerhall gilt das sog. „Versteckte Wort“ (Rätsel) von Ignác Praznovszky, dem Verwalter der Károlyis, welches in den „Nützlichen Vergnügen“ erschien:

⁴⁹ Vgl. E. Kovács: A lengyel kérdés... 147 und Reychman, Jan: Karol Krajsir lekarz-językoznawca, zapomniany uczestnik powstania listopadowego. Arch. Hist. Med. 1963. Vol. XXVI—12. 173.

⁵⁰ K. Bernstein-Hugo: Schriften seines Dienstes in Polen. OSzK 3667/Fol. Lat. und Quart. Hung. 2881.

⁵¹ E. Körösi: Hugó Károly ifjúsága. (Die Jugend von Károly Hugó.) In: *Irodalomtört. Közl.*, 1894. 3. Heft, 320—329.

⁵² Wiersze różne do ks. A. Czartoryskiego. Arch. ks. Czartoryskich w Krakowie. Sygn. IV. 3959/I. Fol. k. 239—40, 257—357.

⁵³ Vgl. Táncsics, Mihály: *Életpályám* (Mein Lebensweg). Bp., 1949. 186—187 und Erdélyi, János: *Úti naplója és úti levelei*. (Reisetagebuch und Reisekorrespondenz) Bp., 1951. 163.

⁵⁴ Batsányi, János: *Összes művei*. (Gesammelte Werke.) Bd. I. Bp., 1953. 233 und 579.

„Első tag sebes s vért illet, Másik izt át étkednek.
 Város egész, mellyet fenyeget, Mérge jaj! nagy veszélynek.“⁵⁵
 (Das erste Glied berührt Wunde und Blut, das andere verleiht deiner
 Speise Geschmack.
 Das Stadt-Ganze, das bedroht wird, vom Gift, oh weh! großer Gefahr.)

Die Lösung hieß natürlich: Warschau.

Als Widerhall in der Literatur soll auch das Gedicht, von Studentenhand an den Wänden der Großen Kirche zu Debrecen zählen. Es handelte sich dabei wahrscheinlich um die Elegie „Die polnische Klage“ von Gyula Sárosi. Dieses aus 109 Hexametern bestehende Gedicht spiegelte auch die Wirkung der dichterischen Sprache von Vörösmarty wider. In dieser Elegie berichtet der Genius des polnischen Volkes, eine schöne und klagende Engelsseele, vom Ablauf des Aufstandes, von den bekanntesten Schlachten, ihren Austragungsorten und den Heeresführern sowie von Warschau. Gleichzeitig verurteilt er die Führer, die für den Sturz des Aufstandes verantwortlich zeichnen:

„Oh te Boleszláv faj, kutfeje bus esetünknek,
 A kit is a lengyel fog kárhoytatni örökké
 Vesztél volna örökre szüléd méhébe befulva.“⁵⁶
 (Oh, du Boleslav-Rasse, Quelle unseres traurigen Falls
 Die auch von Polen ewig verdammt wird
 Wärest du für ewig ertrunken, in der Gebärmutter deiner Mutter umgekommen.)

Nach den Worten des Genius' des polnischen Volkes folgte die Stellungnahme des Studentendichters:

„Muzsám, ejts te is egy pár könnyeket árva hazáján
 E népnek, mely elnyomatott az oroszul örökre
 És vele érezzed, mely jó a drága szabadság!“

(Meine Muse, laß auch du ein Paar Tränen über die verwaiste Heimat
 dieses Volkes, das vom Russen für ewig unterdrückt wurde, fallen
 Und fühle mit ihm, wie gut die teure Freiheit ist!)

Im Verlaufe des Jahres 1831 entstanden dann jene Gedichte, die zum Ende des Jahres in Gedichtsammlungen und Almanachen das Licht der Welt erblickten. So klagte József Gaál, der im Weißen Schiff polnische Flüchtlinge kennengelernt hatte, in seinem in „Aurora“ veröffentlichten Lied „Der Heimatlose“ mit den Worten ohnmächtiger Verbitterung eines polnischen Freiheitskämpfers über den Verlust seiner Heimat.

⁵⁵ Hasznos Multságok 1831. Nr. 18. 144.

⁵⁶ Sárosi, Gyula: Összes Múvei. Bd. II. Bp. 1882. 315—318 und Kisebb költeményei, prózai munkái és levelezése. (Kleinere Dichtungen, Prosaarbeiten und Briefe.) Bp. 1954. 459.

„Küzdöttem vad harcokat / Hogy honom legyen szabad,
Vérem, éltem, mindenem / Szép hazámnak szenteltem,
Véres volt haj a csata- / S diadalmat nem ada.“⁵⁷
(Ich führte wilde Kämpfe / Damit meine Heimat frei wird,
Mein Blut, Leben, Alles / Widmete ich meiner schönen Heimat,
Die Schlacht war blutig / Und sie gibt keinen Sieg.)

Wie ein Reflex wirkt das von dem gelehrten Geschichtspräsidenten am Reformierten Kollegium zu Debrecen voller Wärme — und doch so viele Mißverständnisse enthaltend — geschriebene Epigramm „Auf den General Skrzynecki“:

„Harcban győzhetetlen, otthon meggyőzik irigyi.“
(Den im Kampf Unsiegbaren, besiegen zu Hause die ihn Beneidenden.)

Auch Péczely schrieb ein Epigramm mit dem Titel „An die unglückliche heldenhafte polnische Nation bei der Einnahme von Warschau am 8. September 1831“:

„Földre tiporva magad bár, mentve betsületed; örvendj!
Föltámad még, mely most lehanyatlá, napod.
Tisztelik estedet a Népek, s részt véve siratják;
Vajha segítették volna kivívni ügyed!
(Zwar dich selbst zu Erde tretend, deine Ehre rettend; freue dich!
Sie steht noch auf, die jetzt hinabsank, deine Sonne.
Die Völker verehren deinen Sturz, und beweinen ihn mit Mitleid;
Hätten sie deiner Sache zum Siege verholfen!)

In seinem Epigramm „Auf den Helden hingegen“ verfluchte er den Zaren:

„Hartzod igát, döghalált hozza a népekre, magadra
Átkot; vad Győző! nintsen örülni okod.“⁵⁸
(Dein Kampf bringt Cholera über die Völker, über dich
Fluch; wilder Sieger! du hast keinen Grund dich zu freuen.)

Die hier genannten Epigramme verfaßte der gelehrte Dichter auch in lateinischer Sprache.

8. Darüber, *ob man die polnische Literatur gekannt hat*, liegen uns aus der Zeit der Novemberrevolution keine konkreten Beweise vor. Charakteristisch für die allgemeine Stimmung war jedoch, daß schon in jenen Monaten die ungarische Variante (in etwa: „Polen ist noch nicht verloren“) der späteren polnischen Nationalhymne

⁵⁷ Gaál, József: A bujdosó (Der Heimatlose). In: Aurora 1832. 376.

⁵⁸ Péczeli, J.: Epigrammák és apróságok. (Epigramme und Kleinigkeiten.) Debrecen 1832. 33—34.

„Jeszcze Polska nie zginęła“ entstand.⁵⁹ Der Text blieb in dem Handschriftenband „Ausgewählte weltliche Lieder aus dem Jahre 1830“ von János Polgár in der in Sárospatak bewahrten Wissenschaftlichen Sammlung des Reformatorischen Kirchen-distrikts diesseits der Theiß erhalten.

Früher habe ich diesen Text für die Übersetzung der polnischen Hymne gehalten, doch neuere Forschungen haben erbracht, daß nur der erste Teil mit dem Dąbrowski-Marsch übereinstimmt:

„Nints még oda Lengyel Ország,
Sorsa él bennünk,
Tört hatalmát visszaszerzi
Győztes fegyverünk.“

Der Refrain ist schon aber anders:

„Skrzynecki vezetők
Lobban a hartz heve bennünk
Népünk szabad lesz
Az erőszak vész.“⁶⁰
(Noch ist Polen nicht verloren, / In uns lebt sein Glück,
Was an Obmacht ging verloren, / Bringt das Schwert zurück . . .
Skrzynecki führet uns / Schon entbrennt des Kampfes Hitze,
Polen macht sich frei / Bricht die Tyrannei.)

In ihrer Monographie über die polnische Hymne wies Dioniza Wawrzykowska—Wierciochowa darauf hin, daß während des Novemberaufstandes in Anlehnung an „Mazurek Dąbrowskiego“ ein „Skrzynecki-Gesang“ entstanden war. Der erste Gedichtteil stimmt mit dem Text von Wybicki überein, doch der Refrain lautet schon anders:

Gdy Skrzynecki nam dowodzi,
Już wre walka sroga,
Polska wolna się odrodzi,
Bo pobijem wroga.

Der Philologe wird hier ein wenig in Erstaunen versetzt, denn der Refraintext der ungarischen Version weicht stark von dem polnischen ab. Die Erklärung für den ungarischen Text gibt der deutsche Text des „Skrzynecki-Gesanges“, nach dem Polgár's Gedicht entstanden sein mag:

⁵⁹ Válogatott világi Nóták 1830-ik Esztendőben. (Ausgewählte weltliche Lieder im Jahre 1830) geschrieben von János Polgár, 4—6. Wissenschaftliche Sammlung des Reformatorischen Kirchen-distrikts diesseits der Theiß. Sárospatak, Bd. 1667.

⁶⁰ Die Kopien sind eine Arbeit von István Molnár, (Debrecen).

Skrzynecki führet uns,
Schon entbrennt des Kampfes Hitze.
Polen macht sich frei
Von der Tyrannei. . .⁶¹

Nun ist es an der Zeit, das hier Gesagte zusammenzufassen. Der Widerhall auf den Novemberaufstand aus dem damaligen Ungarn war einzig die Eröffnung der polenfreundlich gesinnten Literatur, die in die ungarische Revolution von 1848/49 und in den Freiheitskampf mündete. Die Besten aus der Reformzeit (Vörösmarty, Bajza, Eötvös, Madách, Arany, Jókai und andere) nahmen hier Stellung und sprachen sich zu der Polenfrage aus. Sie wurden von der Masse zweit- und dritt-rangiger, heute schon völlig unbekannter Dichter und Prosaisten gefolgt. Ihre Werke spiegeln in Verbindung mit dem Aufstand Verständnis, Mitgefühl, Sympathie, Bewunderung und oft auch Begeisterung wider. An etwas ähnliches wagte man zu der Zeit in Ungarn noch nicht einmal zu denken. Die Ereignisse von 1846 in Galizien (die Unterdrückung des anti-österreichischen Aufstandes des polnischen Adels und der Intelligenz mit Hilfe der unzufriedenen bäuerlichen Massen) waren eine starke Warnung für die Generation der ungarischen Reformzeit: Ohne die Befreiung der Bauernschaft hat der nationale Befreiungskampf nicht einmal die Hoffnung auf einen Sieg.

Die ungarische Polenfreundliche-Literatur war nicht nur eine Erscheinung der Sympathie zu der benachbarten Brudernation, sondern sie trug auch den Stachel gegen Habsburg in sich und war nicht frei von der Angst „vor den Schreckensschatten der Nordens“. Wie später die Umstände für die Zerschlagung des Freiheitskampfes zeigten, war diese Angst keinesfalls unbegründet.

Sowohl in ihrem Umfang als auch in ihrer Zeitspanne übertönte die ungarische Polonophil-Dichtung die polenfreundlich gesinnten Klänge der Literatur in Westeuropa. Im Anfang war sie durch viele Fäden mit den Werken der fortschrittlichen deutschen Dichter verbunden (Thematik, Auffassung), der Unterschied besteht aber darin, daß sie fast bis auf den heutigen Tag anhält. Leider gibt die ungarische Polonophil-Literatur nur selten Anlaß dazu, auf die ungelösten inneren Angelegenheiten und die Rückständigkeit bei uns (Széchenyi 1831, viele andere 1846, Endre Ady 1908 „Ungar und Pole“) aufmerksam zu machen. . .

Vor 150 Jahren hat sich die sog. Polenfrage herausgebildet, von der Endre Kovács in einem Artikel in „Századok“ so schön sagte: „In der ungarischen Gesellschaft hat sie die Rolle der Integration eingenommen: sie war in der Lage, die Vertreter der verschiedensten Parteien und Prinzipien in einer einzigen Frage zusammenzuschließen.“⁶²

⁶¹ Vgl. Leszek Hensel: Przekłady węgierskie polskich pieśni patriotycznych. Wwa 1977, (Facharbeit in der Bibliothek des Lehrstuhls für Ungarische Philologie zu Warschau) 49—57.

⁶² E. Kovács, Dąbrowski, J.: Dzienniki 1914—1918. In: Századok. 1978, Nr. 2. 383.

**«Герой нашего времени»
в художественном восприятии Достоевского**

Л. АЛЛЕН

Лермонтов был одним из четырех главных и постоянных русских литературных спутников Достоевского. Трое других — Пушкин, Гоголь и Грибоедов. Из зарубежных литературных спутников Достоевского можно назвать Шекспира, Шиллера, Сервантеса, Гюго, Диккенса. Современные русские писатели — Толстой, Тургенев, Некрасов и Щедрин сыграли в творчестве Достоевского другую роль: Достоевский полемически относился к тому, что было сделано или делалось ими.

Чем же Лермонтов так долго и упорно привлекал и интересовал Достоевского? Этот интерес был всесторонен. Лермонтов привлекал Достоевского как личность, как явление русской литературы, как народный поэт, как драматург (Федор Михайлович особенно ценил «Маскарад» с «колоссальной фигурой» Арбенина), и, наконец, как автор знаменитого «Героя нашего времени». Тут, касаясь «Героя нашего времени», интерес Достоевского раздваивался: он видел в Лермонтове не только создателя образа Печорина, как литературного и социального типа, но еще и открывателя новой архитектоники романа. Опуская здесь Лермонтова-поэта и драматурга, я уделю главное внимание художественному восприятию Достоевским формы и содержания «Героя нашего времени».

Печорин как тип, так сказать, как живая личность, никогда не нравился Достоевскому. С годами Федор Михайлович пропитывался все нарастающей ненавистью к нему, и грань, проводимая Достоевским между автором и его созданием, все больше увеличивалась. Насколько высоко ценил он Лермонтова как поэтическую личность, настолько низко он ставил Печорина как тип. Отдавая дань исторической и социальной значимости образа Печорина, Достоевский не мог преодолеть в себе своего рода физического, органического отвращения, воспринимая Печорина как сугубо антинародный и даже антирусский тип, как квинтэссенцию типа, одновременно чуждого и враждебного русскому национальному духу. И уже в силу своей социальной, моральной и национальной антипатии Достоевский временами был даже склонен оспаривать не только художественную ценность образа, но и осуждать личность автора. Здесь, как всегда, поразительна амплитуда колебаний Достоевского. Достоевский как

всегда противоречив. Но противоречив был и сам Лермонтов, по крайней мере в художественном восприятии Федора Михайловича.

Историческое и даже «оригинально-русское» значение образа Печорина не оспаривается Достоевским в его статьях о литературе 1861 г.: «Этот тип (речь идет об Онегине Пушкина) вошел, в сознание всего нашего общества и пошел перерождаться и развиваться с каждым новым поколением. В Печорине он дошел до неутомимой, жолчной злобы и до странной, в высшей степени оригинально-русской противоположности двух разнородных элементов: эгоизма до самообожания и в то же время злобного самонеуважения. И все та же жажда истины и деятельности, и все то же вечное роковое *ничего делать*. От злобы и как будто на смех, Печорин бросается в дикую, странную деятельность, которая приводит его к глупой, смешной, ненужной смерти. И все ведь это действительная правда, повторялось *действительно* в нашей жизни» (XIII. 103)¹.

Только впоследствии, окольным путем, Достоевский доберется до идеи о *нерусскости* образа Печорина:

«Вспомните: мало ли у нас было Печоринных, действительно и в самом деле наделавших много скверностей по прочтении ‚Героя нашего времени‘. Родоначальник этих дурных человечков был у нас в литературе Сильвио, в повести ‚Выстрел‘, взятый простодушным и прекрасным Пушкиным у Байрона. Да и сам-то Печорин убил Грушницкого потому только, что был не совсем казист собой в своем мундире и на балах высшего общества, в Петербурге мало походил на молодца в глазах дамского пола. Если же мы так в свое время ценили и уважали этих злых человечков, то единственно потому, что они являлись как люди будто бы *прочной* ненависти, в противоположность нам русским, как известно, людям весьма непрочной ненависти, а эту черту мы всегда и особенно презирали в себе. Русские люди долго и серьезно ненавидеть не умеют. . . » (XI. 180—81).

Тут уже не только «русскость», но и историческо-литературное значение образа подвергается серьезному пересмотру. Даже Пушкин как-то задет, и удар прямо нанесен Байрону, который будто бы завлек «простодушного, прекрасного Пушкина». И в самом деле, и Байрон, и Лермонтов резко критикуются в *Записных книжках* 1875—1876 гг.:

«Каин — причина: Байрон хромой.

Направление Лермонтова — причина: урод, кочергу ломал. (. . .) Каин. Байрон хром. Смеялся над Вордсвордом за таможду. Оранжевые цвета. Отдал ли бы свою аристократию. Удивительно, что Пушкин отказался так скоро. Лермонтов. Байрон хром, будь его нога пряма — он был бы спокойнее. Лермонтов гнусен. Самолюбие. Стечкина. Реклама. Газета «Реклама»².

Вот уже Достоевский готов объяснять политическое бунтарство и бого-

¹ Достоевский Ф. М. Полн. собр. художественных произведений. Т. XI, XII (Дневник писателя), Т. XIII (Статьи). М.—Л., 1926—1930 (при цитатах указываются римскими цифрами том, арабскими — страницы).

² Литературнаследие. М., 1971, стр. 375—380

борчество Байрона мотивами личной обиды, желанием отомстить за свою хромоту и т. д. В том же русле обвинений и объясняется как направление самого Лермонтова, так и стиль поведения Печорина, отчасти что касается отношений Печорина к Грушницкому.

Это уже сильный перегиб. В «Дневнике писателя за 1877 г.» (год спустя) Достоевский возвращается к положительной оценке байронизма и через эту оценку уже вполне «реабilitирует» Лермонтова:

«И во-первых, словом „байронист“ браниться нельзя... Байронизм появился в минуту страшной тоски людей, разочарования их и почти отчаяния. Никогда может быть не было в истории Западной Европы столь грустной минуты... Все задыхалось под страшно понизившимся и сузившимся над человечеством прежним его горизонтом. Старые кумиры лежали разбитые. И вот в эту-то минуту и явился великий и могучий гений, страстный поэт. В его звуках зазвучала тогдашняя тоска человечества и мрачное разочарование его в своем назначении и в обманутых его идеалах. Это была новая и неслыханная еще тогда муза мести и печали, проклятия и отчаяния. Дух байронизма вдруг пронесся как бы по всему человечеству, все оно откликнулось ему... Это именно был тот могучий крик, в котором соединились и согласились все крики и стоны человечества. Как было не откликнуться на него и у нас, да еще такому великому, гениальному и руководящему уму, как Пушкин?...» (XII. 349—50). Правда, за такой «реабilitацией» следует одно из тех знаменитых у Достоевского «ограничений», после которых уже наступает некоторая заминка и наконец фактическое отрицание сказанного в начале:

«Но величие Пушкина, как руководящего гения, состояло именно в том, что он так скоро, и окруженный почти не понимавшими его людьми, *нашел великий и возжеланный исход для нас русских и указал на него*. Этот исход был — народность, *преклонение перед правдой народа русского...*» (XII. 350). В свете этого анализа «грех» Лермонтова очевиден в плане историко-литературном: он продолжил пушкинскую линию, от которой сам Пушкин давно отрекся, потому что художественная правда этой линии перестала, как только началась, быть живой и продуктивной на русской почве.

Наступает новый диалектический переворот: грех Лермонтова искупается тем, что сам Лермонтов догадался о «забракованности» своего героя. «Лермонтов, конечно, был байронист, но по великой своеобразной поэтической силе своей и байронист-то особенный, — какой-то насмешливый, капризный и брюзгливый, вечно неверующий даже в собственное свое вдохновение, в свой собственный байронизм. Но если б он перестал возиться с большой личностью русского интеллигентного человека, мучимого своим европеизмом, то наверно бы кончил тем, что отыскал исход, как и Пушкин, в преклонении перед народной правдой, и на то есть большие и точные указания. Но смерть опять и тут помешала. В самом деле, во всех стихах своих он мрачен, капризен, хочет говорить правду, но чаще лжет и сам знает об этом и мучается тем, что лжет, но чуть лишь он коснется народа, тут он светел и ясен. Он любит русского солдата, казака, он чтит народ» (XII. 353).

И тут в доказательство своего мнения Достоевский ссылается на «Песню

про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».

Итак, у Лермонтова поэт пересиливает романиста и выручает его перед судом будущего. Как поэтическая личность, Лермонтов определяется Достоевским как байронист, не верующий в свой собственный байронизм. Душа Лермонтова трагически раздвоена между преклонением перед загадочной личностью русского интеллигента, «мучимого своим европеизмом», и предчувствием народной правды. Уже в 1861 г. эта роковая раздвоенность Лермонтова мерещилась Достоевскому:

«Были у нас и демоны, настоящие демоны; их было два, и как мы любили их, как до сих пор мы их любим и ценим! Один из них все смеялся (Гоголь), он смеялся всю жизнь и над собой и над нами, и мы все смеялись за ним, до того смеялись, что, наконец, стали плакать от нашего смеха. (...) Другой демон (Лермонтов), — но другого мы, может быть, еще больше любили. (...) Он проклинал и мучился, и вправду мучился. Он мстил и прощал, он писал и хохотал — был великодушен и смешон. (...) Он рассказывал нам свою жизнь, свой любовные проделки: вообще он нас как будто мистифицировал; не то говорит серьезно, не то смеется над нами» (XIII. 50—1).

Конечно, последнее слово Лермонтова унесено в могилу, и смерть поставила свое обычное многоточие, но Достоевский в конце жизни не сомневался в дальнейшем пути Лермонтова, если бы только он остался жив: «Повторяю, остался бы Лермонтов жив, и мы бы имели великого поэта, тоже признавшего правду народную, а может быть, и истинного ,печальника горя народного'. Но это имя досталось Некрасову» (XII. 354). Итак, последнее мнение Достоевского о Лермонтове таково: Лермонтов стоит в одном ряду с Пушкиным и Некрасовым. Точнее, он является каким-то необходимым промежуточным звеном между ними.

Но это последнее мнение Достоевского о Лермонтове не является одновременно его последним словом о нем. Как известно, Достоевский вел тяжбу против всей современной ему русской литературы. И в этой тяжбе Печорин занимает не последнее место. Он — среди других его собратьев — является символом и воплощением какой-то эстетической фальши, какой-то роковой эстетической неправды и недоделанности. Собратья Печорина четко указаны Достоевским:

«Алеко и Онегин породили потом множество подобных себе в нашей художественной литературе. За ними выступили Печорины, Чичиковы, Рудины и Лаврецкие, Болконские (в ,Войне и мире' Льва Толстого) и множество других, уже появлением своим засвидетельствовавшие о правде первоначальной данной мысли Пушкиным» (XII. 370).

Мнение Достоевского таково, что «правда первоначально данной мысли Пушкиным» оказалась ложью у его наследников (надо оговориться, что Сильвио из пушкинской повести «Выстрел» все-таки больно задел Достоевского). И, быть может, среди всех антигероев литературы, последовавших за Алеко и Онегиным, почетное место (в отрицательном смысле) принадлежит Печорину. Весь роман Лермонтова, уже с художественной стороны, подвергается Дос-

тоевским строгому рассмотрению. «Люди из бумажки. Княжна Мери. Человек со вкусом этого не может читать без скуки»³.

«Про современную литературу Версилов говорит, что данные ею типы довольно грубы (Чацкий, Печорин, Обломов), и что много тонкого и несомненно действительного ускользнуло; бесчисленно больше ускользнуло, чем дано литературой. Ибо мы себя все время не понимали и только что капельку выяснили — вдруг оказалось, что еще больше мраку (в последнее двадцатилетие)»⁴.

В «Дневнике писателя за 1876 г.» «парадоксалист» (одна из ипостасей автора «Дневника»), защищая «хороший тон» как признак развития общества, прямо объявляет о «забракованности» героев типа Печорина:

«Поэзия выводит Байронов, а те Корсаров, Гарольдов, Лар, — но посмотрите, как мало прошло времени с их появления, а уж все эти лица забракованы хорошим тоном, признаны за самое дурное общество, а уж тем паче наш Печорин или Кавказский Пленник: те оказались уж вполне дурного тона; это петербургские чиновники, одну минуту имевшие успех. А почему забракованы? Потому что эти лица истинно злы, нетерпеливы и хлопочут о себе одних откровенно, так что нарушают гармонию хорошего тона, который из всех сил должен делать вид, что всякий живет для всех, а все для каждого» (XI. 367).

Что же подразумевал Достоевский под загадочным утверждением, что «много тонкого и несомненно действительного ускользнуло; бесчисленно больше ускользнуло, чем дано литературой» (11)? Достоевский ответил на этот роковой вопрос в своих черновиках к «Подростку»: «Как герои, начиная с Сильвио и Героя нашего времени до князя Болконского и Левина, суть только представители мелкого самолюбия, которые ,нехорошо‘, ,дурно воспитаны‘, могут исправиться потому, что есть прекрасные примеры (Сакс в ,Полиньке Сакс‘, тоже немец в ,Обломове‘, Пьер Безухов, откупщик в «Мертвых душах»). Но это потому, что они выражали не более как герои мелкого самолюбия»⁵.

И вдруг со следующей фразы Достоевского становится ясным, что именно «Записки из подполья» служили художественным ответом и боевой отповедью главенствующей линии русской литературы, с Сильвио и Печориным во главе:

«Только я один вывел трагизм подполья, состоящий в страдании, в самоказни, в сознании лучшего и в невозможности достичь его и, главное, в ярком убеждении этих несчастных, что и все таковы, а стало быть, не стоит и исправляться. Что может поддержать исправляющихся? Награда, вера? Награды — не от кого, веры — не в кого? Еще шаг отсюда, и вот крайний разврат, преступление (убийство). Тайна»⁶.

Уже противопоставляя себя всей современной русской литературе, Достоевский смело заявляет:

³ Здесь же, Т. 83, стр. 371

⁴ Здесь же, Т. 77, М., 1965, стр. 298

⁵ Здесь же, Т. 77, стр. 342

⁶ здесь же, стр. 342—343

«Талантливые писатели наши... думали, что изображали жизнь большинства, — по-моему, они-то и изображали жизнь исключений. Напротив, их жизнь есть жизнь исключений, а моя есть жизнь общего правила. В этом убедятся будущие поколения, которые будут беспристрастнее, правда будет за мною. Я верю в это... Я горжусь, что впервые вывел настоящего человека *русского большинства* и впервые разоблачил его уродливую и трагическую сторону. Трагизм состоит в сознании уродливости»⁷.

«Жизни исключений», и «довольно грубым» типам, недоделанным осколкам мысли, похищенной у Пушкина, Достоевский противопоставляет свою художественную правду «настоящего человека *русского большинства*» в лице героя из *Подполья*. Достоевский был твердо убежден, что он укоренил наконец на своей настоящей почве тип, предугаданный Пушкиным, и закончил до сих пор недоделанный образ, дав к нему ключ и указав ему на исход (возврат к роду и к Богу, что на самом деле одно и то же).

Неудивительно поэтому то, что «Записки из подполья» носят явные следы художественной полемики Достоевского с Лермонтовым и его героем Печориным. Подпольный человек мечтает о том, как бы отомстить обидчику за нанесенное ему оскорбление; в его несвязной речи проскальзывают такие симптоматические слова:

«Я зубами вцеплюсь ему в руку, я укушу его. Смотрите все, до чего можно довести отчаянного человека. Пусть он бьет меня в голову, а все они сзади. Я всей публике закричу: ,Смотрите, вот молодой щенок, который едет пленять черкешенок с моим плевком на лице.« (...) Я скажу: ,Смотри, изверг, смотри на мои ввалившиеся щеки и на мое рубище. Я потерял все — карьеру, счастье, искусство, науку, любимую женщину, и все из-за тебя. Вот пистолеты. Я пришел разрядить свой пистолет и... прощаю тебя«. Тут я выстрелю в воздух, и обо мне ни слуху ни духу... Я было даже заплакал, хотя совершенно точно знал в это самое мгновение, что все это из Сильвио и из ,Маскарада« Лермонтова. И вдруг мне стало ужасно стыдно, до того стыдно, что я остановил лошадей, вылез из саней и стал в снег среди улицы» (5.150)⁸.

Будет стрелять в воздух Ставрогин в «Бесах»:

«Подожел и Николай Всеволодович, подняв пистолет, но как-то очень высоко, и выстрелил совсем почти не целясь» (10.225).

Именно Ставрогин, как высшее выражение идеи героя из *Подполья*, наиболее приближается (в полемическом, конечно, контексте) к образу Печорина. Уже черновики *Бесов* изобилуют намеками на Печорина, когда речь заходит о Ставрогине и даже о Лизе. В начале работы над *Бесами* «студент» (будущий Петр Верховенский) мыслился как центральный герой и именно о нем встречается такая многозначительная запись:

«Студент в форме *Героя нашего времени*» (11.115).

Поведение «князя» по отношению к Лизе определяется так: «Князь, приехав, ни слова с Воспитанницей. По письму Степана Трофимовича он догадался

⁷ здесь же, стр. 342

⁸ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в тридцати томах. Т. 1—17. Л., 1972—1976 (при цитатах указываются арабскими цифрами и том, и страницы);

(про себя), что та влюбилась, и, приехав, нарочно, по-печорински, не заговаривает с ней» (11.214).

В законченном тексте ссылки на *Героя нашего времени* довольно многочисленны. Хроникером Ставрогин ассоциируется с самим Лермонтовым через представление о декабристе Л-не:

«Николай Всеволодович, может быть, отнесся бы к Л-ну свысока, даже назвал бы его вечно храбрящимся трусом, петушком — правда, не стал бы высказываться вслух. Он бы и на дуэли застрелил противника, и на медведя сходил бы, если бы только надо было, и от разбойника отбил бы в лесу — так же успешно и так же бесстрашно, как и Л-н, но зато уж безо всякого ощущения наслаждения, а единственно по неприятной необходимости, вяло, лениво, даже со скукой. В злобе, разумеется, выходил прогресс против Л-на, даже против Лермонтова. Злобы в Николае Всеволодовиче было, может быть, больше, чем в тех обоих вместе, но злоба эта была холодная, спокойная и, если можно так выразиться, *разумная*, стало быть, самая отвратительная и самая страшная, какая может быть» (10.165).

Тут уже ключ не только к пониманию образа Ставрогина, как какого-то «сверх-Лермонтова», но и ключ к пониманию Достоевским автобиографического в «Герое нашего времени». Сам Лермонтов идентифицируется с его героем и, ссылаясь на него, Достоевский хочет превзойти его в изображении демонского и сатанинского зла. Упоминание в таком контексте имени Лермонтова отнюдь не выдумка самого Достоевского: оно основано на свидетельствах современников⁹ и является объяснением целого ряда резких замечаний Достоевского о Лермонтове в записных тетрадах 1875—1876 гг., о которых было сказано выше. Через свое родство с самим Лермонтовым, Ставрогин является quintэссенцией «печоринства», дальше которой уже нельзя идти.

Родство Ставрогина с Печориным упоминается в законченном тексте Липутиным:

«Человек раздражительный и, как бы так сказать, военно-эстетический, но только дурного вкуса. (. . .) Сегодня жмет вам руку, а завтра ни с того ни с сего, за хлеб-соль вашу вас же бьет по щекам при всем честном обществе, как только ему полюбитя. С жиру-с. А главное у них женский пол: мотыльки и храбрые петушки. Помещики с крылышками, как у древних амуров, Печорины-сердцееды» (10.79—84).

Впрочем, не один Ставрогин ассоциировался с Лермонтовым. В записных тетрадах *Бесов* сказано о Лизе: «Это Лермонтов в юбке» (11.297). В законченном тексте Маврикий Николаевич, как «смирный тип», создан, может быть, не без оглядки на Максима Максимыча. До известной степени стиль отношений между Ставрогиным, Лизой и Маврикием Николаевичем напоминает соответствующее положение в *Герое нашего времени*. Последняя «пика» по отношению к Лермонтову в *Бесах* содержится в передаче хроникером речи Кармазинова-Тургенева на празднике:

«Тут казенный припадок байроновской тоски, гримаса из Гейне, что-нибудь из Печорина, — и пошла, и пошла, засвистала машина. . .» (10.367).

⁹ см. 12, 295 (комментарии к 10, 165)

Лермонтовский дух не только пропитывает личность Ставрогина и некоторые интересные психологические моменты *Бесов*, он как архитектурный принцип обуславливает и художественную концепцию романа. Как и Печорин в *Герое нашего времени*, Ставрогин раскрывается в романе «пластически», в перспективе, очень близкой к манере Лермонтова. Подход к загадочной личности Ставрогина отличается своей поступательностью и отмечается принципом разноголосицы. В начальных главах рассказчик-хроникер описывает его, широко ссылаясь на неопределенные слухи и на «шекспировские» сравнения Степана Трофимыча. Затем Варвара Петровна проводит свое личное расследование, капитан Лебядкин произносит какие-то двусмысленные слова, Петр Степанович сообщает свою собственную версию. Наконец, герой появляется и раскрывается исключительно в сценах и действиях. Загадка его постепенно разгадывается чужими глазами, глазами трех женщин, которые его любят, глазами трех мужчин, которые, каждый от себя, восприняли его идеи. В конце концов сам Ставрогин раскрывает себя в своих записях: в той письменной исповеди, которую он отдает Тихону для чтения, и, после отказа Каткова печатать ее, в своем предсмертном письме к Даше.

В *Бесах* кроме того присутствует та же двойная хронологическая композиция, которая встречалась в романе Лермонтова. С одной стороны, какое-то действие разворачивается в определенное время. С другой стороны, излагается по словам Лермонтова, «история души человеческой»¹⁰, история своего рода нового героя времени, в которую читатель посвящается постепенно, благодаря неполным и дополняющим друг друга биографиям, сообщенным хроникером и Петром Степанычем. Эти «биографии» позволяют действию идти вспять и вернуться назад в далекое, неопределенное прошлое, и такие возвраты назад оживляются уже последующим изложением бывших ставрогинских идей в передачах Кириллова, Шатова и Петра Степановича. Наконец, последнее освещение уже проецируется благодаря какому-то «суррогату» дневника — записям самого Ставрогина¹¹.

Из всех произведений Достоевского больше всего *Бесы* написаны в духе лермонтовской поэтики, но Достоевский всю жизнь тяготел к романической формуле, найденной Лермонтовым в *Герое нашего времени*. Впервые Леонид Гроссман обратил внимание на это «лермонтовское наследие» в творчестве Достоевского:

«Достоевский высоко ценил архитектуру романа Лермонтова (пять самостоятельных новелл об одном герое), на этом принципе строил в 1846—1849 годах *Неточку Незванову* и уже в 1856 году обдумывал «длинный роман —ключения одного лица, имеющие между собой цельную, общую связь, а между тем состоящие из совершенно отдельных друг от друга и законченных само

¹⁰ см. «Журнал Печорина. Предисловие».

¹¹ см. J. Catteau, *La Création littéraire chez Dostoïevski*, Paris, Institut d' Etudes slaves, 1978, 394—395.

по себе эпизодов.» Каждый эпизод — отдельная повесть, совокупность повестей — цельный роман»¹².

О какой-то генетической связи между всеми романами-трагедиями Достоевского также говорил в свое время А. С. Долинин¹³.

Достоевский всегда любил парадоксы и был большой мастер в них. Немалым парадоксом может показаться и тот факт, что самое спорное в *идеологическом* плане произведение Лермонтова дало самый плодотворный толчок *художественной* мысли Достоевского, его художественной манере.

¹² Л. П. Гроссман. Жизнь замечательных людей. Ф. М. Достоевский, М., 1965 (2-ое изд.), примеч. к странице 442. Гроссман ссылается на три письма Достоевского.

¹³ Достоевский Ф. М. Письма. Т. 1., М.—Л., 1928, стр. 12—28. (Предисловие А. С. Долинина).

Русские литературные связи кружка Араня—Ченгери

Л. ИМРЕ

Возможности и рамки темы

Изучая границы и связи литературных группировок баховского периода в мировой литературе и в особенности говоря об отношениях, связывающих их с русской литературой, необходимо совокупно применить два основных метода компаратистики. Наряду с учетом генетических связей, (влияний, стимулов) уже с самого начала были очерчены точные границы типологических связей между этими двумя литературами. Жирмунский намного позже определяет природу аналогий, вытекающих из внутренних связей различных литератур и природу параллельностей и расхождений¹, тогда как Дюлаи уже в 1862 году аналогичность процессов, независимых с точки зрения происхождения друг от друга объясняет родственными чертами общественного развития: «между нашей и русской литературами, несмотря на различие условий имеется много общего. Там также, как и у нас всего несколько десятилетий прошло с тех пор как поэзия стала национальнее: народно-национальный элемент у них в схожих условиях завоевал себе признание; русский поэт также борется с, французскостью⁴ образования высших кругов, как мы боремся с, германизмом⁴ наших самых интеллигентных кругов. Недовольство политическими и социальными условиями точно также чувствуется у русского поэта, как и у венгерского, только в русской поэзии больше меланхолии и едкого юмора»². Ласло Араня стихотворение Лермонтова «Парус» сравнивает с одой Бержени, а «Мцыри» с некоторыми стихами Петефи и Верешмарты, используя типологическую ана-

¹ Жирмунский. Эпическое творчество славянских народов и проблемы сравнительного изучения эпоса. М., 1958. Жирмунский. Литературное течение как явление международное. Ленинград, 1967.

² A nemes fészek. (Дворянское гнездо.) Turgeneff után fordította (перевёл G. Pest,) 1862. *Szépirodalmi Figyelő*, 1862. 315.

логию³. Но сравнение венгерских и русских условий, в нахождении аналогий восточно-европейская точка зрения преобладают и в анализе публицистики⁴, и в обсуждении реформы крепостного права⁵, и таким образом в статьях по истории культуры и истории экономики ясно виден своеобразный типологический взгляд.

Насколько помогала распространению такого взгляда географическая, общественная и экономическая близость, настолько препятствовали этому некоторые политические тенденции. Несмотря на то, что в период произвола один из авторов статьи «Нового Венгерского Музея» вслед за Иштваном Хорватом пытается доказать, что основателем Российской империи были венгры (гунны-скифы) и вступает в спор с нормандской теорией русских ученых: «в венгеризм древнерусских я не только верю, но и смею утверждать это от-

³ László Arany: Lermontoff. *Budapesti Szemle*, 1864. „Berzsenyi szép ódájában (Partra szállottam, levonom vitorlám) hajós a költő, itt hajó, abban maga beszél el érzelmeit, ebben tárgyilag láttatja velünk, — ott a biztos rév ad békét, itt a hullámzó tenger enyhet.” (253) „Ez volna a cserkesz fiú-nak legrövidebb vázlata, de Lermontoff műveiből épen úgy nem lehet kivonatot készíteni mint pl. Petőfi Tündérrálmából vagy Vörösmarty Dél szigetéből — csak úgy az teljes, amint a költő megalkotá, minden szó kihagyásával egy-egy gyémánt esik ki a mesteri művű koronából.” (261) Még Puskin és Zrínyi életsorsában is lát összevetési lehetőséget: „Puskin született 1799-ben, egyikéből a legfőbb s régibb családoknak, mely Oroszország történetében rég idők óta szerepet vitt s a költő unoka őseit léptetheté föl — mint Zrínyink — egyik történeti művében.” (240) «В прекрасной оде Бержени (Пристал к берегу, спустил паруса) сам поэт — моряк, тут корабль, в стихотворении поэт сам рассказывает о своих чувствах, предметно показывает нам: там верная пристань обещает мир, тут беспокойное море — облегчение». (стр. 253) «Это краткое содержание “МЦЫРИ”, но кратко пересказать Лермонтова невозможно точно также как и, например, “Волшебный сон” Петефи или “Южный берег” Верешмарти, цельными они могут быть только такими, какими их создал поэт, с каждым выброшенным словом выпадает один алмаз из короны произведения». (стр. 261) В жизненных судьбах Пушкина и Зрини автор видит возможность сравнения: «Пушкин родился в 1799 году в одной из известнейших и старейших семейств, которая с давних времен принимала участие в истории, и внук-поэт имел возможность, (как и Зрини), изобразить своих предков в одном из своих исторических произведений». (стр. 240)

⁴ Az orosz hírlapirodalom. (Русская публицистика.) *Koszorú*, 1863. „egy orosz író nemrég így kiáltott fel: Sokkal több lapunk van, mint amennyi alkalmas szerkesztőnk. Bizony ez ránk, magyarokra is illik.” (332) „Az orosz politikai lap sokban hasonlít az 1830 előtti német vagy magyar lapokhoz.” (332) «Один русский писатель недавно воскликнул: У нас намного больше газет, чем приличных редакторов! Это можно сказать и о нас, венграх». (стр. 332) Русская политическая газета во многом похожа на немецкую или венгерскую газету до 1830 года». (стр. 332)

⁵ S. Matlekovics: A jobbágság felszabadítása Oroszországban az 1861. febr. 19-én kelt törvény által: „Nem lesz érdektelen, különösen hazánk földművelési szempontjából, ha Oroszország földnépének jogi viszonyait és különösen az újabb korban történt jobbágyfelszabadítást s az arra vonatkozó kormányrendeletek tartalmát röviden érintjük...” *BSzle*. 1866. (Освобождение крепостных крестьян в России указом от 19 февраля 1861 г. «Будет небезынтесным, особенно с точки зрения земледелия нашей страны, если коротко коснемся юридических прав русского земледельца а также в особенности происшедшего в последнее время освобождения их от крепостного права и связанных с этим правительственных указов...»)

крыто»⁶. Однако, политическая и моральная антипатия к царской России была сильнее, чем подобный дилетантский псевдоисторический взгляд, т. к. боязнь панславянских движений уже в 40-ые годы давила на общественное мнение⁷. Однако, движения славянских народов, проживающих на территории Венгрии, а также роль царской армии в 1849 году усиливали скорее не антипатию, а (собственно говоря, вполне логично) желание наладить связи и понимание с одной стороны, с другой стороны вызывали симпатию к русским поэтам, жертвам российского самодержавия. Это хорошо иллюстрируется оценкой Пушкина в венгерской литературе 40-х, 50-х годов. Как известно, Пушкина (на основании его жизненного пути и его произведений) можно рассматривать и как жертву самодержавия и как верноподданого поэта. В 40-е годы очевидно благодаря западным источникам снижало интерес к Пушкину то обстоятельство, что в нем видели придворного поэта, любимца Николая.

В 50-е годы на передний план выступают его столкновения с царской властью и всё больше чествуют его как поэта, выступающего против самодержавия⁸. (Формирование отношения к Лермонтову в венгерских литературных кругах отличается от пушкинского: о Лермонтове, который однозначно оценивается, как певец свободы, еще при жизни его, упоминает Габор Казинци, основываясь на немецких источниках, во 2-ом томе «Сборника Наук»⁹. Возросшая в 50-е годы симпатия к русской литературе (которая не ограничивается кружком Арани—Ченгери, т. к. например Вайда в 1855 году переводит с немецкого «Героя нашего времени» Лермонтова), еще более усиливается в 60-е годы. И на основании ряда признаков самый продуктивный момент рецепции русской литературы в Венгрии — первое десятилетие после соглашения¹⁰.

Если будем считать своей задачей рассмотрение русской литературной рецепции периода между подавлением освободительного движения и соглашением, точнее говоря русскую литературную рецепцию «Будапештского Обозрения», в таком случае пользуясь методом генетической и типологической аналогии будем иметь возможность расширить существовавшие до сих пор рамки этого вопроса. В данном случае важнее генетически-контактная связь, т. е. исследо-

⁶ J. Jerney: A magyar—orosz kérdés fölötti eszmék. (Мысли о русско-венгерском вопросе.) Új Magyar Múzeum, 1850. I. 518.

⁷ E. Kovács: Puskin és a magyar társadalom. Magyar—orosz történelmi kapcsolatok. (Пушкин и венгерское общество. Русско-венгерские исторические связи.) Бр. 1956. 179.

⁸ Olyan történetet vesznek át a Pester Lloyd-ból, mely szerint a cár szabadság ódjáért az ifjú Puskin megvesszőztette. Puskin ennek következtében „lemondott a politikai és társadalmi kérdésekről, valamint személyes függetlenségéről”, amiért 1825-től kegyelemben részesült. (Из «Pester Lloyd» взята история о том, что царь за оду о свободе якобы высек Пушкина. Пушкин же вследствие этого «отказался от политических и общественных вопросов и личной свободы», за что в 1825 г. был помилован.) Puskin Sándor *Vasárnapi Újság* 1855. január 28. (4. sz.)

⁹ I. Fenyő: Az orosz irodalom fogadtatása a reformkori magyar hírlapirodalomban. In: Tanulmányok a magyar—orosz irodalmi kapcsolatok köréből. I. Бр. 1961. 221. (Отношение к русской литературе в венгерской публицистике в период реформ. В «Очерки о русско-венгерских литературных связях».)

¹⁰ J. Barta: Arany és köre orosz irodalmi kapcsolatai. In: Klasszikusok nyomában. Бр. 1975. 289; (Русские литературные связи Арани и его кружка. В «По следам классиков».)

вание одной литературной группы с точки зрения русской литературной рецепции, а именно: что ими перенимается, в чем они и почему нуждаются. За этими вопросами скрываются очень важные факторы литературного развития. После 1849 года новые отношения требуют новой литературы, нового вкуса, новых идей, и для новой системы ценностей нужны такие образцы мировой литературы, часть которых дают Пушкин, Тургенев, Гоголь.

Оживающий интерес кружка Араня—Ченгери к мировой литературе показывает, что, несмотря на неблагоприятные условия, в нашей литературе в это время идет процесс углубления и обогащения. Восприимчивость к иностранным импульсам объясняется не отсутствием оригинальности, а наоборот это является доказательством художественной силы, ищущей новых путей. Рецепция крупных художественных ценностей как раз и является особенностью фактически растущей, дифференцирующей обогащающейся литературы и множество примеров из мировой литературы доказывает, что именно в период расцвета и размаха литератур сильнее стремление к ассимиляции.

Можно указать на многочисленные причины поисков примеров и контактов. В послеромантический период восточно- и средне-европейские литературы в силу необходимости имеют родственные стремления. Большое значение может иметь психологический и моральный характер и эстетический вкус рецептирующих индивидов. Сложной задачей является освещение так называемого рецептирующего контекста, то есть как изменяется характер русских произведений в разночтениях кружка Араня—Ченгери. Кружок Араня—Ченгери не всегда обращает внимание на неоспоримые ценности (из-за языкового барьера, например, теряется лиричность Пушкина), главным образом он занимается такими актуальными явлениями, которых венгерская литература не имеет. В то же время несомненно, что они обращают внимание не на ложные ценности, и нет примеров такой потери соразмерности как в случае Араня во французских сведениях. Только оценка Соллогуба является серьезной ошибкой, который был поставлен в один ряд с Гоголем и Тургеневым. Оправдание этому можно найти в том, что хотя Соллогуб оценивается как поверхностный писатель, мало того, однозначно, как писатель-дилетант, долгое время с этой оценкой запылаивали не только западно-европейские, но и русские его современники. Новеллист, вышедший из рядов «Современника» имел громкий успех как у себя на родине, так и на Западе, опубликованный в 1840-ом году «Тарантас» высоко оценил сам Белинский. Его известность и авторитет падают только после 1860 года, когда стала очевидной пустота его произведений, их небрежность; с другой стороны, когда новые, Тургенев и Толстой окончательно вытеснили его с первого плана. К нам он попал через немецкие переводы и громкую известность, читатели и переводчики не сумели с нужной определенностью отделить его от на самом деле великих писателей.

При исследовании влияния обычно берутся два текста: передающий и принимающий. В отношении русской рецепции кружка Араня имелась налицо ещё одна проблема, а именно — исходящий текст брался не на русском (по крайней мере достаточно долгое время), а на одном из языков—посредников, чаще всего на немецком, и конечным пунктом не всегда было художественное произведение, но и критико-историко-литературные тексты: на главные следы

воздействия можно наткнуться в таких теоретических статьях, которые имели большое влияние на взгляды наших писателей и поэтов. (Например в Аране возбуждалась уверенность в современности стихотворной эпики, у Берци же способствовала своеобразному пониманию им юмора). Значит, вместо двух текстов мы имеем дело с четырьмя: передающим текстом, текстом-посредником (это мог быть и венгерский перевод, хотя это редкий случай) с критико-теоретическим текстом-передатчиком и наконец, в некоторых случаях с венгерским художественным текстом. Примером, сложного трехфазового механизма влияния может служить юмор русских литературных произведений. В этом случае передающий текст — это Пушкин или Гоголь, посредники — их произведения на немецком или на венгерском языке. Под этим влиянием рождаются у нас различные теоретические сочинения о литературном юморе, и это понятие юмора влияет потом дальше на целый ряд художественных произведений, в том числе — на горьковатый юмор стихотворных романов 70-х годов.

Предметом отдельного исследования может служить сравнение степени развития венгерской и русской литератур. Генетические контакты в большинстве случаев возникают между не равнозначными партнерами, здесь уровень развития венгерской и русской литератур достаточно близко стоит друг к другу. Между передающей и принимающей литературами нет значительной разницы фаз. Правда, Пушкин или Гоголь по всей вероятности или по крайней мере в мировой литературе считаются более значительными (как это было и в то время), чем наша тогдашняя литература. Даже и в том случае, если русская литература ставится выше, то это понимается в первую очередь не в смысле литературного развития, а в смысле достижений. Этвеш, например, не менее сознательный реалист, чем Гоголь, только Гоголь крупнее, талантливее, феноменальнее в своей оригинальности. Характерно, что в Венгрии и во всей Европе, русскую литературу считают молодой, и это вызывает у нас симпатию к ней, потому что она вдохновляет тем, что наряду с выдающимися западными литературами написана на «экзотическом» языке, и вдохновляет тем, что литература отсталых стран может выйти на передовую линию среди литератур. Итак, речь идет не только о том, что любая литература как только выйдет из национальных рамок, изменяет своё лицо, т. е. с одной стороны имеется русская литература, которую можно исследовать, как таковую и есть, кроме этого, множество её вариантов, переданных в её французских, немецких, венгерских и т. д. рецепциях, но и о том, что для нас важны в первую очередь не детали рецепции, а данные и те точки зрения, которые характерны для взглядов этой группы.

Надо, естественно, где это необходимо, делать поправки с филологической точки зрения или дать дополнения к тому, что до сих пор опубликовано о литературных связях кружка Арана—Ченгери. Ещё более необходимо внести поправки в односторонность отношения громадной специальной литературы к этой теме. Дело в том, что большинство статей на эту тему родилось в период схематических литературных взглядов и несет на себе достаточное количество примет вульгаризирования. «Венгерские писатели и читающая публика видели в Пушкине свой идеал: борющегося поэта, который провозглашает свободу личности и народа и силу его», — читаем например в работе 1949

года¹¹. Такие и подобные заявления крайне превратно истолковывали и опровергали самого Пушкина, следуя советской вульгарно-марксистской литературоведческой установке, и это ещё завершили фальшивизацией рецепции; надо знать, что у нас в особенно известном «Онегине» никакой воинственности, никакого культа свободы, воспевающего силу народа, не могли отыскать. Наконец, кажется важным отметить сущность различия французской, немецкой и других рецепций от специфики русской литературной рецепции, и разбор влияния её функции на литературное развитие. Таким образом, речь будет идти об основных пунктах литературной системы принципов кружка Араня—Ченгери, и станет понятно, что это не просто проблема сравнительной истории литературы, но и ключевой момент образования новой литературной системы норм.

Дополнения и поправки к предшествующим взглядам

В связи с русской рецепцией кружка Араня мы часто встречаемся с фактологическими ошибками. Карой Геленчер, например, причисляет Толстого¹² к фигурирующим в журналах Я. Араня писателям. Конечно, ошибочно, потому что имя Толстого не упоминается ни в «Литературном Обозрении» ни в «Венке». Правда в журнале «Венок» в 1864 году появилась русская новелла в переводе Д. Т. под заглавием «Портретист», взятая из *Revue Britannique*, но она вряд ли является произведением Толстого¹³. Иштван Рейте считает первой попыткой перевода прозы Пушкина «Пиковую даму» (Дердь Урхазы, 1855)¹⁴, тогда как уже в 1839 году в Кложе в «Национальном Собеседнике» без упоминания имени автора, в обработке переводчика под псевдонимом «Г» появилась повесть «Выстрел», позднее в 1844 году эта же повесть была опубликована в «Рассказывающем Пештском Модном Журнале» в переводе Габора Казинци¹⁵.

Статья Аладара Комлоша о гоголевской рецепции также во многих пунктах требует поправок. По его мнению имя Гоголя появляется в Венгрии в 1852 году в IV томе¹⁶ лексикона, имевшего название «Сборник знаний нового времени», тогда как его имя упоминается в газетной статье более чем за 10 лет до этого¹⁷. Является спорным и высказывание Комлоша, что повесть «Тарас

¹¹ Gy. Máthé—Haupt: Puskin hatása a magyar társadalmi gondolkodás és irodalom fejlődésére a XIX. század második felében. *It.* 1949. 70. (Влияние Пушкина на венгерское общественное мышление и на развитие литературы во второй половине XIX века.)

¹² K. Gelencsér: Arany folyóiratai. (Журналы Араня.) Вр. 1936. 41.

¹³ *Koszorú*, 1864. 372—376., 397—401.

¹⁴ I. Rejtő: Az orosz irodalom fogadtatása Magyarországon. (Отношение к русской литературе в Венгрии.) Вр. 1958.

¹⁵ Gy. Radó: Puskin magyar vonatkozásai 1848-ig. In: Tanulmányok a magyar—oroszi irodalmi kapcsolatok köréből. (Венгерское отношение к Пушкину по 1848 год. В «Очерки о русско-венгерских литературных связях».) II. Вр. 1961. 187—188.

¹⁶ A. Komlós: Gogol útja a magyar irodalomban. In: Tanulmányok a magyar—oroszi irodalmi kapcsolatok köréből. (Путь Гоголя в венгерской литературе. В «Очерки русско-венгерских литературных связей».) II. Вр. 1961. 6.

¹⁷ I. Fenyő: Указанная выше статья, 222—23.

Бульба» через посредство немецкого имела влияние на «Последнего венгра» Араня¹⁸. С одной стороны между этими двумя произведениями в теме, в тоне сходство минимальное, с другой стороны никаких конкретных данных не имеется для доказательства того, что Арань на самом деле читал «Тараса Бульбу». Заключительный вывод Комлоша тоже требует поправки: «Гоголь первый русский писатель, который проник в венгерскую литературу. Проникновение его произведений происходит одновременно с проникновением произведений Пушкина, Соллогуба, Тургенева, Лермонтова»¹⁹. Безусловно является фактом, что переведенная Шюкеем в 1853 году повесть «Старосветские помещики» возможно самое первое литературное произведение, которое несомненно имело влияние (на прозу Дюлаи в особенности), однако это произведение по времени опережает появление пушкинских, соллогубовские, лермонтовские, произведения начинают влиять позднее (т. е. не в одно время).

Среди исследователей тургеневской рецепции Рейте вообще не занимается 50-ыми годами²⁰. Андраш Диосеги, вслед за Ридлем, ищет следы у Араня в большинстве ошибочно: «Арань связывая народность с современной психологией черпает у Тургенева восприятие природы, что ясно и для тогдашней литературной критики»²¹. С одной стороны: народность Тургенева в сильной мере спорна. Его проза, выросшая на французском реализме не имеет никакой такой народности, которая могла бы связать его с Аранем хотя в русской специальной литературе о Тургеневе говорится о его народности, но под этим подразумевается не стилирная литературная народность, а некий демократизм, интерес, симпатия к народу, глубокая любовь к родине и родному языку. С другой стороны тургеневское восприятие природы и объективность, лиричность и сдержанность строго связаны с прозой и в араневских жанрах просто непредставляемы. В какой мере натянута и неуместна эта параллель Арань—Тургенев, в такой же мере можно жалеть об отсутствии упоминаний о тургеневских произведениях в журналах Араня.

В «Беллетристических Листах» уже в 1853 году упоминается о произведении Тургенева «Записки охотника», отмечая, что немцы очень хвалили его²². Значит, сведения об этом произведении довольно рано дошли до нас; некоторая часть их была опубликована в России в 1847—1852 годах и вышла отдельной книгой в 1852 году. Несколько позднее это произведение было издано и на немецком языке и вместе с другими произведениями Тургенева оно могло иметь влияние на Дюлаи. Однако, повести «Последний хозяин старой усадьбы», которая печаталась в продолжениях в 1857 году в журнале «Венгерская Почта», едва ли могло дать импульс, как это думал Диосеги²³. Говорю об этой повести,

¹⁸ A. Komlós: Указанная выше статья, 8.

¹⁹ Там же, 25.

²⁰ I. Rejtő: Указанная выше статья.

²¹ A. Diószegi: Turgenyev magyar követői. In: Tanulmányok a magyar—oroszi irodalmi kapcsolatok köréből. (Венгерские последователи Тургенева. В «Очерки русско-венгерских литературных связей».) II. Вр. 1961. 89.

²² Gy. Máthé—Haupt: Указанная выше статья, 63.

²³ A. Diószegi: Указанная выше статья, 89.

Шетер упоминает не о влиянии, а о родственности и параллельности²⁴. Однако является фактом публикация Аранем в 1863 году «Встречи», в 1864 году рассказа «Уездный лекарь», в 1865 году «Соседа Радилова» из «Записок охотника» в журнале «Венок»²⁵.

Эти произведения, безусловно, уже имели влияние на литературные взгляды, на критическую деятельность Араня и конечно на вкусы и мнения всего окружения «Будапештского Обозрения». (В венгерской переводной литературе особенная честь приходится на долю переводчика К. В., который перевел с русского «Встречу», и в которой на самом деле отсутствуют германизмы и имена в фонетической транскрипции ближе к подлиннику, и вообще перевод звучит более по-венгерски, более точен, более чутко и легче читается). На сформировавшийся ранее взгляд на характер и размер русской литературной рецепции кружка Арань—Ченгери могут внести поправки некоторые мелкие данные на которые раньше не обращали внимание. Например, очерк «Об обстоятельствах смерти Пушкина», опубликованный в «Венке» в разделе Иностраный Обзор: «Этот великий русский поэт, довольно хорошо известен у нас, и поэтому для читателей будет небезинтересно узнать новые изобличительные обстоятельства его смерти»²⁶. В связи с событиями предшествующими дуэли упоминается князь Долгорукий, который «сейчас живет в Париже как эмигрант, и который написал там многочисленные революционные работы относительно России. Во дворце князя Гагарина родился пасквиль: группа таящих злобу на Пушкина интриганов мужского и женского пола выдумала и распространила. Дантес был только орудием в их руках. Эти сообщения довольно чувствительно компрометируют Долгорукого и Гагарина, этих двух гонимых и недовольных писателей. Возможно Гагарин с того времени придерживается другого направления, но Долгорукого, как политика и человека общественное мнение давно осудило».

На выводы из этого, несомненно второстепенного замечания, до сих пор не обратили внимания, возможно еще и потому, что князь Долгорукий, играющий грязную роль в выпадах против Пушкина, в качестве политэмигранта едва ли представил бы Герцена в положительном свете, и который в своих написанных в либеральном духе статьях, опубликованных в его выходящем в Лондоне журнале «Колокол» гневно нападал на царя и на положение в России. Кружковцам не обязательно было известно о том, насколько ценным сотрудником Герцена являлся Долгорукий, но текст, помещенный в «Венке» во всяком случае доказывает, что они имели весьма ясное представление о Герцене, упомянутом кстати с симпатией, и цитированном из-за его отрицательного отношения к деспотизму, и о русской политической эмиграции. (Их вообще интересо-

²⁴ I. Sötér: Nemzet és haladás. (Нация и прогресс.) Bp. 1963. 319.

²⁵ A találkozás. Írta Turgjénef. Oroszból fordította K. V. («Встреча» Тургенева. Перевод с русского В. К. *Koszorú*, 1863. 61.—65. A kerületi orvos (Turghenew Iván beszéltye). («Уездный лекарь». Рассказ И. Тургенева.) Ford: (перевод) B. Radvánszky. *Koszorú*, 1864. 495—96. Radilow szomszéd (Turghenew Iván elbeszéléseiből). («Мой сосед Радилов». Из рассказов Ивана Тургенева.) Ford: (перевод) J. Dömötör, *Koszorú*, 1865. 63—64., 88—90. Эти рассказы из «Записок охотника» в 1953 переведены и Л. Априли.

²⁶ *Koszorú*, 1863. 523—24.

вал вопрос о формах поведения политической эмиграции т. к., хотя об этом едва писалось, их без сомнения занимала и эмиграция Кошута, как зеркало и опыт всех отечественных стремлений, и они весьма сомневались в её компетенции судить и контролировать.)

С большой теплотой пишет «Будапештское Обозрение» о Герцене в статье, которая дает обзор русской журнальной литературы²⁷, которая излагая статью Мазада из "Revue des deux Mondes" и упоминает о редакторе «Русского Вестника», старающемся популяризировать английские учреждения, либерале Каткове. Это заслуживает внимания с одной стороны потому, что противоположность «Русского Вестника» и «Современника» аналогична некоторым венгерским литературным процессам, и среди политических оттенков русской литературы ближе всего кружку Кемень—Ченгери стоит «Русский Вестник», о чем свидетельствует комментарий «Венка»: «Русский Вестник» самый выдающийся из них; редактор его Катков один из первоклассных ученых. Преклоняясь перед либеральным консервативным направлением (...) «Современник» является резким противником того доктринёрского конституционализма, перед которым преклоняется «Вестник». Он ведет борьбу за современный французский строй, желает единовластия на демократических началах и часто выступает против дворянства и неравноправия классов. Недавно его постиг большой удар: Тургенев, один из лучших его сотрудников, перешел в табор «Вестника»²⁸. Упоминание о Каткове интересно ещё и потому, что в 60-ых годах в его журнале напечатан среди других авторов Достоевский, о ком (в связи с его намного более поздней по сравнению с Тургеневым западно-европейской популярностью) у нас еще ничего не знают. Однако, обозрение, сделанное по статьям Герцена в 1867 году, его журнал «Время» уже ставит тоже под оценку. (Что является довольно быстрым откликом, если известно, что «Время», «литературный и политический журнал» братьев Достоевских начал свою деятельность в 1861-ом году.) «Журнал 'Время' являющимся журналом умеренного духа, полный прекрасных и благородных симпатий, который был редактирован выдающимся литератором Достоевским, вернувшимся из шахты, сказал несколько гуманных слов в пользу Польши, что прошло бы незамеченным. Московская газета опубликовала статью, а 'Время' было закрыто»²⁹. (Замечание: упомянутая здесь московская газета, исходя из текста, те самые «Московские Ведомости», редактируемые в это время Катковым, позднее создавшим «Русский Вестник», и с которым впоследствии сблизился Достоевский.) В этой же статье помещено известие не только о редакционной работе Достоевского, но и о его литературной деятельности. Характеристика «Записок из мертвого

²⁷ Herten Sándor „a híres orosz menekült, ki engesztelhetetlen ellenszenvvel az orosz aristocratia s kormány iránt, évek óta küzd a gyökéres reformok érdekében. . . .” (Александр Герцен «известный русский эмигрант, который с непримиримой антипатией к русской аристократии и правительству уже годами борется за проведение коренных реформ».) Sz. Reviczky: Oroszország jelen belviszonyai. (Современное внутреннее положение в России.) *BSzle.* 1862. 428.

²⁸ Az orosz hírlapirodalom. (Русская публицистика.) (*Külföldi Szemle*) *Koszorú*, 1863. 333.

²⁹ M. Szeghy: Az újabb orosz irodalom. (Nouvelle phase de la littérature russe. Par A. Herten, Bruxelles et Gand, 1864.) *BSzle.* 1867. 260.

дома» метка и точна: «Ужасный роман; автор гремящей цепями рукой описывает фигуры товарищей-осужденных, кажущихся фресками Микельанджело из круга привычек сибирских рабов»³⁰. В обзоре на основании герценовских статей, Достоевский оценивается с большой симпатией, его деятельность в это время еще не имеет тесной связи со славянофильским направлением. Герцен тоже видит в нем в первую очередь жертву деспотизма и этим его судьба и деятельность вызвала сочувствие у нас, где славянофильские взгляды рано или поздно будут являться союзниками опасных для Венгрии политическими и внешнеполитическими последствиями стремлений. Характеристика группы в 1862-ом году еще не отражает этих опасений: «Особого внимания заслуживает партия друзей славян, славянофилов. В Петре Великом эта партия видит злого духа России, фальсифицировавшего процесс развития национального духа, смешав его с германизмом. Их желания направлены только на сохранение древних национальных обычаев, учреждений государственного порядка, они обращаются в глубь прошедших веков, вскрывая все те детали, которые рождены созидающей силой национального гения и являются залогом надежности верности, преемственности в развитии и истории»³¹. Таким образом, славянофильское движение в глазах «Будапештского Обозрения» пока что считается соратником не панславянской агитации с балканской ориентацией, а соратником национального гения, выступающего против «германизма», эволюционистским («преемственность в развитии и истории»), поддерживающим «древние национальные обычаи» схожим с кружком Кеменя направлением.

Правда, цитируемые здесь статьи в большинстве случаев заимствования, переводы, выписки из немецких или французских источников (как и в первых годовых комплектах «Будапештского обозрения» статьи о Гюго, Диккенсе, Бальзаке, Беранже), тем не менее в этих сообщениях проступает некое приятие и отождествление. Поэтому ошибки и искажения только частью можно поставить в вину венгерским авторам. Например, картина, которую дает Ласло Арань о развитии русской литературы, является односторонней и неполной³². О русском сентиментализме здесь нет и речи, Карамзин упомянут только как историк, вызывают сомнения и указания на народность Державина и «шиллеровский» характер Жуковского³³. Те превратные толкования, которые восходят к немецким источникам, не имеют особой значительности, тем более значительно принятие толкования герценовской интерпретации «Евгения Онегина». Соответственно этому толкованию Онегин «скачет и видит, что он совершенно

³⁰ там же, 267—68.

³¹ Sz. Reviczky: Указанная статья, 433.

³² László Arany: Указанная статья, 248—250.

³³ Интересно отметить, что через год после появления эссе Ласло Араня о Лермонтове *Koszorú* публикует «Оду» Державина в переводе П. Куна, которую едва ли можно назвать народной:

„Te, távolabb a végtelennél!
Te, porrezegtető erő!
Öröklény az idők folyásán,
Alaktalan személhető.
Te az élő csirának lelke,

лишний (...), неприспособленный, чужой в кругу семьи и чужой на родине, не желал делать плохого, не умел делать хорошее, хотя все испробовал, в конечном счете ничего не делает»³⁴. Это является повторяющимся утверждением русской левой прогрессивной литературной критики, а именно, что Онегин тип «лишнего человека», не находящего себе места в обществе: «Он брался за все, но бросал; чем больше думал, тем меньше делал; в двадцать лет — старик, начав стареть — любовью молодеет»³⁵. Такое толкование укореняется у нас вместе с положительными и отрицательными последствиями и с одной стороны инспирирует общественную значительность «лишних» людей романа в стихах, с другой стороны отводит на задний план метафизические глубины пушкинского образа и новаторства, связанные с жанром «Онегина». (Этим частично можно объяснить то большое значение, которое имел «Онегин» на венгерский роман, начиная с «Белы Калозди» и «Мечтателя мечт» вплоть до Круди).

Анализирующие рецепцию не обращали внимания не только на возможные искажения информации, полученной из заграничных источников и её последствий, но и на значение непосредственного контакта с русским языком. Довольно известным фактом является, что прочитанный Берци на немецком языке «Онегин», побудил его выучить русский язык, в чем ему помогло его северо-венгерское происхождение и знание словацкого языка. Мы встречаемся со многими признаками прочтения им «Онегина» на русском языке. Уже в 1863 году в «Венке» в связи с заглавием отрывка он пишет: «Русские приблизительно такими буквами передают и произносят имя Онегин, как Анегин»³⁶. В усвоении русского произношения, ему, вероятно помог «преподаватель славянской литературы пештского королевского университета, господин Йозеф Ференц», о котором он с благодарностью вспоминает в предисловии к «Онегину»³⁷.) Знание русского языка дает Берци возможность понять некоторые особенности жизни русского народа (масленица, квас), передать настроение и дать предметное объяснение, а также исправить на основе оригинала неточности у Боденштедта. Так например, во 24. строфе второй главы он дает оригинал пушкинского текста и не повторяет пример Боденштедта, который в первых восьми строках

Okozat, s térnélküli, Te,
 Ki előtt tudomány nincsen!
 Ki megtöltöd a mindenséget,
 Teremtéd, fenntartod, véded,
 Kit mi így nevezünk: Isten!"

Koszorú, 1865. 251—52.

³⁴ M. Szeghy: Указанная статья, 237.

³⁵ там же, 238.

³⁶ Mutatvány Puskin „Onégin Eugén” verses regényéből. (Отрывок из романа в стихах Пушкина «Евгений Онегин». С русского К. Берци.) *Koszorú*, 1863. 486—489.

³⁷ Anyegin Eugén. Regény versekben. Írta Puskin Sándor. Oroszból fordította K. Bérczy. Pest, 1866. («Евгений Онегин». Роман в стихах. Сочинение Александра Пушкина. Перевод К. Берци.) *Kiadja a Kisfaludy Társaság. Előszó VII. (Предисловие VII.)*

строфы переводит пушкинские замечания данные в конце страницы³⁸. В других местах он исправляет его неточности и поясняет свои исправления в обширном комментарии, помещенном в «Венке»³⁹. Его перевод «Онегина» нужно считать

³⁸ Mutatvány Puskin „Onégin Eugén” verses regényéből. *Koszorú*, 1863. 511. (Отрывок из романа в стихах Пушкина «Евгений Онегин».)

³⁹ „nem hagyhatom említetlenül azokat a helyeket, melyeken Bodenstedt egészen a költő intenciója ellenére cselekedett. Ilyen a fejezet utolsó két versszaka. Ezekben Puskin, mint mindenütt, hol önmagáról szól, szerényen és szokott humorával nyilatkozik. „Nem hírnévért él és ír ő” — úgy mond, s csak annyit kíván, hogy „róla mint jó barátáról” emlékezzenek. Bodenstedt ezzel merőben ellenkezően így fordít: («не могу не упомянуть те места, в которых Боденштедт поступал совершенно против желания поэта. Это две последние строфы главы. В них Пушкин, как обычно, когда говорит о себе, выражается скромно и со своим обычным юмором: “Живу, пишу не для похвал”. Поэт желает только, чтобы о нём помнили так: “чтоб обо мне, как верный друг”. Боденштедт переводит это совершенно противоположно:)

„Nach Ruhm des Tages streb'ich nicht,
Doch hätt' ich gern durch mein Gedicht
Ein dauernd Denkmal mir errichtet,
Dass man des Dichters nicht vergisst,
Wenn auch sein Staub begraben ist!“

A ‚dauernd Denkmal’-ról az eredetiben szó sincs: az utolsó négy sor egészen B. tollából származott, valamint a következő versszak négy első sora is; míg a többiben hibás a felfogás: (O ‚dauernd Denkmal’ в подлиннике нет и речи: последние четыре строчки вышли из-под пера Б, как и первые четыре строчки следующей строфы; в других же ошибочное понимание):

„O, rührte ich durch meine Dichtung
Einst einen mir verwandten Geist,
Der meine Lieder der Vernichtung,
Mich der Vergessenheit entreißt!
Vielleicht — Gedanke voll Entzücken! —
Wird mich der Zukunft Lorbeer schmücken,
Dass man vor meinem Bilde steht,
Und sagt: ‚Ja, das war ein Poet!‘
Euch reich' ich dankbar meine Rechte:
Dir — den mein Lied mit dir verband,
Und dir — das Liebevolle Hand
Mich wahrt dem kommenden Geschlechte,
Und dir des Greises Lorbeerkranz
Fort grünen lässt in frischem Glanz.“

E német versszakot az én fordításommal, amely csaknem sorról sorra hű az eredetihez, összehasonlítván kitűnik, hogy Bodenstedt a hírnév legkomolyabb vágyát adja Puskin tollába, ki — B. szerint — azt reméli, hogy a jövő kor majd azt mondja arcképe előtt: Ja, das war ein Poet! — holott Puskin legtávolabb az ily exegi monumentum féle nagy szavaktól: gúnyos humorában, mellyel az összes társadalomról szól, önmagát is befoglalja, és saját halhatatlan nevével s ennek jövőkori tudatlan vagy bárgyú (будучи невежда) dicsőítőjéről könnyű gúnnal emlékezik.” *Koszorú*, 1863. 514. («Сравнивая эту строфу на немецком языке с моим переводом, который в каждой строке верен подлиннику, мы видим, что Боденштедт приписывает Пушкину серьезное желание известности, славы, и который, по мнению Б., надеется, что будущее скажет перед его портре-

том: Ja, das war ein Poet! — тогда как Пушкин совершенно далёк от таких высоких слов exegi monumentum: в оправу своего насмешливого юмора, с которым он говорит обо всём обществе, он включает и себя, и о своём бессмертном имени и о невежественном (будучи невежда) и тупом будущем прославителе говорит с лёгкой насмешкой».) Перевод Берци и русский оригинал даёт точную ориентировку относительно цитируемого немецкого перевода-интерпретации:

Nem hírért élek, írok én,
De sorsom dicsóíteném
Ha ez jutalmat annyit adna:
Hogy egykor, mint hú cimborát,
Említne egy-két jóbarát.

XI.

S ha tán a végzet kedvezése
Fenntartaná e költeményt
S a Léthe habja nem nyelné le
Feledség bús zsákmányaként:
Lehet — ó szívem szép reménye!
Hogy a jövő kor bárgyú lénye
Arcképem előtt felsohajt
S 'Ez nagy költő volt!' — mondja majd.
Mély bókomat fogadd előre
Múzsáknak tisztelője te!
Kinek kegyekben dús keze
Örök borostyánt tűz e főre,
S ki — míg dicsőként emleget,
Halhatlanítja nevemet!

Живу, пишу не для похвал:
Но я бы, кажется, желал
Печальный жребий свой прославить,
Чтоб обо мне, как верный друг,
Напомнил хоть единый звук.

XI

И чьё-нибудь он сердце тронет:
И, сохранённая судьбой,
Быть может, в Лете не потонет
Строфа, слагаемая мной:
Быть может (лестная надежда!),
Укажет будущий невежда
На мой прославленный портрет
И молвит: то-то был поэт!
Прими ж мои благодаренья,
Поклонник мирных аонид,
О ты, чья память сохранит
Мои летучие творенья,
Чья благосклонная рука
Потреплет лавры старика!

(не считая мелких ошибок) во многих случаях более адекватным даже по сравнению с Априли переводом, более соответствующим эпохе текстом⁴⁰, и объяснение этому нужно искать в его непосредственном обращении к тексту. (Это не значит, что перевод с оригинала в любом случае лучше перевода, сделанного через посредство другого языка. Ласло Галди прав, замечая, что «близкий Лермонтову по духу Ласло Арань, несмотря на известную посредническую роль Боденштедта, часто точнее улавливает отношение лермонтовской формы и содержания, чем позднее такие опытные переводчики»⁴¹.) Своеобразие качественного изменения, которое вносит перевод с оригинала, подтверждает наряду с переводом тургеневской «Встречи», опубликованный в «Венке» перевод стихотворения Лермонтова «Ангел»⁴². (Перевод Густава Дене не только абсолютно верен тексту, но и в совершенстве передает структуру строфы, количество слогов и даже размер стиха⁴³.)

Политический, общественно-исторический и литературный фон рецепции

Статьи не непосредственно литературного характера, опубликованные в «Будапештском Обозрении», тоже служат дополнением к политическому и общественно-историческому фону русской рецепции. Характерна статья Севера Ревизки «Современные внутренние отношения в России», где он пишет: «Это строго охраняемое государство (...) было мало знакомо нам из-за его рас-

И Берци совершенно прав в том, что Боденштедт ошибается в содержании и тоне всей строфы. Хотя и мелким, но достойным упоминания моментом в комментарии Берци является так же то обстоятельство, что он, для доказательства своей правоты, цитировал Пушкина на русском языке, передав его латинскими буквами в журнале Араня.

⁴⁰ В период схематизма имела место привычка осуждать перевод Берци, как таковой, который рафинирует, покрывает бидермайеровым лаком шедевр Пушкина и сочувствует «бездельнику» Онегину. А. Komlós: Puskin a magyar irodalomban. (Пушкин в венгерской литературе.) *Filológiai Közöny*, 1955. 3. 335—37.

⁴¹ L. Gáldi: Lermontov versművészete magyar köntösben. (Стихотворное творчество Лермонтова в венгерском обрамлении.) In: *Tanulmányok a magyar—orosz irodalmi kapcsolatok köréből*. В «Очерки о русско-венгерских лит. связях». I. Bp. 1961. 409.

⁴² „Angyal lebegett az éjben alá

S halk énekeit dalolá.

Hold, csillag, a felle a boltozaton

Merengtek a szent dalokon.”

Angyal (Ангел) по Лермонтову, перевод с русского Г. Дене *Koszorú*, 1864. 543.

⁴³ По небу полночи ангел летел

И тихую песню он пел:

И месяц, и звёзды, и тучи толпой

Внимали той песне святой.

Сравнив перевод с оригиналом, можно заметить, что только в первой строфе вместо анапеста стоит спондей — впрочем, по всем правилам. Кстати, переводчик на самом деле во всех моментах передаёт ритмическую формулу оригинала.

стояний и его громадности»⁴⁴. Таким образом начало статьи подчеркивает непреодолимость расстояний и отчужденность. Следующее вскоре за этим замечание дает понять, что самому автору и читателям должно быть ясно, что и Венгрия и Россия находятся в схожей, близкостоящей фазе развития: «Современная Россия во многом похожа на Францию накануне событий 1789 года и в тот же момент процесса преобразования»⁴⁵.

В середине XIX века неотложные задачи гражданских преобразований занимали как русские так и венгерские общественные умы. Разделение дворянства, его роль, играемая в проведении в жизнь реформ, указывает на схожую с венгерским положением картину, в связи с реформой о раскрепощении крестьян: «Послание царю от тверских дворян в 1859 году, и более позднее послание от 1862 года говорит о желании дворянством конституционности. Молодое поколение дворян с симпатией встало на сторону раскрепощения и не дожидаясь конца данного указом царя двухгодичного срока, поставило своих крестьян в самые выгодные условия. Но старая аристократия, закоренелая в своей консервативности, делает все, чтобы царский указ от 5 марта 1861 года никогда не вошел бы в жизнь»⁴⁶.

Обзорная статья Миклоша Сеги, основывающаяся на работах Герцена, рисует тревожную картину русских политических отношений 1860-го года. Мнимо либеральный царь Александр Второй задушил движение, симпатизирующее полякам и считающие себя либералами министры установили более сильный террор, чем царь Николай. («Современник» был запрещен, Чернышевский сослан.) Мало того, даже гнев простого народа удалось направить против левых резолюционеров тем, что было объявлено: петербургский пожар 1862 года устроили атеистические анархисты, студенты-нигилисты. Таким образом из России поступают такие вести, которые (по своему угрожающему, проводящему в сознание характеру) способны расширить опыт кружка «Обозрения».

Десятью годами раньше Жигмонд Кемень противопоставил и дал сравнительный анализ политики Николая I и Александра II, однако он (следуя своей привычке) в первую очередь обращал внимание на русскую внешнюю политику, разбирая дипломатические последствия объединения румынских княжеств⁴⁷.

Из-за растущего балканского влияния России не только недоверие и страх растут среди венгерских мыслителей, но и любопытство и интерес. Например, в отделе очерков и фельетонов «Пештского Журнала» долгое время публикуются петербургские путевые заметки Фридеша Подманицки: «Характерная черта русских — грубость, но нужно признаться, что среди необразованных классов имеет место доброта, ханжество и пьянство»⁴⁸. Такие и тому подобные характеристики стремятся к объективности, мало того как будто ищут соединяющие, приближающие моменты. (Обозреватель русского ежегодника Рус-

⁴⁴ Sz. Reviczky: Указанная выше статья, 420.

⁴⁵ там же, 421—22.

⁴⁶ там же, 430—31.

⁴⁷ Zsigmond Kemény: Politikai szemle (Политическое обозрение.) *BSzle.*, 1857. 143.

⁴⁸ *Pesti Napló*, 1852. dec. 15.

ского Географического Общества Й. Х. курсивом выделяет «Письмо венгерского путешественника Регули к Кеппену от 22-го января 1847-го года»⁴⁹; в более широком смысле вопрос о финно-угорском родстве и прародине повышает восприимчивость относительно русского народа и его страны.)

Естественной базой создания связей могли служить венгерские русины (закарпатские украинцы). Хотя Габор Казинци хвалит их в ущерб русских так: «В то время как северяне-русские холодны, угрюмы, коварны, не имеют вдохновения, русины, как и поляки жизнерадостны, открыты, лиричны душой и телом со своими народными песенными сокровищницами, поэтическими преданиями, полными задушевности, нежности и часто чудесно пленительной мечтательной боли»⁵⁰. Причиной этого является то, что работа польского автора, которому он следовал, по всей вероятности написана в духе сильной враждебности по отношению к русским. «Венок» занимается фольклором этой же группы народов. Эта статья считает закарпатских украинцев в основном относящимися к той группе, что и русские, и через них, и их народные песни стремится преодолеть враждебность по отношению к русскому народу, отделяя человеческую жестокость политического строя от душевного облика народа, выражающегося в народных песнях: «В венгерской литературе не было еще показано ни одного духовного создания этой расы народов, хотя сборник Лехоцкого показывает, что они имеют здоровый образ мыслей, и в размышлениях много живости-свежести, шутки, мало того — иронии и насмешки. Вообще, в русском народе, понимая под этим жителей русской империи, которых мы, венгры, ближе узнали за полтора десятка лет в их звериной грубости, и которых привыкли видеть в последнее время в юмористических журналах в образе бесформенного, громадного, бесчувственного, неуклюжего существа с плетью о девяти концах, в обученных же плетью бедных крестьянах бедняках, когда они у себя дома, у доверительного очага, есть и ловкость и весёлость и находчивость»⁵¹. Поскольку автор делает различие между народом и политической властью, поскольку выказывает недвусмысленные признаки симпатии и интереса, постольку эту статью неизвестного автора можно считать одной из предшественниц позднейшей русской литературной моды.

Помощниками литературных связей являются те типологические зависимости, родство таких условий жизни и состояния литературы, которые делают различные импульсы знакомыми, способными ассимилироваться.

Несомненно, что «Россия с ее тривиальной жизнью, разоряющимися поместьями, праздным, грубым или же иногда с достойным лучшей участи дворянством, задавленными крепостными подействовала на наших писателей

⁴⁹ *Irodalmi Szemle*: Н. J.: Az Orosz Földirati Társulat emlékiratai. (Записки Русского Географического общества.) I—X. 1849—55. *BSzle.*, 1858. 255.

⁵⁰ Gábor Kazinczy: A ruszinok. (Egy lengyel kéziratból közli.) (Русины. Из польской рукописи.) Új Magyar Múzeum. 1855. I. 212—3.

⁵¹ Magyar—orosz Népdalok. Gyűjté s fordítá Lehoczky Tivadar. Kiadja Erdélyi János. (Венгерско-русские народные песни. Собрал и перевёл Т. Лехоцки. Издатель Янош Ердеи.) Sáros-patak. *Koszorú*, 1864. 402.

как картина неожиданно открытого родственного мира»⁵². Схожесть венгерского и русского положений была и раньше, но в годы реформ отдельные вестии о русской литературе не могли вызвать серьезного интереса.

(И в пятидесятые годы были случайные моменты оживления рецепции⁵³, восприимчивость и тогда была довольно умеренной, на что наряду с другими фактами, указывает также тот факт, что сделанный Дюлаи в 1857-ом году перевод из Лермонтова был опубликован только в 1862-ом году⁵⁴.) После поражения освободительного движения выражается резкая антипатия к царскому самодержавию. Частично это является основой почитания Герцена, о котором пишут с настоящим восторгом: «Сила Герцена в России чрезвычайна. Он является настоящим диктатором нового поколения, его моральный авторитет выше авторитета правительства. Богатый силой и страстью писатель, соединяющий красноречие с насмешкой; Россия внимает его словам как голосу апостола»⁵⁵. Ласло Арань тоже тепло отзывается о нем⁵⁶, и наряду с часто цитируемой статьей Миклоша Сеги, статья Ференца Шаламона, опубликованная уже в середине 50-ых годов, тоже связана с Герценым⁵⁷. Венгерские либеральные представители пассивного резистанса сочувствовали русским писателям не только в вопросе морального клеймения государственного гнета, но и, исходя из аналогичности положения были согласны с мнением о возросшей роли литературы: «В России, где за отсутствием организованности вся общественная структура соединяется в безграничной власти, литература призвана восполнить всё»⁵⁸. Но солидарность членов кружка Арань—Ченгери с русскими левыми оппозиционными писателями нигде не переходит этих границ.

Ведь в период Баха усилия были направлены на национальное единство, завоевание аристократии, на ее присоединение в интересах национального дела. Корифеи русской литературы почти все аристократы или по крайней мере дворяне. Итак, боящийся плебейского движения кружок Ченгери видел в них

⁵² A. Komlós: Puskin a magyar irodalomban. (Пушкин в венгерской литературе.) Указанное выше место, 334.

⁵³ Возможно играло роль то обстоятельство, что замечательный переводчик и пропагандист русской литературы Боденштедт написал предисловие к немецкому изданию 1857 года стихов Петефи в Лейпциге.

⁵⁴ A szerkesztő, olvasó és költő. Lermontoff Mihálytól (Редактор, читатель и поэт. От М. Лермонтова.) (Pál Gyulai) *Szépirodalmi Figyelő*, 1862. 166—69.

⁵⁵ Sz. Reviczky: Указанная выше статья, 428—29.

⁵⁶ „Egyike az orosz irodalom legbuzgóbb ismertetőinek s ítéseiének Nyugat-Európában. Jelenleg Londonban szándékozik az orosz írók jelesbjeinek teljes és censura-hézagtól ment kiadását megindítani.” («Один из самых активных рецензентов русской литературы в Западной Европе. В настоящее время он намеревается издать в Лондоне знаменитых русских писателей без цензурных поправок».) László Arany: Указанная выше статья, 269.

⁵⁷ F. Salamon: A jelenkor irodalmi. (Литературы настоящего времени.) *Budapesti Hírlap*, 1855. Цитирует Ж. Д. Зёлдхейн: Néhány magyarországi Gerzen-nyom az abszolútizmus korában. (Несколько упоминаний о Герцене в Венгрии в период абсолютизма.) *Filológiai Közlöny*, 1956. 4. 470—71.

⁵⁸ Sz. Reviczky: Указанная выше статья, 427.

не антипатичную разновидность органического развития, культурного и общественного прогресса, возглавляемую дворянством. Этот кружок ищет и находит литературное соответствие своему принципу, по которому, развитие должно происходить без революций и сотрясений, в творчестве Араня и Кеменя ищет и находит предшествующие этому моменты в международной литературе и примеры в английской и русской литературе. Сотрудники «Обозрения», в соответствии с положением после подавления резолюции стремятся выработать новый порядок ценностей: «Мы научились сомневаться и стали более холодными. Мечтательно смотрим в прошлое и как будто боимся будущего, наша уверенность в собственных силах колеблется. Мы чувствуем, что во времени много разрушающих и мало созидających сил. Но это не бесчувственность и не бессилие. Прошел перед нами свет многих планет, которых мы считали звездами, но свет нашей северной звезды и через темноту доходит до нас. Наше сердце не выгорело, хотя и глубоко ранено, у нас есть силы, чтобы, стремясь к самопознанию, информировать себя и, стараясь удержать то, что имеем, прокладывать путь для дальнейшего развития»⁵⁹. После крушения политических и литературных стремлений сороковых годов на основании указаний Кеменя и Ченгери, деятельность которых направлена на реорганизацию, появляются новые нормы, новые требования. Ференц Шаламон открыто заявляет о том, что не в Петефи национальная поэзия достигла своего апогея⁶⁰, для выработки народно-национальных принципов стремящихся освободиться из-под его влияния, для укрепления новой литературной системы норм находят основу и указания в некоторых шедеврах русской литературы.

Русская литература как аргумент в пользу народно-национальной концепции

На основании политических отношений пятидесятих годов можно сделать вывод, что кружок Араня—Ченгери считает национальный вопрос главным вопросом, и все его литературные суждения зиждятся на этой концепции. Кружок, например, осуждает Гете за то, что тот был равнодушен к немецкому национальному вопросу⁶¹; самым главным препятствием в русском развитии кружок считает тоже отведение национального элемента на задний план: «в течение шести поколений они следовали такому приказу Петра I: перестань быть русским и получишь заслуги перед родиной, когда приобретешь необходимое образование и вполне онемечишься, царь тебя одарит и ты станешь господином»⁶². Разжигающий дух национального сопротивления кружок «Обозрения», ведущий борьбу против онемечивания и борьбу за сохранение национальных черт, все свои литературные воззрения ставит на службу этой борьбе.

⁵⁹ Pál Gyulai: Nemzeti Színház és drámaírodalmunk. (Национальный театр и наша драматургия. *BSzle.*, 1857. 126—7.

⁶⁰ F. Salámon: Petőfi Sándor újabb költeményei. (Новые стихотворения Шандора Петефи.) *BSzle.*, 1858. 502—16.

⁶¹ D. Tóth: The life and works of Goethe... *BSzle.*, 1858. 491—501.

⁶² M. Szeghy: указанная выше статья, 231.

(Эта направленность устанавливает и место акцентирования рецепции, что мы видим в очерке Л. Араня о Лермонтове, где он возвеличивает патриотическую поэзию и в особенности стихотворение «Родина».) Но он проповедует не только несогласие и отгораживание. «Последний хозяин старой усадьбы», а до этого, Кемень уже указывал на опасность отрицательной сущности пассивного резистанса.

Интерес к русским произведениям повышался тогда, когда в них имелся аналогичный конфликт, как например, в случае одного из рассказов Соллогуба: «Мы часто упрекаем немцев за то, что они все время стараются заполучить на святой Руси тепленькое местечко, и получают как раз именно то, что мы имели своей целью. — Но в этом разе не мы сами виноваты? Они непрестанно торопят, мы же запускаем свои дела, они ненасытно и неустанно стараются, мы же готовы одним дуновением погасить все свое пламя и потом всю жизнь хвалиться этим. Поэтому не чудо, что они превзошли нас на дороге гражданской жизни и разбирают у нас на глазах места и должности, которые нам особенно желалось получить»⁶³. Мы здесь узнаем мысли Кемени и Дюлаи, которые беспокоятся о национальном характере венгерского обуржуазивания. Стремления, бичующие пассивность венгерской аристократии и направленные на буржуазные преобразования на дворянско-национальной основе, конкретизируются в некоторых моментах русской рецепции.

Идеалом кружка является английская и русская литература органически развившиеся на народно-национальной основе. Статьи о русской культуре проникнуты уверенностью, что именно национальный гений поднял так высоко русскую литературу XIX века. Почти все вопросы исследуются ими с точки зрения сохранения национальной целостности. Даже тогда, когда речь идет об истории русской церкви, в связи со статьей Эдинбурга Ревью, делается вывод: «Освобождению из-под чужого ига Россия обязана своей национальной церкви»⁶⁴. Ласло Арань говоря о русской системе воспитания, так бичует её анациональность: «Эта система воспитания у русской аристократии имела такую же форму, как и у нас уже тогда и особенно тридцать-сорок лет назад во времена Марии Терезии: обучать детей всему, только не родному, заботиться о том, чтобы они два-три европейских языка знали лучше, чем тот, который должен был бы впитаться ими с молоком матери — это были главные правила»⁶⁵. В глазах кружка Араня—Ченгери русское историческое и куль-

⁶³ A gyógyszerészné Szollogub gróftól (oroszból) Brassai fordítása («Аптекарьша» графа Соллогуба, с русского, перевод Брашшаи.) SzF., 1862. 58.

⁶⁴ D. Tóth: Az orosz egyház történelme Muravieff-től. Angolra átfordítá Blackmore R. V. (История русской церкви Муравьева. Переведено на английский язык Р. В. Блекмуром.) Oxford, 1842. — A Szent Keleti Egyház történelme Mason Neale Jánostól. Általános bevezetés és alexandriai patriarchátus 4. kötet, London 1848—51. (История православной церкви Яноша Мазона Нила. Общее введение и александрийский патриархат, том 4.) Értekezések az Orthodox, vagy Keleti Katholikus Községre vonatkozó tárgyak felett. Palmer Vilmostól. London 1853. (Трактаты о православной, или о Восточной католической церкви В. Пальмера.) Pápai agressio Keleten, vagy a keleti egyházak protestantizmusa, Edinburgh, 1856. stb. (Папская агрессия на Востоке, или протестантизм православной церкви.)

⁶⁵ László Arany: указанная выше статья, 242.

турное развитие служит доказательством выдвижения самостоятельного национального принципа. Как предисловие к этому уже в издании 1842-го года «Сборника наук» мы читаем о Пушкине, что в его лице выступила автономная национальная поэзия: «Его дух охватил все элементы русской жизни, настоящее и будущее, народную боль и радость, славу, верность трону и юмор»⁶⁶. Когда Юлиан Шмидт, один из знаменитых немецких критиков, написал критику на сборник стихов Петефи, изданный в Лейпциге на немецком языке, еще более стала актуальной проблема национальных литератур. Дело в том, что Шмидт утверждал, что Петефи берет свой размах у немецких, французских и английских поэтов: «Хотя б получил он у себя на родине самое большое признание, тем не менее должен был с горечью чувствовать, что полученный задаток остался неоплаченным им и его интеллигентность и вкус не принесли почта его нации, как в случае предшественников»⁶⁷. Правда, в дальнейшем (по сообщениям «Обозрения») Ю. Шмидт много раз ставил Петефи выше Гейне, но вопрос об оригинальности и уровне относительно мировой литературы продолжал беспокоить венгерское общественное мнение.

С большим вниманием разбирался ими вопрос об отношении самобытности и влияния мировой литературы в связи с Пушкиным: «Особенно было поразительным его родство звучания и манеры с Байроном, и вместе с тем та первобытная самобытность, с какой он всем словам сообщает чисто русский национальный характер». И позднее: «корни его уходят в родную землю и творчество его — подлинное поэтическое отражение веры и ошибок, истории и сказов, обычаев и слабостей народа»⁶⁸. Изложение Берци точной характеристики «Онегина» идет по двум тенденциям под знаком системы норм и вкуса национального классицизма, названного так Яношем Хорватом. С одной стороны принятый с восхищением «Онегин» расширяет рамки национального классицизма, с другой стороны и «Онегина» читают таким образом и видят в нем только то, как и что для них в нем приемлемо.

«Онегин» является первой поэмой чисто национального направления и вкуса; и хотя она содержит кучу насмешек относительно русского общества и русских условий; но это прощают поэту, который достаточно доказал, что пламенно любит свою родину, что он русский душой и телом и что насмешка и гнев — выражение его любви»⁶⁹. Исходя из такого же образа мыслей «прошала» кружок Дюлаи—Ченгери цинизм и горький тон «Глупого Иштока» или «Героя миражей», рожденный насмешкой и гневом, т. к. считал чувство национальной ответственности и патриотический образ мыслей их авторов бесспорным. В том, что кружок поступал именно так, крупную роль по всей вероятности сыграл «Онегин» и такая его критическая интерпретация. (Характерно, что к первой песне «Глупого Иштока» литературное общественное мнение стало тогда снисходительным, когда в начале шестидесятых годов «Онегин» стал более известным в широких кругах.) Сам Пушкин, споря с аналогичными

⁶⁶ цитируется Дердь Радо. См. упомянутую выше статью, 180—1.

⁶⁷ *BSzle*, 1858. 309.

⁶⁸ K. Bérczy: *Előszó* (Anyegin Eugén, Pest 1866.) III. (Предисловие. Евгений Онегин.)

⁶⁹ Там же. VI.—VII.

Ю. Шмидту суждениями, становится примером того, что критерием величия является степень выражения национального духа: «С ним, которого можно назвать истинным поэтическим выразителем народа; во всех произведениях которого звучит национальный дух, национальный характер; в крупных произведениях которого все государство увидело себя словно в поэтическом зеркале, со всеми своими недостатками, достоинствами, слабостями; который легкой и точной рукой нарисовал образы, в которых все узнали чисто русские характеры, и воспеты которым чувства близки каждому русскому»⁷⁰. Эта характеристика, которая в такой большой мере совпадает с характеристикой, данной Дюлаи, Петефи, является аргументом в пользу суверенитета венгерской литературы, её оригинальности, исходящей из своеобразности характера, и её величия, помогает определению народно-национального принципа отечественной литературной концепции.

Берци, в связи с одним из отрывков из «Онегина» помещенным в «Венке», с большой симпатией указывает на одно из замечаний Пушкина, где говорится о том, что «Имя Татьяна является одним из самых простых имен, которое не встречается среди знати и в романах. Отсюда выпады поэта против ложной образованности, которая не принимает народного и восхваляет знатность»⁷¹. Нормы ценностей, близкие кружку Араня и отражающие привязанность к старине, к народу, к простоте и национальности, сделали привлекательным и «Большой свет» Соллогуба, в котором это непосредственное всего звучит в жалобе старой няньки: «Всю свою жизнь я прожила в деревне, среди своих, по своему и вот, батюшка, меня сюда притащили в Петербург в большой барский дом, где всё иностранное. И меня хотели одеть в немецкие одежды. Не обращают внимания на мои старые годы»⁷².

Арань, который находил мало успокаивающих примеров в современной ему западной литературе тому, как перерастает народное в национальную и всеобщую литературу, охотно помещает в «Венке» русские народные песни⁷³. В оправдание этих своих действий он часто приводит Пушкина, который не считал ниже своего достоинства сочинять сказки, и эта частая ссылка на пушкинские сказочные произведения показывает, что родственным образом развивающаяся русская литература, не столько инспирирует, сколько помогает бороться с сомнениями, укрепляет. Точку зрения кружка Араня—Ченгери на это полнее всего выразил Ласло Арань: «Пушкин за темой обратился к живому народу, в хате крестьянина-бедняка, взял под своё покровительство неприятельные, презираемые народные сказания и так поэтически переработал их, вылил их в такой чистый и народный и вместе с тем художественный образ,

⁷⁰ K. Bérczy: Puskin Sándor. Irodalomtörténeti és életírói vázlat (Anyegin Eugén Pest, 1866.) XXIV. (Александр Пушкин. Очерк творчества и истории литературы.)

⁷¹ *Koszorú* 1863. 511.

⁷² Előkelő világ (Orosz beszély. Gróf Szollogubtól) (Большой свет. Русская новелла графа, Соллогуба.) *SzF* 1861. 666.

⁷³ Az ifjú harcba indul (Orosz népdal Wenzig után) *Koszorú*, 1864. 421.

Народная песня, переведённая Белой Сасом, по своей балладной интонации и сжатости могла быть также привлекательной,

как никто, нигде и никогда до него; Лермонтов же обратился к старым временам, в боярский прекрасный век, оттуда почерпнул свою тему, и в их духе, на гусли чистыми словами пропел свои песни»⁷⁴.

В одном из ранних очерков о Лермонтове имеется намек на то, что пример русской литературы вмешивается в такой настоящий спор, какой образовался вокруг творческой манеры, свойственной Араню, и вообще вокруг правомочий народно-национальной эстетики и ее модерности. Анализируя «Песню про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» Лермонтова, Л. Арань пишет, как писал бы об одном из произведений своего отца: «Он как будто подсмотрел у кобзы бродячего певца эти звуки, настолько они верны, просты и величавы. В этом произведении Лермонтов превзошел самого себя, Пушкина, и её русскую литературу. В наших журналах недавно обсуждался вопрос: подражая наивным сказаниям находящихся в детском возрасте народов, можно ли создать произведение, отвечающее самым высоким требованиям критики? Сомневающиеся, обратите свои взгляды на эту «Песню». Чисто русский дух чувствуется в ней, но любой сын другого народа поймет, почувствует всю её красоту, весь облик её простоты»⁷⁵. Кружок Араня—Дюлаи, который все чаще вынужден был защищаться в интересах защиты своих народно-национальных взглядов по праву ссылается на примеры из более ранней русской литературы. Однако, в какой мере ассимиляция «Онегина» расширяла жанровые границы и миропонимание этой группы, в такой же мере ссылка на народность Пушкина и Лермонтова являлась сужением. Это сопровождалось серьезными ошибками в пропорции и оставлением без внимания шедевров, указывающих вперед. (Л. Арань пренебрежительно отзывается о романе Лермонтова «Герой нашего времени», хотя он является ранним, исключительным примером русского психологического реализма.)

Идеализация и юмор, определяющие концепцию реализма

Второй основной функцией русской рецепции в литературе 50-х, 60-х годов является то, что для кружка Араня—Ченгери некоторые русские произведения служат факторами, действующими против «материалистических» и «аморальных» французских романов и даже против романтизма. Пугаясь некоторых явлений западно-европейского буржуазного развития с одной стороны, побуждая велением угрожающего национального положения с другой стороны, сделали моральный критерий наряду с национальным самым главным пунктом: «В настоящее время все стремления направлены на материальное благополучие. Чего нехватает новому обществу? Я должен сказать, что нехватает морального чувства»⁷⁶. Ференц Шаламон в этом духе осуждает Бальзака, который оскорбляет самые святые чувства (чувственный характер отцовской любви в «Отце Горио»), признает только телесную сторону любви (в «Физиологии

⁷⁴ László Arany: указанная выше статья 273—4.

⁷⁵ Там же. 252—3.

⁷⁶ *Irodalmi Szemle BSzle* 1857. 289—90.

брака»), не ценит женщин, только льстит им⁷⁷. (В этом последнем смысле тоже были привлекательны женские образы русских романов, поэтически нарисованные, и все-таки не бестелесно воздушные, созданные с большим тактом и психологическим чутьем, как Татьяна из «Онегина» или тургеневские героини.) Итак, концепция реализма кружка Араня является редуцированной, поскольку «эффективность реализма и его возможности были ими сужены тем, что из-за боязни общественного радикализма, они отбрасывали некоторые разновидности реализма, например, особенно реализм французской литературы⁷⁸. И так, ими принималась этика без радикализма. Именно поэтому они ставят в вину Герцену, которого глубоко уважают, его «крайности»⁷⁹ и «едкий» язык, поэтому в 50-е годы не имели «эффекта» «Мертвые души» и «Ревизор» с их беспощадно обличающим, сатирическим звучанием. (Проповедующее национальное сплочение время не нуждается в резкой, беспощадной общественной сатире Гоголя, поэтому автор «Шинели» вызывает симпатии только как реалист с сочувствующим юмором изображающий забитость, бесправность маленьких людей.) Когда ими осуждается физиология в творчестве Флобера, т. е. то, что у него «все направлено на нервы, и не на душу»⁸⁰, тогда не их пуританский морализм выступает в первую очередь. (Именно один из самых доверенных людей кружка Карой Сас с понимающей объективностью пишет об развращенности⁸¹ Эдгара По, как об инспирирующем поэзию обстоятельстве, или о распутстве и гомосексуальности⁸² Горация.) Настоящая опасность физиологических воз-

⁷⁷ F. Salamon: Balzac összes munkái. (Полное собрание сочинений Бальзака) *BSzle*, 1858. 411—5.

⁷⁸ V. Németh G.: Arany folyóiratainak világirodalmi tájékozódásáról (Об ориентировании в мировой литературе журналов Араня.) *Itk* 1967. 615.

⁷⁹ В разделе «Иностранный Обзор» о «Колоколе» пишется: „Londonból egész tömegben lopták be az orosz határokra, maga a cár is olvasgatta némely visszaélések és törvénytelenések megtudása végett, melyekről Oroszországban senki sem mert írni. A Harang nagyon jól volt értesülve mindenről, hanem tulságai, harapóssága s az európai forradalmi pártokkal való összeköttetése nagyon aláásták hitelét.” (Из Лондона они целыми массами проникали за русскую границу, сам царь читал, чтобы узнать о некоторых злоупотреблениях и беззакониях, о которых в России никто не смел писать. «Колокол» был хорошо осведомлен обо всём, но его крайности и едкий язык а также связь с европейскими революционными партиями подрывали доверие к нему.)

Koszorú, 1863. 333.

⁸⁰ Salammbó. Francia új regény, írta Flaubert Gusztáv (Французский новый роман, написан Густавом Флобером.)

Koszorú 1863. 117.

⁸¹ „Meggyalázta jöltevdjét, megcsalta barátait, fölládozta kedvesét — koldussá, csavargóvá, nő-becstelenítővé lett —, részegesség miatt örvöngő betegen fetrengett közkórház szalmáján”. (Он опозорил своего благодетеля, обманул друзей, пожертвовал любимой, стал нищим, бродягой, насильником женщин; из-за пьянства в буйном помешательстве он валялся на саломе в общей больнице), но какраз из его морального падения вырастает его меланхоличность и его поэзия. K. Szász: The works of the late Edgar Allan Poe... New York 1857. *BSzle* 1858. 154—5.

⁸² Гораций без своей распушённости „lett volna-e az emberi szív s élet oly mély ismerője?” (стал бы таким глубоким знатоком человеческого сердца и жизни?) K. Szász: Horác (Írói élet és jellemrajz (Писательская жизнь и характеристика) *BSzle*, 1861. 200.

зрений в их глазах заключается в том, что в таком случае личность рассматривается как биологически определенная индивидуальность и этим совершенно исключается ответственность личности⁸³. Чувство общественной ответственности и этика ответственности личности с ужасом смотрят в лицо биологическому детерминизму современного позитивизма и «материализму», которые (как это понимают в кругах «Обозрения») ставят физические радости и наслаждения целью жизни. (По мнению Шаламона таким материалисто-моралистом является Бальзак⁸⁴.) О распространении позитивизма в Европе свидетельствуют сообщения о Фогте, Молешоте, о механических материалистах⁸⁵ и литературное соответствие этому кружок Ченгери видит во Флобере, с ненужной детализацией изображающем внешнюю форму жизни⁸⁶. (Естественно, это не значит, будто они отгораживались от результатов современных естественных и общественных наук: и хотя очерк Эрдеи о Беконе является скорее его биографией, тем не менее он свидетельствует о симпатии к праотцу современного материализма и экспериментальной науки, также как и статья Дюлы Каутца о Сен-Симоне и Фурье⁸⁷.) В противовес непринятым ими французам, Бальзаку и Флоберу, они тянутся к английскому роману, который «намного лучше в отношении художественной структуры и морального направления». Бальзак идеализирует пороки, — пишет Берци в 1858 году, — англичане же черпают свои образы из жизни, изображают не ангелов и чертей а живых людей, действия вытекают из характера действующих лиц. Верное изображение общественной жизни еще и потому близко нам, что наши учреждения (любящий жить в деревне землевладельческий класс «не разбазаривающий симпатии венгерский характер») родственны английским⁸⁸. Это они находят и в русской литературе, и Берци, который вначале был поклонником английской литературы, вскоре становится ретивым пропагандистом русских⁸⁹.

⁸³ В. Németh G.: указанная выше статья, 613.

⁸⁴ F. Salamon: Balzac összes munkái (Полное собрание сочинений Бальзака) *BSzle* 1858. 408—11.

⁸⁵ A filozófia újabb iránya Németországban (Новое направление философии в Германии.) *BSzle*, 1858. 365—9.

⁸⁶ Salammbó. Francia új regény... (Французский новый роман...) указанная выше статья, 116.

⁸⁷ J. Erdélyi: Verulami Baco *BSzle*, 1861. 353. Gy. Kautz: A socialismus és communismus rendszerei (Системы социализма и коммунизма.) *BSzle*, 1861. 66—68., 252—70.

⁸⁸ K. Bérczy: Külföldi szépirodalom (Иностранная художественная литература) *BSzle*, 1858. 124—30.

⁸⁹ Ференц Жигмонд ссылается на то, что к русской литературе некоторых, в первую очередь Берци, приводит симпатия к английской литературе.

(F. Zsigmond: Orosz hatások irodalmunkban. Русские влияния в нашей литературе, Вр. 1945. 15.) «Является фактом, что венгерская идеализация сначала опирается на англичан, затем первым будет принят Тургенев, который является родственным англичанам явлением: «Венгерская критика шестидесятых, потом и семидесятых годов на этом основании принимает его; в нём видят реализатора норм венгерской эстетической теории».

(J. Barta : указанная выше статья, 287.)

Русские произведения, не содержащие острых социальных вопросов и одностороннего биологизма были созвучны с так называемой идеализирующей тенденцией кружка Араня-Дюлаи. Среди принципов Г. Планша⁹⁰ это подчеркивается, как противоречие прислужнического копирования, и поэтому жалуются Дюлаи, что «чутье идеализирования со дня на день слабеет и под предлогом индивидуального мы приближаемся к самому пустому реализму»⁹¹. Эстетика идеализирующего реализма вытесняет уродливые, диссонантные формы влияния (Агошт Грегуш резюмируя работу Розенкранца «Эстетика уродливого» считает уродство несамостоятельным принципом, допустимым только рядом с прекрасным)⁹²; и даже весьма почитаемый Диккенс (по следам Эдинбурга Ревью) осуждается за преувеличение негативного⁹³. Осуждение уродливых, кричащих и преувеличивающих элементов собственно говоря является результатом антиромантического мира их вкусов. Об «Отверженных» В. Гюго потому пишет «Будапештское Обзорение», что там полно «неправдоподобных ужасов», стиль В. Гюго режущая ухо кабафония, в нем смешаны красота и уродство, исключительная святость с исключительным пороком⁹⁴.

Среди русских только Лермонтов считается романтиком, и характерно, что кружок Араня—Ченгери цитирует его скорее из-за его народности. Между прочим, по крайней мере вначале, им интересуются в первую очередь авторы и журналы романтического направления и вкуса. Вайда делает перевод одной части «Героя нашего времени» для «Венгерской Прессы», «Дамский Вестник» публикует два длинных стихотворения и его портрет работы Йожефа Секея⁹⁵. Ласло Арань тоже в своем раннем романтическом периоде пишет статью о Лермонтове.

Основой противоромантических воззрений кружка Ченгери является осуждение психологической небрежности. (Поэтому они более снисходительны к романтическим лирикам, нежели романистам, не составляют исключения в этом В. Гюго и Йокаи.) Интересно (хоть не без основания), что они не довольны и показом людей у Бальзака; его осуждают не только за «безыдейный реализм», но и за то, (и не без основания) что он теряется во внешних формах и деталях, не умеет глубоко анализировать характеры: «в его произведениях мы встречаем своеобразные типы, но человеческих характеров во всей их полноте, в общих и главных чертах не находим»⁹⁶. В то же время с полным признанием звучит отзыв о Теккерее, о его мастерстве изображения характеров⁹⁷. От Дюлаи едва ли можно ожидать более уважительного отзыва, чем тот, ко-

⁹⁰ S. F.: Planche Gusztáv. Montégut után (По Монтегю) *BSzle*, 1858. 381—92.

⁹¹ P. Gyulai: Nemzeti Színház és drámairodalmunk (Национальный театр и наша драматургия) *BSzle*, 1857. 133.

⁹² Á. Greguss: A rútrol (Об уродливом) *BSzle*, 1858. 348—89.

⁹³ Kis Dorka Dickens Károlytól («Крошка Доррит» Чарлза Диккенса) *BSzle*, 1858. 133.

⁹⁴ Hugo Viktor Nyomorultjai az angol kritika ítélőszéke előtt («Отверженные» В. Гюго перед судом английской критики) T. D. *BSzle*, 1864. 154.

⁹⁵ I. Rejtő: указанное выше место, (14.)

⁹⁶ F. Salamon: указанная выше статья, 416.

⁹⁷ Vegyes tartalmú iratok prózában és versben Thackeraytól *BSzle* 1858. 131 (Произведения Теккеря смешанного содержания в прозе и стихах)

торый он дает о Тургеневе: «Фабула романа до конца развивается интересно и психологически»⁹⁸.

Однако психологическая достоверность, которую они так высоко ценят в «Онегине», Тургеневе, Гоголе, не единственное и возможно не главное требование в их глазах. Если рассмотреть их отзывы, повторяющимся элементом их будет наряду с объективностью и достоверностью упоминание горького юмора определенного рода. Основной тон вероятно задает Дюлаи, когда пишет о «Дворянском гнезде»: «Тургенев легкий, живой, приятный рассказчик, но слащавый или пустой ни в коей мере, характеры его резко реалистичны, но не опускается до фотографирования, перед нами проходит своеобразное соединение добродушия и насмешки в их произведениях, что как видно является особенностью всех новых русских новеллистов при всем их различии»⁹⁹. В то время как Тургенев на западе влиял своей странностью далекого мира, особенностью картины общества, у нас же его отличительным признаком считалась «какое-то своеобразное соединение добродушия и насмешки». В случае Гоголя дело обстоит несколько иначе: его реализм Арань принял сразу же¹⁰⁰, и сам пробовал писать рассказы гоголевского типа¹⁰¹. И не только потому, что «гоголевский детальный реализм, глубокий гуманизм, добрый юмор, национальный характер нашел отзыв у Араня¹⁰², но и потому, что меланхолия «Шинели» совпадала с глубоким, часто скрытым пессимизмом Араня¹⁰³. Неизлечимые страдания из-за чувствительности личности, неутешительность существования, отсутствие веры в себя, обрекающее на пассивность, неуверенность в решениях и вообще безвыходность человеческих и общественных отношений и берущая над этой безвыходностью верх ирония именно то, что связывает «Глупого Иштока» Араня и «Шинель» Гоголя¹⁰⁴. Вместе с изображением однообразного, неподвижного омещанивающегося мира, в силу необходимости выступает юмористическое изображение, как оживитель уныния

⁹⁸ A nemes fészek (Дворянское гнездо) *SzF*, 1862. 315.

⁹⁹ Там же.

¹⁰⁰ L. Kardos: Arany János novellafordításai (Новеллистические переводы Я. Араня) *It*, 1915. 99.

¹⁰¹ J. Barta: указанная выше статья, 287.

¹⁰² E. Katona: Arany János és az orosz irodalom (Янош Арань и русская литература) *Tanulmányok a magyar—orsz irodalmi kapcsolatok köréből* (Очерки русско-венгерских литературных связей) II. Будапешт, 1961. 323.

¹⁰³ Опубликованные в «Литературном Наблюдателе» стихи Пушкина и Лермонтова внушали ему эту стратскую, почти метафизическую безнадежность: *Tárcza Puskindól* (Очерк Пушкина) (K. Zilahy *SzF* 1862. 277. *Lermontoffból* (из Лермонтова) K. Thaly *SzF*, 1862. 231.

¹⁰⁴ Аладар Комлош обратил внимание на странную закономерность: поэтов, по происхождению из Трансильвании особенно привлекал Гоголь (Арань, Дюлаи, позднее Петелеи, Гожду), объяснение которой он ищет в том, что жизнь в Трансильвании, которая характеризуется меланхолией гибели, ещё более родственна, чем жизнь в Венгрии) A. Komlóš: *Gogol útja a magyar irodalomban* (Путь Гоголя в венгерской литературе)

Tanulmányok a magyar—orsz irodalmi kapcsolatok köréből (Очерки русско-венгерских литературных связей)

II. Вр. 1961. 21.

серости и незначительности, об этом упоминала и тогдашняя критика¹⁰⁵. Однако у крупнейших авторов это является идущим из глубин, проистекающим от общественного и метафизического бессилия и указывающим вперед явлением. (XX. век потом многое почерпнет как из чувствительности «цветка боли» и самогубительного «виноградарьского» юмора Араня, так и из гоголевского гротеска и иронии.)

Берци с теоретической достоверностью указывал, что общей чертой не только Байрона и Пушкина, но и английских и русских авторов, является «проявление на самом высоком уровне писательской объективности, в сообществе с юмором»¹⁰⁶. Однако его сравнительно-исторический литературный взгляд упирается в мнимое противоречие: английское и русское положение абсолютно несхожи. С одной стороны речь идет о самом развитом, самом либеральном государстве Европы, с другой стороны — о самой отсталой, самой тиранической монархии. У англичан источником юмора соответственно служит «скрытый инстинкт превосходства», сознание того, что спокойно и открыто можно говорить о порочности общества, об искажении нравов. Английский писатель «в виде смеси слез и улыбок может изобразить даже среди недостатков самую прекрасную жизнь нации». Русский же писатель вынужден видеть, что обуржуазивание русского общества есть только отсвет западного и не верит в «его жизненное и здоровое будущее» и «национальную власть, опирающуюся на пушки и штыки, как основу величия, принять не желает и вместе с тем не в состоянии расстаться с надеждой и верой в великое будущее своей родины; русский писатель бичует, чтобы исправить, и рыдая смеётся над положением в своей стране, давая его верную и естественную картину»¹⁰⁷. В другом месте, где он более подробно исследует юмор, он опирается и на географическую и климатическую точку зрения: по его мнению южане, итальянцы и французы не способны на юмор, тогда как наряду с англичанами и русскими и другие северные народы (финны, американцы) более восприимчивы к нему: «правда, можем предположить, что северо-западная зона по меланхолическому темпераменту и спокойному настроению имеет большую восприимчивость и чувство юмора, чем юговосточный темперамент, непоседливость и разгульная дерзкая фантазия которого выбивают горы остроумия — в виде рано

¹⁰⁵ „A polgári lét — kis lét; a mű- és tűzhely hálásan kibányászható a humor által, mint Boz tevé vagy komolyan is tárgyalható; de ez utóbbi módon hamar kimeríthető. A rendi különbségek megszűnte által a jogérzület kiegyenlített ugyan, de vesztett az élet színezetéből. Minden osztályok s viszonyok napról-napra egyhangúbb, egyöntetűbb egyformaságban folynak szét egyszínű keverékké.” (Мещанская жизнь — мелкая жизнь; мастерскую и очаг можно выгодно использовать с помощью юмора, как это сделал Боз или серьёзно обсудить; последним способом можно их быстро исчерпать. С исчезновением разницы между сословиями чувство законности уравновешивается, но терется колорит жизни. Все классы и отношения день ото дня во всё более монотонном и однородном однообразии расплываются в одноцветную смесь.) A. Kecskeméthy: A jelenkori német regényirodalom (Современная немецкая литература романа) (Második közlemény — A társadalmi regény, Второе сообщение — Общественный роман) *BSzle*, 1859. 298.

¹⁰⁶ K. Bérczy: Előszó (Предисловие) (Anyegin Eugén Pest 1866.) IV.

¹⁰⁷ Там же. IV. V.

выстрелившего оружия юмора»¹⁰⁸. Ясно видно, что теория юмора Берци соединяет в себе многочисленные отправления. Начальным пунктом является исследование общественных отношений, и их расхождение направляет его к исследованиям географическо-климатическим, а также к исследованиям характеров. Свои выводы он не переносит на венгерскую литературу, на венгерские отношения: это привело бы к серьезным трудностям.

Состояние венгерского общества ни тогда, ни, главным образом, после соглашения не производит впечатления отсталости, политический режим не выглядит таким беспощадно угнетающим (после 1867 г. тем более), как в России. Однако еще меньше можно провести аналогию с развитым английским обществом. Точно также венгерский темперамент нельзя рассматривать ни как северо-западный, ни как юго-восточный и таким образом теория созданная на основании европейских примеров не говорит ни за ни против существования юмора¹⁰⁹. Теория Берци, т. к. он не проводил непосредственных сравнений с венгерскими литературными результатами, на основании этого, можно было развивать по разному. Общественные отношения в период Баха были схожи скорее с русским абсолютизмом, соответственно этому юмор первой песни «Глупого Иштока», «Надидских цыган» похож на русское отчаяние, вытекающий из самобичевания, беспомощного душевного состояния. Юмор произведений, писавшихся после соглашения (напр. «Героя миражей») скорее напоминает английский поскольку с прекращением войны не на жизнь, а на смерть за сохранение нации можно и нужно было говорить о существующем наряду с быстрым развитием общества его духовном и моральном крахе. Ни северо-западные, ни юго-восточные венгры не станут носителем своеобразного, через отличия похожего эквивалента английского и русского литературного юмора через их веселье сквозь слёзы, через «виноградарьские» реакции индивидуального, только им свойственного мира настроений. (Арань в этом плане ищет родство юмора и венгерского национального характера в «Глупом Иштоке».)

Специфически венгерская попытка, характерная для 50-х, 60-х годов, связана именно с этой концепцией юмора. Арань именно под этим знаком стремится к сближению изображения действительности и требований гармонии, и к отрицанию конфликта без решения. «Сам он этот юмор воспринимал в духе Жана Поля, в стоическом согласии и принятии к сведению каждой неразрешенности отдельных конкретных обстоятельств, и общего исторического и эволюционно-морального доверия к жизни. Несомненно, он стал с этим культом юмора, основой ссылки и правомочия для особенно двуличного,

¹⁰⁸ K. Véczy: Az irodalmi humorról (О литературном юморе) SzF 1860. 99. Между теориями юмора, развиваемыми здесь и позднее в предисловии к «Онегину» нет существенного различия, поэтому мы всегда будем ссылаться на то произведение, в котором более характерно выражен данный вопрос.

¹⁰⁹ Ещё более усложняется вопрос тем, что Берци понятие юмора рассматривает ещё более свободно, чем это у нас принято, и в соответствии с этим относит Лермонтова к поэтам-юмористам. Мало того, считает образцом юмора рассказ Тургенева «Муму» (грустно-трагическая история глухонемого крепостного слуги), который абсолютно не совпадает, например, с теорией юмора Араня, так как смех в нём совершенно отсутствует. (Так как главным моментом здесь является жалость, это родственно скорее теории юмора Ревички.)

двойственного развития. Он сам, как это доказывают его произведения, в большинстве случаев дошел до трагизма, не избежавшего трагедии в выборе темы конфликта, разрешаемого юмором: «однако главной возможностью последующего поколения стал юмор в роли избежания фатальных принятий к сведению или скорее циничных буффонад и багателей проблем»¹¹⁰. Эта тенденция в зародыше имеется в статье Берци о юморе от 60-ого года. А именно, речь идет о том, что Байрон и Гейне потому не дошли до чистого юмора, потому что «они не смогли справиться с болью рожденной опытом, чтобы без горечи дойти до полного сознания примирения, что является неременным условием объективности, когда, глядя в мир и в глубины своих настроений, боль находящаяся в них противоречий можно было бы уравновесить шутливым любезничанием»¹¹¹. Теория, в определенной части извлеченная из русской литературы, импульс формирующийся в трактатах в последующие десятилетия стал инспиратором художественной и критической литературы. И этим служит примером сложного механизма влияния русской литературной рецепции.

Опосредствованный характер механизма влияния русской рецепции

Об ориентации кружка Араня—Ченгери в мировой литературе, в том числе и о рецепции русской литературы надо судить не по опубликованным материалам «художественной литературы, а по материалам имеющимся в критических и эстетических статьях»¹¹². Относительно игнорируемая область сравнительной истории литературы — толкование таких косвенных контактов. (Влияют, естественно и художественные произведения, но эти импульсы тоже являются косвенными ввиду их интерполирования через немецкий и венгерский язык.) Влияние статьи Берци о юморе было велико не только на позднейшее венгерское толкование юмора, но и на жанровые последствия в развитии литературы. Дело в том, что по его мнению действие и манера поэтической повести, комического эпоса и романа способны ввести в силу юмор: «Широкая сфера романа единственное место, где писатель находясь постоянно впереди, сам ведет линию событий и имеет свободу быть вместе с тем их судьей. Если он способен подняться при таком вынесении приговора на остепенившееся мирозерцание, которое является результатом в своей субъективности рефлексированной объективности, — из этого вытекающим юмором он сумеет располагать по своему желанию во всех подробностях своего произведения.

Иначе обстоит дело в лирической и драматической поэзии¹¹³. Перед глазами Берци, вероятно, стояли из англичан Фильдинг и Теккереи, а из русских, вероятно, Гоголь, когда он говорил о типе писателя — судьи, комментирую-

¹¹⁰ V. Németh G.: A szerkesztő s a kritikus Arany (Арань — редактор и критик) *It*, 1980. I. 10.

¹¹¹ K. Bérczy: Az irodalmi humorról (О литературном юморе) *SzF*, 1860. 97.

¹¹² V. Németh G.: Arany folyóiratainak világirodalmi tájékozódásáról (Об ориентировании в мировой литературе журналов Араня) *Itk*, 1967. 609.

¹¹³ K. Bérczy: Az irodalmi humorról (О литературном юморе) *SzF*, 1860. 113.

щем извне. Он не упоминал однако о романе в стихах, субъективность и юмор которого не вполне независимы от них. (На байроновского «Дон Жуана», как известно, имела большое влияние манера Фильдинга.) Юмористическое повествование является самым подходящим способом идеализирования жизненного материала, подлинным же жанром его является роман. Из этого прямым образом вытекает, что русская литературная рецепция не только таким образом и в такой мере способствовала аргументированию в распространении романа тем, что произведения Тургенева и Гоголя давали притягательные и достойные подражания примеры, но и тем, что частично взятая у русских теория юмора в первую очередь была применима для романа (и романа в стихах), и этим стала непосредственным стимулом ведущих жанров 70-х годов, романа в стихах и так называемого дезиллюзионного романа («Бела Калозди», «Мечтатель мечт») и в еще более широком смысле, посредством этих двух жанров, и венгерской эпике последней четверти века.

Теория юмора Берци, и по следам его трактовка юмора кружком Араня—Ченгери, за пределами того общего влияния на усиление позиций реализма, модифицировала и иерархию жанров. Отошел на задний план не только эпос, но в какой-то мере и лира. (Концепция Берци дополняет враждебное отношение Дюлаи к лире тем, что юмористический тон по его мнению может проявиться только в эпике.) Рецепция русского литературного влияния является положительной еще и потому, что выдающиеся произведения литературного периода после соглашения (например, «Герой миражей») идеализацией через юмор освобождались от идеализации другого рода, от опасности ложной идилличности и упрощения. После произведений периода произвола самодержавия, проникнутых национальным пафосом именно потребность в юмористическом изображении приводит к защите сатирического, реалистического, критического относительно общества искусства, не терпящего иллюзий. Итак, русское литературное влияние, прошедшее через многократное посредничество переводов и критикотеоретические обобщения затронуло не пассивно рецепирующие слои. Оно вызвало творческую, обогащающую активную ассимиляцию в венгерской литературе 60-х, 70-х годов. Это привело к конечному триумфу реализма, к поддержке народно-национальной эстетики произведениями мирового литературного уровня, к юмористическому идеализированию без ложных развязок, к расцвету более современных эпических жанров, к укреплению национальной литературной самооценки.

Die Wiederholung in der Charakterdarstellung von Gogol und Čechov

L. LIEBER

In der Psychologie hat sich die Meinung herausgebildet, daß Werterlebnisse dem bewußten Werten des Menschen vorangehen. Das Wertverhältnis des Menschen sich selbst und seiner Umwelt gegenüber ist mit dem emotionalen Verhältnis identisch. Nach Lersch 1966 werden die Strebungen vom Menschen als bestimmte Zustände erlebt, deren gemeinsame Eigenschaft ein Mangelgefühl ist, durch das der Mensch auf die Zukunft gerichtet wird, um Zustände und Zielgegenstände zu erreichen, die dieses Mangelgefühl beheben. „Wir erleben im Drang einen Zustand des Mangels, der Bedürftigkeit, über den wir hinausstreben: so im Hunger, im Durst, aber auch im Drange nach Geltung und Macht und ebenso in den höheren Strebungen...“¹ (123). Es werden zwei Gruppen der Werte unterschieden: Nach der persönlichkeitspsychologischen Auffassung der Homeostasis ist der Mensch bestrebt, seinen auf irgendeiner Ebene erreichten Gleichgewichtszustand zu behalten bzw. den verlorenen Gleichgewichtszustand wiederzuerwerben; von den positiven Werten wird diese Strebung unterstützt, von den negativen behindert. Die unmittelbarsten Ausdrucksformen der Persönlichkeit sind nicht die Handlungen, Gedanken, Worte, sondern die Emotionen. Für den Menschen sind mehrere Werterlebnisse charakterisierend, die miteinander in ständiger dynamischer Verbindung stehen. Das Wertbewußtsein besteht aus bestimmten (obwohl schwer zu bestimmenden) Systemen, Hierarchien der Werte, die den Menschen und mutatis mutandis den literarischen Helden individualisieren.

Die Wiederholung kann auch unter den Grundtypen des Komischen, unter den Theorien über das Komische sowohl inbezug auf die literarische Darstellung als auch auf die Charakterdarstellung vorkommen; sie kann aber auch zum Mittel der tragikomischen oder tragischen Darstellung werden. Dies hängt zum Teil von den Charaktereigenschaften der dargestellten Helden (außerordentliche Persönlichkeiten mit einer reichen Wertskala oder unbedeutende, flache Charaktere), von der Situation, in der sie zu handeln gezwungen sind, von den Folgen ihrer Handlungen, ihres Verhaltens oder von der Gestaltung der von ihnen unabhängigen Umstände, die stärker als sie sind, ab.

¹ Ph. Lersch: *Aufbau der Person*. München, Johann Ambrosius Barth, 1966, 123.

Nach Aristoteles ist irgendein Fehler, etwas Häßliches, was keinen Schmerz, keinen Schaden verursacht, wie z. B. die Maske, die häßlich ist, die aber keinen Schmerz ausdrückt, lächerlich. Im Alltagsleben des Menschen, in seinem Aussehen, seiner Kleidung, seinen Bewegungen, seiner Sprache usw. können auf Schritt und Tritt solche unschuldigen Fehler vorkommen. Für diese kleineren Schulden kann der Held büßen, aber nicht ernsthaft, seine Bestrafung darf keine verhängnisvollen Folgen haben, weil dann die Darstellung auf das Gebiet des Tragikomischen und des Tragischen übergehen kann. Laut der Kontrasttheorien, die am meisten verbreitet sind, und auch die anderen Grundtypen durchwirken, kommt es auf den Kontrast zwischen einer normalen und abnormalen Erscheinung an. Nach Henri Bergson lachen wir meistens dann, wenn eine Person zu einem Gegenstand wird. Diese Erscheinung kommt auch auf dem Gebiet der zwei anderen Theorien vor, da die Wiederholung eines Fehlers ebenso lächerlich wirken kann, wie eine ihrem Wesen nach unwiederholbare, einmalige Persönlichkeit, die zwar bemüht sein kann, sich von den Wiederholungen zu befreien, die aber doch zu ihrem Kontrast, zur Maschine wird.²

In der Charakterdarstellung der zwei genannten Schriftsteller untersuchen wir die Fälle, wo die Wiederholung im Verhalten der Menschen, in den das Verhalten, Denken, die Gefühlswelt bestimmenden Wertstreben vorkommt. Die wiederholten Äußerungsformen der niedrigen (physiologischen, biologischen, egoistischen) Wertstreben können komisch, ernsthaft oder von tragischer Färbung (die Neigung zum Rang, zur Macht, zum Geld usw.) sein, davon abhängig, was für Wertqualitäten der betreffende Held hat, was für Folgen in einer bestimmten Situation die Streben haben; wenn z. B. diese Streben gegen wertvolle Menschen gerichtet sind und eine Vernichtung von positiven Werten stattfindet, erfüllt die Wiederholung die Darstellung mit tragischer Qualität. Nach dem Inhalt und Charakter der Streben können auch die Situationen in Betracht gezogen werden, die zu selbstlosem, selbstaufopferndem Verhalten veranlassen, in denen aber die blinden, emotional-intellektuell „Futteral“-bornierten Helden (Čechov) das Kraftfeld der betreffenden Situation nicht erleben und ihr psychisches Leben bleibt unabhängig oder sogar in die entgegengesetzte Richtung geht (z. B. die Situation der Gerichtsverhandlung). Auch hier kann die Darstellung komisch, tragikomisch oder tragisch sein. Die Wiederholung kann die Isolierung, das gegenseitige Nichtverstehen der Menschen, was für Čechov charakteristisch ist, auch hervorheben. Die Gogolschen Helden leiden infolge ihres niedrigeren, naiveren, instinktiveren Wertbewußtseins im Gefängnis der Gewohnheit, der sich wiederholenden Gesten, Erlebnisse nicht (eine Ausnahme bilden Piskarev, Čartkov); sie leben nicht im Kontrast einer offenen und geschlossenen Welt. In beiden Lebenswerken finden wir auch Fälle, in denen höhere Streben im Wertbewußtsein infolge der Wiederholung, der Gewohnheit vorherrschen und

² J. Barta, L. Kardos, M. Nagy: Bevezetés az irodalomelméletbe és az irodalomtudományba. (Einführung in die Literaturtheorie und Literaturwissenschaft.) Budapest, Tankönyvkiadó, 1975, 163—4.

Esztétikai kislexikon. (Ästhetisches Kleinlexikon.) Budapest, 1969, 179—80.

N. Hartman: Ästhetik. Übersetzt von G. Bonyhai, Budapest, Magyar Helikon, 1977, 679—80.

den moralischen Wert der Helden bestimmen. Zuletzt beschäftigen wir uns mit den Fällen, in denen die Menschen den Druck der Wiederholung der sie umgebenden prosaischen Umgebung erleben und sich entweder unterwerfen oder Widerstand leisten, manchmal erfolgreich. Dies ist auch vor allem für Čechov charakteristisch.

Eines der komischen Opfer des Petersburger und des russischen Rang-Wahnsinns ist der Major Kovaljov von Gogol, für den der Rang gesellschaftliche Autorität und Geld bedeutet; er kam nach Petersburg, um eine rentable Stelle zu erwerben und eine materiell vorteilhafte Ehe zu schließen (Ноч, 1836). Der Weg zum Rang ist bei Kovaljov vom Zufall bestimmt (bei Čechov nennt dies der Held in „Лев и солнце“ „подходящий случай“³ die bedeutende Persönlichkeit in „Шинель“ war vorher unbedeutend, und man weiß nicht wie, sie wurde auf einmal bedeutend; auch Popriščin wird von diesem Umstand gestört und er zwingt ihn, seine geniale Entdeckung zu machen und sein Aussehen willkürlich zu verändern). Der Major Kovaljov wird von seinem Rang-Bewußtsein gezwungen, sein Aussehen sorgfältig zu hegen. Der Angriff des Schicksals richtet sich eben auf sein Äußeres, was ihn vorübergehend verzweifeln läßt und seine Daseinsituation unsicher macht. Durch seine Nase verliert er alles. Der Erzähler „verehrt“ die Begierde seines Helden nach Rang, Autorität und Geld, er fügt sich dem Wunsch von Kovaljov und nennt ihn „майор“. Der Erzähler gibt seiner Verehrung „unwillkürlich“ eine entgegengesetzte Bedeutung durch die mechanische, monotone Wiederholung des Wortes „майор“ er macht die Futteral-Strebungen des Helden und den ganzen Menschen leblos.

«Ковалёв был кавказский коллежский асессор. Он два года только ещё состоял в этом звании и потому ни на минуту не мог его позабыть; а чтобы более придать себе благородства и веса, он никогда не называл себя коллежским асессором, но всегда майором. . . Майор Ковалёв имел обыкновение каждый день прохаживаться по Невскому проспекту. Воротничок его манишки был всегда чрезвычайно чист и накрахмален. . . Майор Ковалёв носил множество печаток сердоликовых и с гербами. . . Майор Ковалёв приехал в Петербург по надобности, а именно искать приличного своему званию места. . . Майор Ковалёв был не прочь и жениться, но только в таком случае, когда за невестою случится двести тысяч капитала.»⁴

Der Erzähler ist bemüht, zu erklären, warum Kovaljov ausgerechnet ein kaukasischer Gerichtsbeisitzer ist, und warum er sich doch „майор“ ansprechen läßt. Die Helden der Čechovschen Kurzgeschichte „Свадьба с генералом“ (1884) nehmen schon die Wert und Autorität rettenden und steigernden Anstrengungen des Erzählers auf sich, und für den letzteren bleibt nichts anderes übrig, als die bloße Benennung und deren ständige Wiederholung mit ähnlicher wie bei Gogol geringschätzender Funktion. Die Mutter des Bräutigams wird unruhig, als sie erfährt, daß die Zierde des Hochzeitmahls, der eingeladene General, kein General, sondern „bloß“ ein Konteradmiral ist, und sie wendet sich verzweifelt zu Andrjuša Njunin, dem Neffen des Generals, der mit langen Erklärungen die Autorität seines Onkels rettet und Ljubimskaja beruhigt:

³ А. П. Чехов, Полное собрание сочинений в восемнадцати томах. Москва, «Наука», 1974—81, 6. 395.

⁴ Н. В. Гоголь, Сочинения в двух томах. Москва, Худ. лит., 1973, 1. 464.

«— Я просила генерала, а не этого... как его... котр... конр... — Контр-адмирала... Но вы не понимаете, Настасья Тимофеевна. Поскольку действительный статский советник в гражданских чинах по табели о рангах соответствует генерал-майору, постольку контр-адмирал соответствует действительному статскому советнику... Разница только в ведомствах, суть же — один чёрт... Одна цена... Хозяйка успокоилась и поставила перед контр-адмиралом бутылку цимлянского. — Кушайте, ваше -ство! ... У себя там вы привыкли к деликатности, а у нас так просто! — Да-с... — начал контр-адмирал...» (Т. 3. 109—110)

Wenn die Sehnsucht der Menschen nach Rang befriedigt wird, werden sie „frei“, sie genießen ihre Macht über den Untertan und sie ergreifen dazu auch jede Möglichkeit. Dadurch verwickeln sie sich in Wiederholungen, und ihre unerbittlichen Befehle und Anweisungen drücken teils durch ihren Inhalt, teils durch ihre Wiederholung eine unerbittliche Gefühllosigkeit aus. Die bedeutende Persönlichkeit in „Шинель“ (1841) setzt sich wie eine Maschine in Bewegung, als vor ihm ein Mensch von niedrigerem Rang steht. Er wiederholt dieselben unerbittlichen Phrasen, und man hat keine Zeit zum Lachen, Akakij Akakijevič stirbt an der grausamen, abweisenden Behandlung.

«Обыкновенный разговор его с низшими отзывался строгостью и состоял почти из трёх фраз: Как вы смеете? Знаете ли вы, с кем говорите? Понимаете ли, кто стоит перед вами?» (т. 1. 556)

Der Held in Čechovs „Нарвался“ (1882), ein Bankbeamter, hat den einzigen Wunsch, nach dem Mittagessen nach Hause zu gehen und sich dem Schlafen hinzugeben. In Ich-Form berichtet er ausführlich darüber, wie er sich hinlegt, sich reckt, wie die in seinem Kopf wirbelnden Gedanken immer unsicherer werden, der benebelte Zustand des Traumes ihn überwältigt. Im nächsten Augenblick wird er plötzlich wach, weil er ein Zechgelage, betrunkenes Schreien und den prosaischen Lärm des Öffnens von Flaschen aus dem benachbarten Zimmer hört. Er rennt aufgebracht zur Wand und schreit hinüber, um Ruhe und Stille zu fordern, aber er wird von drüben von einer keinen Widerspruch duldenden Stimme wiederholt zur Ordnung verwiesen. Der Held rennt hinüber und sein Mund bleibt vor Schreck offen; im Zecher erkennt er seinen Chef, den Direktor der Bank, der ihn wegen seines groben und impertinenten Benehmens nach einem Monat seines Amtes enthebt. Der Genuß und die Übung der Macht bleiben im Rahmen des Komischen; teilweise deshalb, weil der Held ein unbedeutender Mensch ist, er beschreibt ausführlich seine Bequemlichkeitsliebe, seine Sehnsucht zu schlafen, was den einzigen Sinn seines Lebens ausmacht, teilweise bleibt die Darstellung der tragischen Folgen weg. Von einer wahren Tragödie kann ja in seinem Fall keine Rede sein.

«— Как это глупо! — сказал я. — Очень глупо! Даже подло. — Прошу не рассуждать! — послышался за стеной старческий голос. — Удивительно! Повелитель какой нашёлся! Птица важная! Да вы кто такой? — Не рассуждать!!! — Мужичье! Надулись водки и орут! — Не рас-суж-дать!!! — раз десять повторил старческий, охрипший голос.» (т. 1. 435)

Die Čechovsche Geschichte „Холодная кровь“ (1887) ist eine von den sprödesten, kältesten. Der Rinderhändler und sein Sohn nehmen Rinder mit dem Zug in die Hauptstadt mit. Den Alten interessiert nur das Ziel seiner Reise, das Geld.

Er bringt seinem allem gegenüber gefühllosen Sohn die Liebe zum Geld bei (sein Sohn bemerkt gar nicht die Schönheit des bunten Gewimmels der sich vor ihm erschließenden Städte und Landschaften). In der Geschichte wird jeder vom Geld bewegt; in der Hoffnung auf Trinkgeld wird die fahrplanmäßige Bewegung des Zuges von allen behindert und der Händler fühlt sich gezwungen, Schaffner, Lokomotivführer und Bahnhofsvorsteher zu bestechen, um schneller vorwärtszukommen. Die Schneedecke, die Kälte, die Finsternis, der eisige Sonnenschein, die die Bedeutung des Titels der Erzählung vertiefen, umgeben alle, diejenigen, die das Geld geben und die, die es empfangen. Die sich wiederholenden Gesten sprechen davon, daß sich das Geld vollkommen in die Natur des russischen Menschen einpaßt. Sie lassen das Geld mechanisch, ohne es zu bemerken, herumwandern (das Geld, das in Gogols „Ревизор“ Chlestakov nur noch naiv und unschuldig auf dem Boden entdeckt und „zufällig“ einsteckt, es aber dann immer energischer von seinen vor Angst zitternden Besuchern fordert).

«Не возмущаясь и не протестуя, а спокойно, почти машинально старик достаёт из кармана два двугривенных и подаёт их смазчику. Тот тоже очень спокойно берёт их и, добродушно глядя на старика, заводит разговор...» (т. 6. 380)

Das Geld und der Ehrgeiz automatisieren auch die Gedanken und Gesten des Gogolschen Helden, Čartkovs („Портрет“, 1834—42). Als ein Künstler verliert er seine Energie, sein Neues, Originales schaffende Talent, seine Geduld, und ihn interessieren nur der schnelle Erfolg, die luxuriöse Lebensweise, die materiellen Äußerlichkeiten.

«Кисть его хладела и тупела, и он нечувствительно заключился в однообразные, определённые давно изношенные формы.» (т. 1. 510)

Čartkov ist aber eigentlich ein typischer Čechovscher Held, der so sehr im Futte-ral-Gefängnis seines zur Maschine werdenden Ichs leidet, daß er sich selbst vernichtet.

Die kleinen Menschen beider Schriftsteller (Akakij Akakijevič und Červjakov) wurden miteinander in der Fachliteratur schon oft verglichen. Uns interessiert vom gegenwärtigen Gesichtspunkt aus der Unterschied zwischen ihren automatisierten Verhaltensweisen. Akakij Akakijevič erscheint nur am Anfang des Werkes mit seinem komischen, automatisierten Benehmen; später wird diese Maschine allmählich durch die teilnahmevolle Darstellung des Erzählers mit Leben und Seele erfüllt. Wir erfahren, daß sich der Held mit Selbstvergessenheit seiner Arbeit hingibt und in seiner Geistesabwesenheit keine Aufmerksamkeit an die Umwelt wendet. Für ihn ist der Mantel ein Mittel, am Leben zu bleiben, er schafft für ihn die elementaren Bedingungen zur Verrichtung seiner Arbeit, die sein Lebensziel ist; der Mantel hütet seine Gesundheit vor der Petersburger Kälte. Akakij Akakijevič wird in seinem Menschenwerden zum tragischen Helden emporgehoben.

Červjakov wiederholt ad absurdum wie eine übertriebene, überangestrengte Maschine seine Entschuldigungen. Von seinem Rang-Bewußtsein wird er zuletzt in den Tod getrieben und der Erzähler beschreibt lakonisch und verachtend das unsinnige Ende.

Akakij Akakijevič, dessen Name schon aus sich wiederholenden Lauten besteht, ist am Anfang des Werkes im Bergsonschen Sinne komisch; seine Tätigkeit wiederholt sich ohne Zeit und Entwicklung, als wenn er schon seit seiner Geburt das mecha-

nische Kopieren gemacht hätte. „Ce calligraphe donne . . . l'impression d'un copiste travaillant mécaniquement. Gogol nous représente Akakij Akakijevič comme un personnage franchement comique et, à cet effet, il utilise des procédés que Bergson a indiqués pour la création du comique et qui tous, d'une manière ou d'une autre, nous font voir dans un personnage „du mécanique plaqué sur du vivant.“⁶ Čechov deutet schon durch den Titel der Kurzgeschichte die Lösung an, die nicht unerwartet kommt; es scheidet ja von vornherein eine sich wiederholende Maschine aus der Reihe der Lebenden.

«В животе у Червякова что-то оторвалось. Ничего не видя, ничего не слыша, он попятился к двери, вышел на улицу и поплелся. . . Придя машинально домой, не снимая вицмундира, он лёг на диван и . . . помер» (т. 2. 166).

Gogol und Čechov beachten, indem sie die Vermechanisierung ihrer Helden darstellen, nicht nur den Menschen, die automatische Wiederholung der den Charakter bestimmenden niedrigeren Wertstrebungen, sondern sie stellen ihre Helden in bestimmte Situationen, um sie auf diese Weise zu „prüfen“. Es können sich Leben und Schicksal gestaltende Situationen, Umstandsfaktoren wiederholen und in solchen Fällen wird die Individualisierung des betreffenden Charakters vollkommen hoffnungslos; die Automatisierung des Verhaltens wird von der Umgebung verstärkt. Die Lage ist auch in dem Falle nicht günstiger, wenn die Menschen von offenen, sich weitenden und vorwärtsbewegenden Lebenssituationen umgeben werden. In diesen Fällen bleiben die Charaktere infolge ihres „Futteralwesens“ blind, sie bemerken die sich anbietenden Möglichkeiten des Freiwerdens nicht und so erscheint ihr Wesen einer toten Seele im Kontrast der Darstellung noch schärfer.

Gogols Ivan Fjodorovič Spon'ka ist eine stagnierende tote Seele, die von den physikalisch-geographischen Möglichkeiten des Weges (дорога) keinen Gebrauch macht. Sein seelenloser Futteralzustand äußert sich in der Vermechanisierung seiner Bewegungen. Die Gewohnheit bestimmt in ähnlichen Lebenssituationen vollkommen sowohl sein äußeres Benehmen als auch seine Gedanken beim Lesen des Wahrsagebuches. Die Begegnung mit einem Menschen ist neu und gleichzeitig nicht neu. Es ist was Neues daran, daß der Held dem unbekanntem Gutsbesitzer, Storčenko, begegnet, dessen stagnierendes moralisches Wesen sich vom Wesen des Helden und der anderen Menschen im Werk nicht unterscheidet. Im Falle von Spon'ka ist es aber auch nicht wichtig, wem er begegnet. Er nimmt mit sich die früheren Lebenssituationen, er assoziiert mit ihnen und so macht die mechanische Wiederholung auch in den Gesten keine Entwicklung möglich.

«— А позвольте спросить, с кем имею честь говорить? — продолжал толстый приезжий. При таком вопросе Иван Фёдорович невольно поднялся с места и стал в вытяжку, что обыкновенно он делывал, когда спрашивал его о чём полковник.» (т. 1. 181)

Čičikovs Originalität, Spitzfindigkeit zeigt sich allein in seinen Plänen, reich zu werden. Von den poetischen Gefühlen, von der Schönheit der Tochter des Gouverneurs wird er zwar irgendwie berührt, aber der Erzähler ist einfach nicht imstande,

⁶ I. Eng, Van der: Le personnage de Bašmačkin. Dutch contributions to the Fourth International congress of slavists, Moskow, September, S-Gravenhage, Mouton, 3.

die Veränderung der Erlebniswelt seines Helden genau zu bestimmen, er kann nur so viel darüber sagen, daß Čičikov „...почувствовал себя совершенно чем-то вроде молодого человека“ (т. II. 297).

Der Erzähler kann aber um so ausführlicher das erfahrbare Äußere im Verhalten seines Helden beschreiben. Die Wirkung des Mädchens zeigt sich darin, daß Čičikov amüsierende Geschichten zu erzählen beginnt, und nicht bemerkt, daß seine Hörerin vor Langeweile gähnt. Der Erzähler scheint in seinem richtigen Element zu sein; er zählt die Personen und Namen auf, denen der Held schon vorher in seinem Leben diese Geschichten vorgetragen hatte. Die ästhetische Wirkung der weiblichen Schönheit regt Čičikov zu monotonen Wiederholungen an.

«...блондинка стала зевать во время рассказов нашего героя. Герой, однако же, совсем этого не замечал, рассказывая множество приятных вещей, которые уже случилось ему произносить в подобных случаях в разных местах: именно в Симбирской губернии у Софрона Ивановича Беспечного, где были тогда дочь его Аделаида Софроновна с тремя золовками... у Фёдора Фёдоровича Перекроева в Рязанской губернии...» (297)

Čičikov reist in Rußland herum, aber er erkennt und kennt die Menschen nur aus seiner engen „Futteral-Perspektive“. Er setzt seine Besuche auch im zweiten Band fort und als sich seine Gastgeber nach dem Ziel seiner Reise erkundigen, wiederholt er sich selbst, leiert immer denselben Text herunter, wirft sich immer wieder in dieselbe Pose. Čičikovs Vortrag ist inhaltlich offen, er erzählt Konstanžoglo ebenso wie dem Bruder von Platon Platonov, Vasilij, daß er der Bitte eines seiner Bekannten entgegenkommt, und daß er im Laufe seiner Reise die Menschen, die Welt kennenlernen möchte. Dies charakterisiert aber tatsächlich nur den Erzähler, der dadurch seinen Helden in ironische Entfernung von sich schiebt und ihn zwingt, seine Lüge, die angebliche Absicht, die Welt kennenzulernen, auf Schritt und Tritt zu wiederholen.

«В какую же сторону и в какие места предполагаете преимущественно ехать? — спросил брат Василий. — Еду я, — сказал Чичиков, потирая себе рукой по колену, в сопровожденье лёгкого покачивания всего туловища и наклоняя голову набок, — не столько по своей нужде, сколько по нужде другого. Генерал Бетрищев, близкий приятель... просил навестить родственников. Родственники, конечно, родственниками, но отчасти, так сказать, и для самого себя, ибо, — не говоря уже о пользе в геморроидальном отношении, — видеть свет и коловращенье людей — есть уже само по себе, так сказать, живая книга и вторая наука.» (т. 2. 460—61)

In Čechovs Geschichte „На волчьей садке“ (1882) zerreißen ausgehungerte Hunde in die Moskauer Arena eingeschlossene Wölfe zum Ergötzen einer blutdurstigen Menschenmenge. Die primitiven, widerwärtigen Instinkte erniedrigen die aufgebrachte Masse, machen den Menschen zum Tier. Die Erlebniswelt der Menge ist einfach, mit ein paar Worten zu beschreiben; in diesem Zustand sind die Menschen nicht imstande, eine menschenwürdigere, reichere, geistige Seelenwelt aufzuzeigen. Der Erzähler wiederholt mit denselben Worten die sich steigernde Unruhe der Menschen.

«В галереях конского бега... заседают жеребятники, кобелятники, брозятники, перепелятники и прочие лятники, мерзнут и сгорают от нетерпения...

Дам столько же, сколько и мужчин... Они тоже сгорают от нетерпения... И гимназисты пришли поглядеть, и они тоже сгорают от нетерпения...» (т. 1. 117—118)

In „Белолобый“ (1895) wird die Persönlichkeit des alten Wächters, Ignats, im strengsten Sinne des Wortes von seinem vermechanisierten Benehmen (früher arbeitete er an einer Maschine) bestimmt, und dies ist schon an und für sich komisch. Am Anfang der Kurzgeschichte wird durch die erzählerische Charakterisierung die Lösung, Ignats Irrtum, angedeutet, er entziffert die Tat des Welpen selbstsicher und falsch aufgrund einiger Angaben, hat aber keine Ahnung über dessen wahrhaft dramatische, interessante, aufregende Abenteuer.

«... сторож Игнат... днём бродил по лесу с ружьём-одностволкой... раньше он служил в механиках, потому что каждый раз, прежде чем становиться, кричал себе: „Стоп, машина!“ и прежде чем пойти дальше: „Полный ход!“» (т. 9. 100)

Ignat hat einen Hund, Arapka, dessen Junges von der Wölfin aus Versehen verschleppt wird, als sie hungrig ein Loch ins Dach des Stalls macht und sich auf die Lämmer wirft. Der kleine „белолобый“ spielt lustig mit den Jungen der Wölfin, während ihre Mutter von neuem ihr Glück versucht. Sie will eben wieder die Lämmer angreifen, aber sie wird von dem lustigen, sie begrüßenden Gekläff des heimkehrenden Welpen wieder fortgejagt. Ignat glaubt, daß die Lämmer vom Hund erschreckt wurden, und er sagt selbstsicher einem bei ihm übernachtenden Wanderer:

«Повадился наш Белолобый с овцами спать, в тепле. Только нет того понятия, чтобы в дверь, а норовит всё как бы в крышу. Намедни ночью разобрал крышу и гулять ушёл подлец, а теперь вернулся и опять разворoshiл крышу... пружина в мозгу лопнула. Сметрь не люблю глупых!» (т. 9. 105—106)

Am Morgen ruft er den Hund zu sich, schlägt ihn mit einer Rute, zerrt ihm die Ohren und wiederholt:

«—Ходи в дверь! Ходи в дверь! Ходи в дверь!» (106)

Die Situation einer Gerichtsverhandlung kann von zwei Gesichtspunkten aus gewertet werden. Für den Angeklagten kann der Ausgang der Verhandlung, das Urteil (falls es sich um keinen Rückfallverbrecher handelt), moralisch-existenziell wichtig sein. Das Urteil wird aber von Menschen gefällt, deren Beruf es eben ist, Urteile zu fällen, und dies machen sie täglich, stündlich. Durch die Wiederholung kann die Gefahr der Gewohnheit, der Gleichgültigkeit entstehen. In Gogols „Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем“ (1833) leiden die zwei Helden und ihre Umgebung höchstens auf psychologischer Ebene. Nachdem die zwei „Freunde“ in Streit geraten sind, formulieren sie ihre Bittschriften und bringen sie zum Richter. Der Richter, dem der Sekretär eben die Sache mit dem Kosak Bokit'ka, der eine Kuh gestohlen hat, mit monotoner, einschläfernder Stimme vorliest, richtet aber keine Aufmerksamkeit auf den Sekretär, sondern er beschäftigt sich mit Nebensachen. Er erzählt davon, daß er die Heiserkeit seiner Meise behoben hat, indem er die Geschwulst in der Kehle des Vogels aufgestochen hat. Ivan Ivanovič tritt in diesem Moment ein, und der Richter bietet ihm mehrmals mit denselben Worten Tee an. Das Benehmen des Richters ist vor allem von dem Gesichtspunkt Ivan Ivanovičs aus komisch, der eine viel wichtigere Sache zu erledigen hat, als Tee zu trinken. Das automatisierte Benehmen des Richters

macht ihn selber auch komisch. Die Gleichgültigkeit des Richters kann keine tragischen Folgen haben, nicht nur deshalb, weil er sich mit einer unbedeutenden Sache und nicht etwa mit Mord beschäftigt, sondern vor allem deshalb, weil im Werk alle außertande und unwürdig sind, moralisch zu leiden. Die automatisierte Gleichgültigkeit des Richters ist auch deshalb komisch, weil die Folgen seines Benehmens entweder nicht dargestellt sind (was mit dem Kosak Bokit'ka geschieht), oder auch, wenn sie dargestellt wären (die Gleichgültigkeit des Richters ist Teil der Gleichgültigkeit des höchsten Gerichts, die Sache der zwei Helden bleibt ungelöst), wäre es unwichtig, was mit zwei zu Entwicklung und Leiden unfähigen Menschen geschähe.

In Čechovs Kurzgeschichte „В суде“ (1886) ist auch nicht das äußere Geschehen wichtig, d. h. was für ein Urteil in der Sache des Bauern, Nikolaj Harlamov, gefällt wird, der der Ermordung seiner Frau (also nicht des Stehlens einer Kuh oder der Beleidigung durch das Wort „рысак“) beschuldigt wird. Aus dem verzweifelten Protestieren des Angeklagten, aus seiner Überraschung, daß im Gerichtssaal alle gleichgültig sind, sich auf den Gesichtern kein Gefühl, weder Mitleid noch Haß, widerspiegelt, geht seine Unschuld und gleichzeitig seine Fähigkeit, moralisch zu leiden und die Möglichkeit des Leidens dieser Art hervor. In einem solchen Kontext werden der Sache gleichgültig gegenüberstehende Vorsteher, welcher unter der Wirkung der monotonen Stimme des Sekretärs (wie bei Gogol) und des Geräusches der Ventilationseinrichtung hin und wieder einschläft, der stellvertretende Staatsanwalt, der mit gieriger Aufmerksamkeit Byrons Kain liest, der Obduktionsarzt, der in den Gerichtssaal kam, um sich mit seinem schönen, modischen Anzug zu brüsten, verantwortlich gemacht. Und obwohl die dramatischen, vielleicht tragischen Folgen dieser universalen menschlichen Gleichgültigkeit (etwa ein falsches Urteil und seine Folgen, wie z. B. in Lev Tolstoj's „Воскресение“) nicht dargestellt sind, ist aber schon die unmittelbare Folge dramatisch und tragisch, daß nämlich die einschläfernde Gleichgültigkeit der Ankläger auch auf den Angeklagten selbst einschläfernd wirkt.

«Успокоившийся мужик не понимал, что к житейским драмам и трагедиям здесь так же привыкли и присмотрелись, как в больнице к смертям, и что именно в этом-то машинном бесстрастии и кроется весь ужас и вся безвыходность его положения.» (т. 5. 346)

In den sich wiederholenden Situationen werden die Menschen einander gegenüber emotionell stumpf und gleichgültig. Die mitmenschliche Liebe kann auch durch das Wertbewußtsein bestimmende Rang-Bewußtsein eine Frustration erleiden. Čechovs Bischof („Архиепей“, 1902) ist unfähig, sich vom Alleinsein, vom eigenen Rang-Gefängnis zu befreien, obwohl er sich nach natürlichem, menschlichem Kontakt, nach Liebe zu seiner Umgebung, und vor allem zu seiner Mutter sehnt; er ist nicht imstande, sich vom eigenen Rang infolge des Rang-Bewußtseins seiner Umgebung zu befreien. Die Mutter verehrt ihren Sohn und bemerkt in ihm den leidenden, kranken, sich nach Mutterliebe sehrenden Menschen nicht, und erst als er stirbt, wird sie sich ihres Versäumnisses bewußt. Der Bischof Pjotr fährt aus der Kirche nach Hause und freut sich sehr, als er erfährt, daß seine Mutter zu ihm zu Besuch gekommen ist. Aber der Erzähler bringt auch die Wiederholung des Rangs in die Darstellung der Freude des Helden hinein, und er deutet durch diese Wiederholung in Übereinstimmung mit dem Titel der Erzählung das tragische Schicksal seines Helden an.

«... это Панкратиевский монастырь, в котором жил преосвященный Пётр... Карета въехала в ворота... — А тут, ваше преосвященство, ваша мамаша без вас приехали, — доложил келейник, когда преосвященный входил к себе. — Маменька?... И преосвященный засмеялся от радости.» (т. 10. 187)

Die sich wiederholenden prosaischen Lebenssituationen können aber die Menschen nicht nur voneinander entfernen, sondern auch einander näherbringen. Bei beiden Schriftstellern kommt die Darstellung einer Menschenschicksale bestimmenden, im Wertbewußtsein eine führende Rolle spielenden Gewohnheits-Liebe vor. Der Gogolsche Erzähler wertet seine altmodischen Gutsherren infolge ihrer gegensätzlichen Lebensweise, ihres Charakters entgegengesetzt. In der Exposition wiederholen sich von Tag zu Tag einerseits ihre tierisch-biologische Natur (Essen-Trinken-Schlafen), andererseits mit dieser vereint ihre Liebe zu den Menschen und einander gegenüber; sie bieten ja ständig ihren Gästen und einander Speisen und Getränke an. In der Exposition verwirklicht sich durch die erzählerische Wiederholung die komische Herabschätzung der Liebe, indem diese Liebe mit niedrigen Strebungen verbunden, verschmolzen ist. In der tragischen Situation vor ihrem Tode tritt aber die selbstlose, selbstvergessen einander liebende, eindeutig positive, wahrhaft menschenwürdige Seite ihrer zweifachen Natur in den Vordergrund. Gogol verurteilt die durch lügnerische, weitschallende Ausdrucksgesten zur Geltung kommende romantische leidenschaftliche Liebe in einer gegen Romantik gerichteten Darstellung (der junge Mann des eingefügten Teiles versucht mehrmals nach dem Tod seiner Braut Selbstmord zu begehen, doch er wird nach einem Jahr in eine andere Frau verliebt sein, in seinem Herzen sind alle Spuren der früheren Neigung verschwunden), aber er zeigt durch seine Helden auch den selbstlosen, reinen Charakter einer stillen Gewohnheits-Liebe. Der Erzähler erfährt bestürzt, als er Afanasij Ivanovič fünf Jahre nach Pulcherija Ivanovnas Tod besucht, daß der Kummer des Alten, sein stiller Schmerz im Laufe der Jahre nicht schwächer sondern stärker wurde.

«... он сидел бесчувственно, бесчувственно держал ложку, и слёзы, как ручей, как немолчно текущий фонтан, лились, лились ливнем на застилавшую его салфетку. „Боже! — думал я... — Что же сильнее над нами: страсть или привычка?...“ Что бы ни было, но в это время мне казались детскими все наши страсти против этой долгой, медленной, почти бесчувственной привычки.» (т. 1.228)

Die Heldin in Čechovs „Душечка“ (1899) hat in der Wertung des Erzählers eine zweifache Natur. Olen'ka liebt ihre Männer selbstlos, selbstvergessen, aber die Ironie des Erzählers zeigt sich eben in der mechanischen Wiederholung einer Liebe dieser Art. Es ist etwas Komisches daran, daß eine solche reine Liebe nicht durch lange Jahre und als Ergebnis einer auf einen und denselben Menschen gerichteten Gewohnheits-Verbindung, sondern von heute auf morgen zustande kommt; und zwar entsteht auf diese Weise eine solche Neigung in einem Menschen, der seine Individualität nicht nur selbstlos vergißt, sondern gleichzeitig auch aufgibt.

«Каждая глава начинается с тирады её очередного любимого человека о себе, о взглядах на жизнь... потом повторение авторского сообщения „Она его полюбила... Оленька его полюбила“ или повторение авторских комментариев о первом замужестве „После свадьбы жили хорошо“. О втором: „поженившись, жили хорошо“ или повторение причитаний Оленьки по первому му-

жу, „Голубчик мой... На кого ты покинул свою бедную Оленьку...“ по второму, „На кого же ты меня покинул, голубчик мой?“ В каждом случае Душечка искренне горюет, отдаётся чувству, однако сходство, единообразие и ‚симметричность‘ в описаниях создают впечатление чего-то одновременно и человеческого, и кукольного, механически заведённого»⁶.

Eine neue Version des Themas der Gewohnheits-Liebe gibt Čechov (dessen Aufmerksamkeit sich breit, horizontal unter den psychischen, moralischen, gesellschaftlichen Erscheinungen, Gesetzmäßigkeiten in Rußland am Ende des 19. Jahrhunderts bewegt, im Gegensatz z. B. zu Lev Tolstoj, der seine Charaktere vertikal in zeitlicher Reihenfolge aufgrund der eigenen charakterologisch-weltanschaulichen Fragenstellungen schafft) im alten Helden der Erzählung „Нахлебники“ (1886) in Zotov. Die Gewohnheits-Liebe kann aufgrund ihrer psychischen Natur alte Menschen charakterisieren. Im Werk verknüpft sich das vermechanisierte, geistlose Gewohnheitssystem mit dem auf derselben Grundlage ruhenden außerordentlichen moralischen Erlebnis und Konflikt. Zu großen moralischen Taten und Erlebnissen ist die Anwesenheit des Geistes nicht immer notwendig. Das Leben des Helden, sein Benehmen wird vollkommen durch die Wiederholung, durch Gewohnheiten ohne geistigen Inhalt bestimmt.

«По давнишней привычке, он долго стоял перед образом и молился... По той же привычке он подмел комнату и сени и поставил свой толстенный четырёхногий самоварчик из красной меди. Не будь у Зотова этих привычек, он не знал бы, чем наполнить свою старость.» (т. 5. 282)

Der Lebensraum, die existenzielle Möglichkeit des Alten wird immer enger; immer drohender, erstickender wird für ihn das Futteral des Alleinseins und das Elend. Sein Elend, sein Hunger teilen mit ihm nur sein Pferd und Hund (die ebenso vergreist und mager sind wie ihr Herr). Der alte Zotov gerät in die Lage eines Wertkonfliktes: er kann das Leben wählen, dann ginge er zu seinem Enkel und jagte seine „Schmarotzer“ fort, oder aber er bleibt mit den sehr anhänglichen Tieren zusammen und stirbt mit ihnen vor Hunger. Der Kampf ums Dasein erweist sich als stärker, er geht zu seinem Enkel und läßt seine Tiere umbringen. Die Geschichte wird durch seine vor Schmerzen vernebelten Erinnerungsbilder abgeschlossen.

«У него кружилась голова и темнело в глазах... Мало он помнит из того, что произошло во дворе живодеpa Игната... Помнится, что лошадь была поставлена в станок, после чего послышались два глухих удара: ...Когда Лыска, видя смерть своего друга, с визгом набросилась на Игната, то послышался ещё третий удар, резко оборвавший визг. Далее Зотов помнит, что он, сдуру и спяна, увидев два трупа, подошёл к станку и подставил свой собственный лоб... Потом до самого вечера его глаза заволакивало мутной пеленой...» (287)

Und Čechov variiert weiter das zu behandelnde Thema. Zur Herausbildung der Gewohnheits-Liebe ist es nicht unbedingt nötig, ein hohes Alter zu erreichen; sie kann sich auch während ein paar Jahre in den Menschen herausbilden, falls sie während dieser Zeit ein intensives, an Erlebnissen und Spannungen reiches Leben zu führen gezwungen sind. Die Helden in „Три года“ (1895), Laptjev und seine

⁶ З. С. Паперный. Пушкин в прозе. В сб.: Искусство слова, Москва, «Наука», 273.

Frau, Julia, geraten in diesen Zustand nach verschiedenen Heimsuchungen während dreier Jahre, und zwar aus entgegengesetzten Richtungen; der Mann durch eine leidenschaftliche, aber unerwiderte Liebe, die Frau durch eine Gleichgültigkeit. Er beruhigt sich langsam, sie erwärmt sich allmählich. Julia gibt aus religiöser Selbstaufopferung, Mitleid, und Sehnsucht nach dem Leben in Moskau ihre Einwilligung zur Ehe; es fehlt aber aus ihrer Erlebniswelt die wichtigste, natürlichste Neigung. Laptjev haßt seine Frau infolge jener unerwiderten, vereitelten Liebe, er glaubt, daß seine Frau ihn wegen seines Geldes heiratete, dann sieht er seinen Irrtum ein. Inzwischen stirbt ihr Kind, und die gemeinsame Erschütterung bringt sie auch einander näher. Es ist kein Zufall, daß es Laptjev am Ende des Werks scheint, als wenn seit der Ehe nicht drei sondern zehn Jahre vergangen seien. Für den reifen Čechov ist es charakteristisch, die Liebe als einen aus Fragen, Zweifeln und Unsicherheiten zusammengesetzten emotionalen Zustand darzustellen (z. B. Aljohins Schicksal in „О любви“ 1899). Weder Laptjev noch seine Frau verstehen es, was mit ihnen geschieht; sie sind nur darin sicher, daß die sich gestaltende Verbindung zwischen ihnen stärker als sie und unabhängig ist. In ihrem Verhältnis verbirgt sich ständig ihre ganze Erziehung, ihre Persönlichkeit, die unbestimmbare Verwicklung ihres auch nach der Ehe voneinander unabhängigen Lebens. Julia scheint, sich selbst „unterwegs“ analysierend, langsam, unsicher ihren Seelenzustand einem ihrer gemeinsamen Bekannten, Jarcev, aufzudecken.

«Вы знаете, я ведь не по любви шла за Алексея. Прежде я была глупа, страдала, всё думала, что погубила и его, и свою жизнь, а теперь вижу, никакой любви не нужно, всё вздор. — Но если не любовь, то какое же чувство привязывает вас к мужу? . . . — Не знаю. . . Так, привычка, должно быть. Я его уважаю, мне скучно, когда его долго нет, но это — не любовь.» (т. 9. 68) «Лаптев сидел в кресле и читал. . . Юлия была тут же в кабнете и тоже читала. . . Изредка он поглядывал на неё через книгу и думал: женишься по страстной любви или совсем без любви — не всё ли равно? И то время, когда он ревновал, волновался, страдал, представлялось ему теперь далёким.» (77)

Gogols Helden, altmodische Gutsherren, werden vom Leben unter außerordentlichen Umständen auf die Probe gestellt, und sie verwirklichen ihr selbstloses, offenes Wesen naiv, selbstvergessen; die Helden Čechovs werden vom manchmal unerträglichen, bewußt durcherlebten, kreuz und quer analysierten und doch nicht verstandenen Druck des Alltags einander nähergebracht und in ihrem Verhältnis voller Fragen gibt es nur einen einzigen festen Punkt; keiner von den beiden kann sich nunmehr sein Leben ohne den anderen vorstellen.

Aus dem sich rhythmisch wiederholenden Kreislauf des prosaischen Lebens versucht einer der unbedeutendsten Offiziere der Artillerientruppe, Rjabovič („Потцелуй“ 1887) auf einen Augenblick auszubrechen, aber nur, um dieses Leben ein für alle mal doch zur Kenntnis nehmen zu müssen, während er von einer in der Tiefe der Seele glimmenden Unzufriedenheit weiter gequält wird. Einmal hat er sich schon an die eigene Unansehnlichkeit gewöhnt, aber das Schicksal übertölpelt ihn noch einmal. Als die Artillerientruppe im Dorf Mest'ecski ankommt, lädt von Rabbeck, ein Generalleutnant, ortsansässiger Gutsbesitzer, die Offiziere, unter ihnen auch Rjabovič ein, der ein seltsames Abenteuer im Haus des Gastgebers zu erleben hat. Er verläßt seine Kameraden, die Billard spielen, und als er sich verirrt, küßt eine

Dame ihn aus Versehen in einem dunklen Zimmer. Rjabovič flüchtet zuerst vom „Tatort“, aber als er dann sieht, daß niemand sein Abenteuer bemerkte und er auch weiterhin von niemandem beachtet wird, fühlt er, daß einmal jemand in dieser sich von ihm abwendenden, gleichgültigen Welt ihm gegenüber aufmerksam und liebevoll war, und diese Erfahrung wird für den Helden immer privater, wertvoller. Er erlebt, ähnlich wie Akakij Akakijevič, eine Wiedergeburt, und hegt, von der Umwelt weiterhin zurückgezogen, still und ruhig sein Erlebnis, um das er, wenn auch nicht mit der Heftigkeit von Gogols Piskarev, seine aus dem prosaischen, grauen Alltag emporsteigenden Wunschbilder spinnt. Als er sich dann mit seiner Batterie aus dem Dorf entfernt und von derselben grauen Kanonenformation, von denselben staubbedeckten Gesichtern, im Gegensatz zu den bunten Farben des Abschied nehmenden, im Sonnenschein schwimmenden, immer ferner rückenden gutsherrlichen Appartements, umworben wird, hat er das Gefühl, daß für ihn ein neues Leben beginnt; daß er imstande sein wird, mit Hilfe seines außerordentlichen Erlebnisses die monotone Eintönigkeit des Lebens zu überwinden. Einmal führt ihr Weg von neuem durchs Dorf; der Held sucht mit pochendem Herzen und zurückgehaltenem Atem den Boten, der sie einst zu von Rabbeck eingeladen hatte. Da aber nichts geschieht, sucht Rjabovič allein den Ort seiner einstigen beglückenden Erfahrung wieder auf, und diesmal erlebt er wieder etwas, was aber seinen Erwartungen widerspricht, und was in seiner Unbedeutsamkeit bedeutsam wird. Er bemerkt, daß die Strahlen des Mondscheins an den sich unerbittlich in eine unbekannte Richtung bewegenden Wellen zerbrechen. Er fühlt instinktiv, daß der Strom des Wassers für ihn das unsinnige, eintönige Geschehen des Lebens bedeutet, und daß dieser Storm den Mondschein, das heißt seine Träume, ein für alle mal vernichtet hat. Und dieser still und unerbittlich strömende Fluß verstärkt seine symbolische Bedeutung in Rjabovičs Augen zu Gesetz, denkt an den Kreislauf des Wassers, daran, daß vielleicht dasselbe Wasser mit ironischer Grausamkeit fließt, wie damals, als er für einen Augenblick glücklich war.

«Вода бежала неизвестно куда и зачем. Бежала она таким же образом и в мае; из речки в мае месяце она влилась в большую реку, из реки в море, потом испарилась, обратилась в дождь, и, быть может, она, та же самая вода, опять бежит теперь перед глазами Рябовича... К чему? Зачем?... (т. 6. 423)

Das offene flache Leben mit seinen unverständlichen, sich objektiv wiederholenden Geschehnissen erweist sich als stärker als die Futteral-Träume des Helden. Im Gegensatz zu Piskarevs gesteigerter emotionaler und moralischer Enttäuschung und Verzweiflung oder zur Verzweiflung, zum Tod, zur Rachesucht und Rache von Akakij Akakijevič, verarbeitet Rjabovič intellektuell die Brechung seiner Träume an der Wirklichkeit; er ist imstande, dem „warum?“ eine gedankliche Form zu geben. Als er dann zurückkehrt und erfährt, daß seine Offiziersgenossen zu einem anderen General eingeladen worden sind, geht er ihnen nicht nach, weil er fühlt, weiß und erkannt hat, daß mit ihm nichts geschehen kann, und im Gegensatz zu den Helden von Gogol nimmt er leidend den monotonen sich wiederholenden Charakter des Lebens an. Dieser Kompromiß charakterisiert die Helden von Gogol nicht; entweder erleben sie die Spannung des Kompromiß-Schließens gar nicht, oder sie gehen daran zugrunde. Für die Gogolschen Helden ist es auch nicht charakteristisch, sich über die sich automatisch wiederholende Wirklichkeit zu erheben und sie zu meistern.

Dies versuchen die Čechovschen Helden, obwohl ihre Zahl gering ist. Pereklad'in in „Восклицательный знак“ (1885) lebt vierzig Jahre lang in seinem abgestorbenen, von mechanischen Wiederholungen bestimmten Gewohnheitssystem, auf das er sogar noch stolz war, bis eine die Wiederholung behebende, zum Nachdenken anregende Bemerkung eines jungen Mannes ihn aus dem Zustand eines lebenden Leichnams erweckt. Und dann wird plötzlich alles in seiner Seele zu einmaligem Geschehen; seine Persönlichkeit akzentuierend, fühlend, denkend wird er emotionsreich und selbstbewußt. Und er, als ein kleiner Mann, der nie in seinem Leben das Aufrufezeichen beim mechanischen Kopieren verwendet hatte, bringt endlich seinem Vorgesetzten zur Kenntnis, daß sein Name unbedingt mit einem Aufrufezeichen zu schreiben sei.

«Конармия» И. Бабеля в литературной критике 20-х годов

А. ГЕРЕБЕН

Настоящая статья представляет собой отбор и анализ важнейших откликов на одно из самых значительных событий советской беллетристики середины 20-х годов: на выход в свет в 1926-ом году цикла рассказов И. Бабеля «Конармия». Автор ставит перед собой как бы двойную цель. С одной стороны вовлечь в научный обиход редкие, а порой совсем не доступные читателю тексты научных исследований и «злободневных» рецензий со страниц журналов и газет середины 20-х годов. Нам кажется это важным в первую очередь потому, что анализ непосредственной реакции литературной критики и сравнительно широкой общественности на выход в свет «Конармии» проводится как правило на основе знакомства с чрезвычайно односторонним, почти случайным материалом. С другой стороны, приводя цитаты диаметрально-противоположных мнений, нам хотелось бы привлечь внимание к неповторимо «открытой» атмосфере данной эпохи.

31-ого марта 1926-ого года Бабель писал своей сестре, проживающей в Бельгии: «... посылаю тебе заказной бандеролью маленькую мою книжку Ист(орию) м(оей) голубятни. Из Берлина мне прислали вышедшую в издании Малик Ферлаг мою книжку *Одесские рассказы*. Издана очень хорошо, думаю, что в Брюсселе ты можешь ее купить. Конармия на русском и немецком языке выходит в апреле»¹.

Стоит-ли читать «Конармию»?

Итак «Конармия» вышла в свет в качестве отдельного издания поздней весной 1926 года. Однако все эпизоды, вошедшие в органическое целое цикла рассказов заранее уже были опубликованы автором. Поэтому-то спор вокруг «Конармии» уже был в полном разгаре. И вскоре даже были подведены первые итоги этого спора, правда, не в Москве, а в Праге, на страницах эсеровского, в конечном счете не столь враждебного советской власти журнала «Воля России». Автор статьи, историк *Мельникова-Папоушек* еще в России придер-

¹ Русский оригинал письма получен от адресата.

живалась *нео-славянофильских* взглядов, а в эмиграции стала женой одного из руководителей чехословацкого легиона периода гражданской войны, секретаря Масарика. Спор вокруг «Конармии» представлялся ей следующим образом:

«О И. Бабеле идет постоянный спор. Одни, как Буденный, обвиняют его в клевете на Красную армию, другие, как и большинство коммунистических критиков, заявляют, что он проглядел красоту, пафос революции, что он мелко — буржуазный, разлагающийся рсмантик, трети, наконец (к ним принадлежат эмигрантские критики), нашли у него богохульство, цинизм и прочие грехи. Происходит это, главным образом, оттого, что сюжет у Бабеля, несмотря на всю свою дробность или, быть может, именно благодаря этой его концентрированности, поражает читателя настолько, что он перестает обращать внимание на форму. Обыкновенному рядовому читателю, как и генералу Буденному, это простительно, но от критиков можно было бы ожидать больше опытности и внимательности»².

Папоушек-Мельникова конечно права, указывая на необычно тесное взаимоотношение «сугубо-литературных» и «идеологических» оценок «Конармии». Однако она не права причислив критиков из «коммунистического лагеря» к хулителям Бабеля. Мнение критиков-марксистов о «Конармии», как и критиков, находящихся по ту сторону баррикад, нельзя счесть ни однозначно-отрицательным ни однозначно-положительным. И лишь на первый взгляд кажется парадоксальным, что рассказы, вошедшие впоследствии в «Конармию» были очень тепло встречены лидерами группы «На Посту» Лелевичем, Родовым и Раскольниковым. Одним из первых поддержал Бабеля *Лелевич*, самый известный пожалуй в то время теоретик пролетарских писателей: «Наиболее интересным и заслуживающим внимание явлением в области попутнической беллетристики за истекший год следует признать появление на страницах наших журналов фрагментов Бабеля.

Этот писатель — почти дебютант; во всяком случае, широкой публике становится известен впервые. Но уже первые произведения высказывают все признаки огромного таланта и мастерства: изумительный лаконизм, умение немногими словами дать законченный, навсегда врезающийся в память образ, яркая оригинальность, полное, неразрывное соответствие между содержанием и формой, несравненный, красочный, сочный, выразительный народный язык, причем автор пользуется различными жаргонами не как экзотическими прикрасами слога, а как основным словесным материалом.

Все это невольно заставляет с огромным интересом и вниманием присмотреться к молодому художнику. Лучшее, что опубликовано пока Бабелем, это фрагменты книги «Конармия», напечатанные в 4-ом № Лефа. Никто не передал еще так в художественной литературе будённовцев с их героизмом, с их инстинктивной революционностью, с их бесшабашным, партизанским, казацким духом... Ни малейшей идеализации. Напротив, сплошь и рядом — тонкая усмешка, и в то же время впечатление огромной революционной мощи. Чего стоит например рассказ «Соль», этот безусловный шедевр! ...Какие-то

² Н. Мельникова—Папоушек. Конармия. Воля России (Прага), 1926. 8—9. 234.

господа Эренбург или Зощенко сделали бы из этого сюжета грязный обывательский анекдот, над которым гоготали бы жеребчики из молодого поколения новой буржуазии. Но Бабель сумел преподнести этот эпизод так, что у читателя осталось впечатление несравненной революционной силы, свойственной забавному и, казалось бы, дикому автору письма и его товарищам.

Следует, однако, оговориться, что пока еще рано признать Бабеля пролетарским писателем. Его «Миниатюры» появившиеся в 7-й книге «Красной Нови» за прошлый год (символично появление этих произведений в этом журнале), дышат интеллигентской рефлексией и скептицизмом. Не будем гадать, что возьмет верх: редкое чутье революционной действительности или утонченная ирония декадента. Как бы там ни было, фрагменты из книги «Конармия» останутся навсегда ярким образцом действительной, а не мнимой революционной литературы”.

Столь добροжелательный, более того глубокий анализ — свидетельствует и о том, что нельзя кстати и не кстати приклеивать к тогдашней публицистике Лелевича яркий «упрощенщичество». А его мнение о Бабеле — отнюдь не исключение в кругах теоретиков пролетарских писателей. Казалось бы на первый взгляд их должна была возмутить позиция Бабеля. Но она возмутила отнюдь не их, а далекого от них, весьма тонкого критика-марксиста тех времен Н. Осинского (В. В. Оболенского).

Н. Осинский, как литературный критик в наши дни к сожалению почти забыт. В 1920—30-е годы это был не только один из известнейших экономистов страны, возглавлявший после Октябрьской революции поочередно Государственный Банк, ВСНХ, Наркомат Земледелия и Центральное Статистическое Управление, но и автор статей о литературе и театре, которые регулярно печатались сначала в «Правде», а затем в «Известиях». С группой «На Посту» у Осинского произошел серьезный конфликт, когда он на страницах «Правды» назвал Анну Ахматову крупнейшим поэтом эпохи. Возникла ожесточеннейшая полемика, отзвуки которой слышится в статье *Семена Родова*, самого ортодоксального критика группы «На Посту»⁴, посвященной и творчеству Бабеля. Согласно мнению Осинского Бабель — «один из тех писателей, при появлении первого букета рассказов коего (в «Лефе», начало 1924 г.) приходилось сказать, «недурно, очень недурно»; но — хорошо поет, куда-то сядет; и не потопит-ли блестящих таланта в потоке интеллигентской белиберды. ... А уж получались опасения, — по ... отрывкам «Письмо», «Смерть Долгушева» и пр. — что вылезет он непропорционально вперед, обнаружит, что у автора в голове на первом плане революционный сумбур, что автор в революционной эпохе умеет схватить только сумбур, красочно — сенсационно — скандальное, натуралистически — залихватское.

И тут же — (не во всем) отличная картинка «Колесников», где описан Буденный — редкий образчик в беллетристике хорошего *портрета*, не описания *типа* (...)

³ Р. Лелевич. 1923 год. На Посту, 1924. I. 87.

⁴ С. Родов. Организационные вопросы пролетарской литературы. На Посту, 1925. I. 85.

В течении года Бабель «распубликовался» в довольно значительном масштабе. И тут сказались, что наш столь «революционный» в искусстве «Леф» взял у Бабеля для опубликования лучшее и наиболее умеренное (какой позор для Лефа!). Дальше все недостатки Бабеля обнаружились с доминирующей силой. Не говоря о том, что «Конармия» оказалась состоящей исключительно из деклассированных типов, видящих все свое назначение в том, чтобы покрепче выпить, отмочить сногшибательный номер, гоняться за жеребцами и кобылами, совокупляться публично во всех видах и по всякому поводу. . .

Автор вообще обнаружил полную неуровновешенность и по содержанию и по форме. По содержанию, разумеется, и у Бабеля явилась на сцену «бабища» (и надоела же она нам, прости господи!), которая губит ангела господня неумеренной физической страстью. Сие, может быть, и очень «символично», и очень «глубоко», и очень «под Достоевского», но сие есть отъявленная реакционная белиберда, с которой совестно показываться в люди на восьмом году революции. . . А красочность одесских революционеров расцвела в какую-то одесского происхождения нехудожественную мазню, с которой опять-таки совестно показываться в люди, когда миллионы читателей, где они? требуют ясной, простой, крепкой, но играющей всеми цветами радуги формы.

Одним словом, Бабель сразу не оправдал надежд и уже в течение 1924 года пошел на убыль в глазах читателя со здоровым нутром и здоровым литературным вкусом. Если Бабель в самый короткий срок не приведет себя в соответствие с требованиями эпохи, он — конченный человек”⁵.

Цитированные строки Осинского и слова Родова в защиту Бабеля свидетельствуют не только о различном их подходе как читателей и критиков к «Конармии», но и о том, насколько неоднородной была реакция в лагере марксистов. Следовательно тезис о том, что Бабель по выходу в свет «Конармии» был предан *анафеме слева*, следует отбросить сразу-же.

К тому-же разноречивость, разнорой в оценке Бабеля проявляется не только в «идеологическом» подходе к отдельным рассказам из этого цикла. (Весь цикл состоял в 1926-ом году из 34-х рассказов)⁶. Некоторые из авторов высоко оценивая либо отрицая профессиональное мастерство Бабеля находят в его рассказах единство содержания и формы, другие-же — независимо от их партийной принадлежности — начисто отрицают наличие такого единства.

Обратимся к великолепному, многоплановому изданию данной эпохи, журналу «Печать и революция», посвященному «вопросам литературы, искусств, истории, критики и книжного дела». Выходил он под редакцией образованнейших марксистов старшего поколения, причастных к ряду отраслей наук: А. В. Луначарского, Н. Л. Мещерякова, М. П. Покровского, В. П. Полонского и И. И. Скворцова-Степанова. В работе журнала участвовали многие беспартийные авторы, в первую очередь из профессорской среды обеих столиц. Один из постоянных авторов журнала, известный критик А. Лежнев высказался вскоре после выхода отдельного издания «Конармии» следующим образом:

⁵ Н. Осинский. Литературный год. Правда, 1 января 1925 года.

⁶ Последний эпизод «Армак» был включён в цикл в начале 1930-х годов, уже не только по соображениям художественного характера.

«Бабель героизирует своих героев, он создает вокруг казаков ‚Конармии‘ песенно-былинный ореол. Бабель знает о необходимости жестокости не хуже своих критиков. Она у него оправдана (‚Соль‘, ‚Смерть Долгушева‘), оправдана революционным пафосом. . . . оправдание жестокости у него странно и протеворечиво уживается с неприятием ее. Из этого противоречия нет выхода»⁷.

Ради контраста приведем статью публициста эмигрантского журнала «Версты» право-кадетского толка, глубоко враждебного Советской власти. Автор пространной статьи *Александр Туринцев* удивляет своим отношением к «Конармии»: «Бабель не знает ни солнечной вселенной и природы, ни радости бытия, ни радости любви. Все живое, когда на него смотрит Бабель, мертвет. Тяжесть, сырость, прах, смерть. Это какой-то Вий с тяжелыми веками и пригвождающим взглядом. Но зато по силе этого взгляда и запечатленность увиденного, вырубленная словом точным, вьедчивым и грубым. . . . Они (солдаты — красноармейцы — А. Г.) убивают, их убивают. И все так просто. . . . Я сказал, что взгляд Бабеля мертвит. Бабель прикован к крови, к смерти, ищет всюду ее, или просто попадаетея она ему все время на глаза⁸. . . . Но несмотря на огромную тяжесть страниц Бабеля, на пребывающую всюду убоину — запах разложения не чувствуется. Сологубовского тления, последней гнилости распада в небытие у него — нет.

Смерть у него, нет, не легкая, а давящая — но вместе с тем какая-то простая и здоровая. . . . Ах как просто, до ужаса просто (без тени позы — но героически) умирают у него эти, в то же время жадные до жизни, люди . . . А вот это знакомое каждому варившемуся в пекле войны ощущение.

Да, подъем, многообразие, острота восприятий под склонившейся смертью, радость от того, что жив — и в конце концов, когда уже — через край — все сливается в однообразие. Тошно, скучно. . . .»⁹

Для полноты картины надо упомянуть и о том, что выход «Конармии» приветствовал журнал «Октябрь», литературный орган Ассоциации Пролетарских Писателей, редактором которого был Леопольд Авербах. «Для показа современных писателей издан небольшой томик рассказов И. Бабеля, куда вошли все лучшие произведения этого талантливого беллетриста . . . Все эти рассказы ярко-красочны и крепко сколочены излюбленным и характерным для Бабеля приемом ‚остранения‘. Они преподносят эпизоды гражданской войны в юмористическом разрезе интеллигентского восприятия и интеллигентского насмешливого любования ‚красочной простотой‘ революционной ‚свирепости‘. Широкая читательская масса рабочих и крестьян не может в силу этого, в одинаковой с интеллигентской степени, понять всю своеобразную прелесть бабелевского стиля. Однако знакомство с ним по наилучшим произведениям — более чем своевременно и необходимо»¹⁰.

⁷ А. Лежнев. И. Бабель. Заметки к выходу «Конармии». Печать и революция, 1926. 6. 85.

⁸ Ср. со следующими словами: «Наоброт, он любит вплоть, мясо, кровь, мускулы, румянец, всё, что горячо и буйно растет, дышит, пахнет, что прочно приковано к земле.» А. Воронский. И. Бабель. А. Сейфуллина. Литературные силуэты. Красная Новь, 1924. 281.

⁹ А. Туринцев. Опыт обзора. Вёрсты (Париж), 1926. I. 218—220.

¹⁰ С. Жайворонко. О 15 и собраниях. Октябрь, 1926. 3. 130.

Романтик, который одновременно реалист, натуралист, индивидуалист и циник

В большинстве случаев авторы обзорных статей относили «основной тон» Конармии к романтическому повествованию. В этом случае обычно следовали ссылки на пафос, на «легкость и фееричность рассказов, на яркие цвета. ”В пользу причисления Бабеля к романтикам не могу не сказать еще и то, что жизненность, доведенная в искусстве до крайности, начинает представляться нам, как фантастика” — утверждает Мельникова-Папоушек¹¹.

По мнению *Горбачева*, очень известного в 20-е годы литературного критика, объявленного впрочем вскоре оппозиционером и поэтому забытого на долгие годы: «Бабель любит расцветивать жизнь в цвета разнообразнейших романтизмов, иногда смешивая цвета рассмотрением одного и того же угла быта сквозь разные романтические очки. Бабель знает разные виды романтизма: грустный романтизм уходящего правоверного еврейства, сталкивающийся с несколько пародированным прямолинейно-юным, наивно верующим революционным романтизмом, — слишком оптимистическим и незадумывающимся; романтизм налетчиков, «рыцарей Молдаванки» и их Гомера, «гордого еврея, живущего при покойниках», нищего реиб Арье Леиба; романтизм примитивного полукрестьянского коммунизма конармейцев; романтизм самого сказителя новелл, романтизм пародированного горьковского, торжественно-эстетически-оптимистического, пышнословного подхода к жизни.

Бабелевские новеллы всегда почти рассказываются каким-нибудь романтиком. Но романтические иллюзии разрушаются то столкновением двух противоположных романтических трактовок бытия, то скептическими ремарками автора, снимающего романтическую маску или начинающего явно пародировать свой романтический тон. Самый же лучший способ разрушения романтических иллюзий, это — как хорошо знает Бабель — столкновение романтизма с самой нарочито цинично обнаженной, утрированно обыденной действительностью. Эффект усиливается оттого, что о грубой действительности говорится тем же стилем и тоном, что и о ее романтическом восприятии: истина проскальзывает как бы невольно, предыдущий, романтический стиль начинает звучать пародийно»¹².

Совершенно иного мнения придерживался не менее известный критик середины-конца двадцатых годов *Вешнев*, выступивший на страницах общественно-политического и литературного журнала «Молодая Гвардия» со статьёй «Поэзия бандитизма»:

«Бабель — искуснейший новеллист. Его новелла всегда заострена пикантным сюжетом, почти всегда жестоким. Сюжет исчерпывающе развит в крайне ограниченной, строго очерченной, словесной рамке. Его новелла реалистична, глубоко погружена в жизненный материал. Жестокое содержание воспринимается легко, ибо оно прошито либо иронией, либо тонкой поэтической идеализацией. Оно всегда, кроме того, окантовано вычурным пейзажем, вычурность

¹¹ Н. Мельникова-Папоушек. Указ. соч. 236.

¹² Г. Горбачев. О творчестве Бабеля и по поводу него. Звезда, 1925. 4. 283.

которого не всегда даже чувствуется, вследствие умения экономить краски и своеобразного пользования стиливыми средствами. . . .

Бабель — реалист. Но «реализмы» бывают всякие. Во-первых, Бабель предпочитает писать о том, что он сам видел и во что «вчувствовался» . . . вторых, он заботится при передаче, чтобы материал не был бы искривлен и попорчен, чтобы дух его оставался девственным и непосредственным. Поэтому он часто прибегает к точности протокола и сохраняет не только типичность, но и специфичность языка персонажей.

Но дальше следуют оговорки. При всем реализме он отдает дань субъективности. Это выражается в выборе фабулы, эпизодов, фактов. Материал он развертывает перед собой, как товар, и рассматривает его, выбирает долго, как любитель. И, как любитель, обрабатывает его. Остальной, оставшийся после выбора, утаивает не только от читателя, но и от самого себя. На это можно возразить, что гражданская война есть непрерывная цепь кровавых эпизодов. Тут и выбирать-то нечего. Верно, но есть кровавые эпизоды, вызывающие отвращение, и есть такие, которые облегчают душу, с которыми не только миришься, но и благословляешь их. Кровавые эпизоды Бабеля не радуют, как он ни старается ими обрадовать.

Чувствуется присутствие выдумки. Но ее трудно раскрыть: она хитро завуалирована. Она вставлена в гущу фактов, в подлинности которых не сомневаешься, благодаря точности описания, благодаря тому, что сам материал своеобразно легендарен.

. . . Бабель любит описывать вещи. Но, склонный к реализму, он не интересуется «вещью в себе», не проникает внутрь ее. У него почти отсутствует наряду с этим так называемый психологизм. Он не заподозревает собственного внешнего свидетельства вещи. Описывая ее, даже безобразную, он украшает ее словами, и пользуется ею так же, как и пейзажем, для словесного управления. И вещь остается такой, какая она есть, описание служит не только ее копией, но и капризным орнаментом, как буржуазные цветы на провинциальных фотографиях. Но, он не всегда кажется безвкусным и лишним, как эти бумажные цветы»¹³.

За этим остроумным, но безусловно очень упрощенным (и не слишком распространенным еще к тому времени) пониманием реализма проступает нескрываемая симпатия к рассказам Бабеля. Но затем вдруг следуют неожиданные рассуждения: «Бабель к революции подошел с моральным критерием. Уже одно это плохо. Революция морали не подведомственна. А, наоборот, мораль ей подчинена. Не проникая в глубину этой темы, приходится сказать, что этот критерий уже не оригинален. Все так называемые попутчики пытаются подойти к революции с моральным аршином, а он со скользкого и необъятного плаща революции неизменно соскальзывает и на нем не умещается.

Революция оправдывается «имманентно», собственным своим смыслом. Все дело в том, чтобы проникнуть в этот смысл и проникнуться им. А попутчикам, повидимому, это не дано еще и до сих пор. Вы посмотрите, как старается талантливый Бабель. Какой лишней, цветной и тонкой поэзией он

¹³ В. Вешнев. Поэзия бандитизма. (И. Бабель). Молодая гвардия, 1924. 7—8. 274—275.

обволакивает кровавую жестокость красных героев гражданской войны. Его послушать, так невольно подумаешь, что в нашей революции ничего, кроме жестокости, не было, а потому ее одну и приходится живописать и, живописуя, обязательно подрисовывать розовую, нежную, сладостную идеализацию¹⁴.

Умные, и в то-же время гневные слова становятся как-бы поворотным пунктом (причем весьма неуместным) данной статьи. Налицо — признаки двосмыслия орвелловских героев: анализ отдельных художественных приемов автора «Конармии» оборачивается наизнанку. Тон Вешнева становится угрожающим, причем это не просто «недовольство автором», как в статье Осинского, а своего рода программа действий — намек на необходимость «ограничений», коли авторы типа Бабеля не будут придерживаться принципов «нужного» направления в изображении важнейших событий гражданской войны. «У нас, в Советском Союзе была распространена, и имела известную социальную базу мелкобуржуазная анархистская психология. Она имеет ее и сейчас. К ней прокладывают себе дорогу Бабели, воспевая банду, орду разрушителей, ватагу вольных громил. Будет читать Бабелей молодежь городская, молодежь деревенская. Бандитские рассказы с поэзией анархизма написаны просто, прозрачно и увлекательно. Они могут иметь, они будут иметь идейный успех. Может ли это нас радовать?

Может показаться, что это преувеличение. Предыдущие слова могут звучать, как предупреждение, смахивающее на цензурную резолюцию. Это меня мало беспокоит. Литературная критика не может ограничиваться — да никогда и не ограничивалась — только формальной оценкой художественных качеств литературного произведения. Она обнаруживала или предсказывала социальные результаты художественного влияния творений образного слова¹⁵.

Первая часть оценки Бабеля Вешневым удивительно совпадает с конечными положениями *Александра Воронского*, редактора «Красной Нови», открывшего «Конармию» для широкого читателя. Совпадение оценки «Конармии» со стороны Воронского и Вешнева заключается в том, что и тот и другой критик расценивают бабелевские рассказы, как произведения писателя-реалиста. Но до чего отличаются аргументы Воронского, которые приводят к этим выводам! «В своих миниатюрах Бабель бесстрастен, спокоен, медлителен, не торопится и не торопит читателя, тем более он не играет на нервах, не старается, чтобы читатель ломал пальцы. Неспешно тянет он свое скупое, взвешенное, продуманное слово. Он эпичен и в тех случаях, когда становится лириком... Эпичность Бабеля — своеобразный художественный прием, рассчитанный и взвешанный. Современному советскому беллетристу приходится повествовать о событиях совершенно исключительных и иметь дело тоже с исключительным читателем. Ни сюжетом, ни тем более криком, ни пафосом современного читателя не проймешь, если иметь в виду только это. Любой из нас развернет такой сюжет из действительной жизни, что самая потрясающая художественная выдумка побледнеет пред этим сюжетом, а относительно «страшных слов», — то ведь и здесь мы стали привычны ко многому после

¹⁴ Там же, 278.

¹⁵ Там же, 280.

войны 1914 года и революции. Явись сейчас новый Леонид Андреев со своим «Красным смехом», «Тьмой», «Бездной» и будь он менее манерен и более искренен, он оказался бы просто не ко двору со своими приемами и читателя не только «не запугал» бы, но не произвел бы на него и десятой доли того впечатления, которое производил на некоторые круги в свое время старый Андреев...¹⁶ повествовать о только что пережитом в муках и в крови, рассказывать о событиях и случаях, из ряда вон выходящих, спокойно, ровно, размеренно и деловито — это может подействовать на современного читателя гораздо сильнее всяких криков, страшных слов, нервной взвинченности.»¹⁷

Тут невольно вспоминается позиция *Бориса Эйхенбаума*, обращающего внимание не только читателей, но и самих писателей на то, что «для современной прозы заново получила принципиальное значение проблема повествовательной формы, а вместе с ней рассказывания.» И Эйхенбаум тут-же добавляет: «Об этом свидетельствуют такие факты, как сказки и рассказы Ремизова, Замятина, последние вещи Горького, очерки Пришвина, рассказы Зощенко, Вс. Иванова, Леонова, Федина, Никитина, Бабеля и др.»¹⁸ Цитированные слова свидетельствуют о параллельности с аргументами Воронского, что касается оценки бабелевской прозы. Но тождественную оценку цикла рассказов Бабеля редактора «Красной Нови» с мнением Вешнева о реалистичности этой прозы мы можем назвать лишь тождественностью мнимой.

Называя Бабеля «реалистом» Воронский не просто защищал «своего» автора, но и подчеркивал *право* творчески осмысливать явления окружающей его действительности, в споре с теми интерпретаторами «Конармии», которые, как мы видели выше, оценили миниатюры Бабеля, как нечто романтическое. А суть спора следует отнести к дискуссии не столь эстетического, сколь идейного характера. Современники, и среди них оппонент Воронского Горбачев, естественно чувствовали все это гораздо ошутимее, нежели мы, после стольких лет¹⁹. Некоторые места статьи Воронского о Бабеле свидетельствуют так-же о том, что вопрос он ставил гораздо шире, как-бы с позиций оценки «Красной Новью» писателей «бабелевского» таланта: «Бабель укрепляет связь литературы с республикой советов и с коммунистической партией. Он близок к нам и хорошо ощущает, как пахнет наша жизнь, наша эпоха. Можно, пожалуй, без преувеличения сказать, что Бабель — новая веха на извилистом и сложном пути современной литературы к коммунизму. Кое-кто не видит этого, но содержание произведений Бабеля совершенно недвусмысленно»²⁰.

Вслед за чутким анализом творческого метода писателя несколько неожиданно звучат последние «боевые» выводы Воронского. Они напоминают нам самую известную изо всех нашумевших вокруг «Конармии» полемик бурю: спор Максима Горького с легендарным командиром первой Конной Армии Семеном Будённым о творчестве Бабеля на страницах 'Правды'.

¹⁶ См. слова Н. Мельниковой-Папоушек.

¹⁷ А. Воронский. Литературные силуэты. Красная Новь, 1924/5. 279.

¹⁸ Б. Эйхенбаум. Лесков и современная проза (1925). Литература. Ленинград, 1927. 215.

¹⁹ Другое дело, что реализм и натурализм Горбачев считал эквивалентными понятиями, указ. соч. 279.

²⁰ А. Воронский. Указ. соч. 281.

О чем шла речь в споре Максима Горького и Семена Будённого?

Оставляя в стороне работу Воронского, к которой мы еще вернемся, попытаемся поставить вопрос: в чем же была суть нашумевшего далеко вокруг в пространстве и во времени «столкновения» Будённым и Горького? Исчерпывается ли оно явным непониманием Будённым, понятия художественная литература? В статье его мы встречаемся со следующими положениями: «меня удивляет то, что как мог наш советский художественно-публицистический журнал, с ответственным редактором-коммунистом во главе, в 1924 г. у нас в СССР допускать пять подобные песни, не проверив их идеологического смысла и исторически-правильного содержания.

Гр. Бабель не мог видеть величайших сотрясений классовой борьбы, она ему была чуждой, противной, но зато он видит со страстью больного садиста трясущиеся груди выдуманной им казачки, голые ляжки и т. д. Он смотрит на мир, как на луг, по которому ходят голые бабы, жеребцы и кобылы'.

Да, с таким воображением ничего другого, кроме клеветы на Конармию, — не напишешь.

Для нас все это не ново, что старая, гнилая, дегенеративная интеллигенция грязна и развратна. Ее яркие представители: Куприн, Арцыбашев (Санин), и другие, — естественным образом очутились по ту сторону баррикады, а вот Бабель, оставшийся, благодаря ли своей трусости или случайным обстоятельствам здесь, рассказывает нам старый бред, который преломился через призму его садизма и дегенерации, и нагло называет это 'Из книги Конармия'.

Неужели т. Воронский так любит эти вонючие бабье-бабелевские пикантности, что позволяет печатать безответственные небывлицы в столь ответственном журнале; не говорю уже о том, что т. Воронскому отнюдь не безызвестны фамилии тех, кого дегенерат от литературы Бабель оплевывает художественной слюной классовой ненависти»²¹.

Эти слова были напечатаны еще в 1924-ом году, — за три года до знаменитого спора между Буденным и Горьким, — в разделе «Наша трибуна» журнала «Октябрь» со следующим примечанием редакции: «Охотно предоставляя место ценной заметке вождя Красной Конницы, — редакция предполагает в ближайшее время подробно осветить вопрос о творчестве Бабея.»

Обратим внимание на заглавие и последний абзац этого достаточно редкого в истории литературной критики выступления. И становится ясно, что в центре критики Буденного — и тех, кто помог ему написать эту статью, ведь вряд ли он обратился к сравнению с Куприным и Арцыбашевым самостоятельно — не только Бабель, но и редактор влиятельнейшего в ту пору литературного журнала А. Воронский, активный участник фракционной борьбы в партии на стороне оппозиции; борьбы, особенно разгоревшейся после смерти Ленина. Буденный конечно не был в данное время «самостоятельной» политической фигурой, в борьбе этой если он и принимал, то весьма пассивное участие, но удар «рикошетом» по Воронскому был нанесен весьма ощутимый. Принимая

²¹ С. Будённый. Бабизм Бабея из «Красной Нови». Октябрь, 1924. 3. 197.

это во внимание и буденновский текст и нижеприводимые слова Воронского читаются совсем по другому.²²

Редактор «Красной Нови» стремился в своей статье о Бабеле не выходить за рамки намеченной им же цели: разностороннейшим образом привести аргументы, объясняющие самой широкой читательской публике творческий подход Бабеля к событиям гражданской войны, и то что выход в свет «Конармии» важное и новое явление в советской литературе. Но он в то-же время не скрывает на каком фоне ведутся диспуты о Бабеле: «Как редактору „Красной Нови“, в которой печатается Бабель, автору статьи пришлось выслушать ряд самых жестоких упреков от некоторых виднейших военных работников в Красной армии...»

Подобные упреки основаны на целом ряде недоразумений. «Конармия» Бабеля не преследует непосредственно агитационных целей. О нашей армии писали почти исключительно в митинговом духе. И этот тон был единственный и допустимый в условиях, в которых находилась республика советов. Самая тщательная осмотрительность должна сохраняться и по сию пору, но все же относительно мирный период развития дает некоторые возможности и для иного подхода, когда с художника можно требовать не только любви и горячей преданности к Красной армии, но и художественно-правдивого изображения ее...»

Далее, «Конармия» Бабеля не есть конармия Буденного. Писатель не имел в виду дать всестороннюю художественно точную эпопею действительной конармии, путем выделения основного ее духа и свойств, как это, например, сделал Л. Н. Толстой в «Войне и мире» в отношении к тогдашнему обществу и тогдашней армии. Конармия Бабеля нигде не дерется. Мы не видим ее в боях. Писатель упоминает об атаках, но не показывает их. «По знаку начдива мы пошли в атаку, в незабываемую атаку при Чесниках». И точка. Нет также конармии как массы, нет этих тысяч вооруженных людей,двигающихся лавами, с особым, ей только свойственным коллективным духом, с психологией, с бытом. У Толстого есть Кутузов, Пьер, Андрей Болконский, но есть и армия в боях, на отдыхе, в наступлении, в отступлении. У Бабеля в сущности конармии нет, она у него атомизирована, рассечена. У Толстого Кутузов и Наполеон, Денисов и Андрей связаны с армией органически, в них — ее быт, «стиль», дух и т. д. Герои Бабеля — сами по себе; они в конармии, но органически с ней не связаны. Нет поэтому ничего случайного в том, что Бабель выбрал форму самостоятельных, легко распадающихся фрагментов, числом около 30-ти, как нет случайного в том, что для выполнения своих художественных целей Льву Николаевичу понадобилась четырехтомная эпопея: и тот и другой поставили себе различные художественные задания... Люди, ищущие у Бабеля толстовского подхода, предъявляют писателю вексель, который он не под-

²² Тонкая оценка деятельности А. Воронского как издателя даётся в монографии С. Шешукова: Неистовые ревнители. Москва, 1970.; важные документы о его самоотверженной работе: А. К. Воронский. Из переписки с советскими писателями. Литературное наследство. т. 93. Москва, 1983. 531—648.

писывал и не выдавал, и требуют от него того, что совсем не входило в его художественные планы»²³.

Статья Воронского о Бабеле, не просто статья критика, но и весомое слово тогда ещё очень популярного редактора «Красной Нови». Статья эта является важной вехой на пути проникновения «Конармии» в самые широкие массы читательской публики. Но она не вошла в историю споров о «Конармии» в качестве «последнего слова».

Не закончился спор и после того, как — не «вернувшийся» к полемике — журнал «Октябрь» опубликовал следующее письмо самого автора «Конармии»:

«В 1920 году я служил в 6-й дивизии I Конной армии. Начдивом 6-й был тогда т. Тимошенко. Я с восхищением наблюдал его героическую, боевую и революционную работу. Прекрасный, цельный, этот образ долго владел моим воображением, и когда я собрался писать воспоминания о польской кампании, я часто возвращался мыслью к любимому моему начдиву. Но в процессе работы над моими записками я скоро отказался от намерения придать им характер исторической достоверности и решил выразить мои мысли в художественной беллетристической форме. От первоначальных замыслов в моих очерках осталось только несколько подлинных фамилий. По непростительной моей рассеянности, я не удосужился их вымарать, и вот к величайшему моему огорчению — подлинные фамилии сохранились случайно и в очерке «Тимошенко и Мельников», помещенном в 3-й книге журнала «Красная Новь» за 1924 г. Все дело тут в том, что материалы для этого номера я сдавал поздно, редакция и, главное, типография торопили меня чрезвычайно, и в спешке этой я упустил из виду необходимость переменить в чистовых первоначальные фамилии. Излишне говорить о том, что тов. Тимошенко не имеет ничего общего с персонажами из моего очерка. Это ясно для всех, кто сталкивался хотя бы однажды с бывшим начдивом 6-й, одним из самых мужественных и самоотверженных наших красных командиров». И. Бабель²⁴.

Судя по каждой из строк письма Бабеля, видно, что его ответ — если он вообще подходит под понятие «ответ» — вызван отнюдь не нападками своего бывшего Командарма. Из-за отсутствия убедительных источников мы лишь догадываемся, что против Бабеля выступил и Тимошенко. (Бывший комбриг 6-й закончит вскоре вместе с Аланасенко²⁵ и Книгой Академии Генштаба и станет начальником вооружённых сил Киевского Военного Округа, а в 1940-ом году его назначат Наркомом Обороны.)

Либо Тимошенко написал Бабелю или в редакцию «Красной Нови», толи общие знакомые подсказали Бабелю необходимость послать письмо в редакцию, но так или иначе во всех последующих изданиях «Конармии» Тимошенко фигурирует под фамилией Савицкий.

На выступление Буденного отреагировали немногие. Характерно и то, что его неодобрили и те критики, которые были несогласны с бабелевским мето-

²³ А. Воронский. Указ. соч. 284—285.

²⁴ Октябрь, 1924. 4. 223.

²⁵ В «Конармии» Павличенко.

дсм художественного воспроизведения действительности. В упомянутом уже обзоре Осинский откликнулся на филиппики Будённого прямо-таки с чувством неловкости: «между прочим тов. Будённый совершенно напрасно обиделся на Бабеля за такое отражение быта Конармии. Ей — богу, всякий читатель понимает, что это — очень *специальное* настроение, и главное — скованное определённой литературной манерой. Вот за эту манеру нужно подымать его насмех, но нельзя же понимать его, как реального бытописателя.»

Почти теми-же самыми словами высказывается о выступлении Будённого тот-же самый Горбачев, который на предыдущей странице своей статьи утверждал, что «ради красного словца Бабель не пожалеет родного отца.» По его мнению «Бабель укрепляет связь литературы с республикой советов и с коммунистической партией. Он близок к нам и хорошо ощущает, «как пахнет» наша жизнь, наша эпоха. Можно, пожалуй, без преувеличения сказать, что Бабель — новая веха на извилистом и сложном пути современной литературы к коммунизму. Кое-кто не видит этого, но содержание произведений Бабеля совершенно недвусмысленно.»²⁶ «Тов. Будённый напрасно обиделся на Бабеля: случаи, описанные Бабелем, могли быть и были характерны для известной части конармии: буденновцы не были монахами, коммунистам и политработникам не легко приходилось порою в частях Будённого, не вся армия Будённого питалась одним казенным пайком — встречаемся мы и с таким интересным мнением —. Это мы все знаем и скрывать не видим ни возможности, ни надобности. Бабель не мог и не хотел изобразить конармию в целом под коммунистическим руководством: из такой попытки у него ничего бы и не вышло. Бабель изобразил конармию сзади и сбоку, но и это полезно знать; изобразил сквозь свои «очки» и все же сделал понятной частицу сути конармии»²⁷.

Несмотря на реакцию такого рода со стороны критиков, спор затих на некоторое время. Примерно-же тогда, когда исход упомянутой внутрепартийной борьбы был уже более-менее ясен, «бабелевский вопрос» снова встал на повестку дня.

В газете «Правда» и «Известия» от 30-ого сентября 1928-ого года был напечатан текст доклада Горького «Рабселькорам и военкорам о том, как я научился писать». Говоря о творческом методе Гоголя, Горький вспомнил упреки Будённого Бабелю за такого рода изображение действительности. Как бы повторяя слова Осинского и Горбачева Горький подчёркивает: «Тов. Будённый охаял «Конармию» Бабеля, — мне кажется, что это ... напрасно — сам тов. Будённый любит извне украшать не только своих бойцов, но и лошадей. Бабель украсил бойцов его изнутри, и на мой взгляд, лучше, правдивее, чем Гоголь запорожцев.

Человек все еще во многом зверь, но вместе с этим он культурно все еще подросток и приукрасить его, похвалить весьма полезно...»

Через месяц Будённый на страницах тех же самых газет опубликовал обширную, и судя по первым абзацам более сдержанную нежели в 1924-ом году статью, — ведь на этот раз он вел полемику с самым крупным русским писа-

²⁶ Г. Горбачёв. Указ. соч. 282.

²⁷ В. Правдухин. Литературные течения современности. Сибирские Огни, 1925. I. 206.

телем современности, к тому времени перешедшим на советские позиции. Но основные аргументы Будённого все-таки остались такими же как в 1924-ом году. Он упрекает Бабеля в том, что он «где-то плелся с частицей глубоких тылов» и он вообще «рассказывает . . . про Конную армию бабьи сплетни, роется в бабьем барахле, с ужасом, по бабьи рассказывает о том, что голодный красноармеец где-то взял буханку хлеба и курицу. Выдумывает небывлицы, обликает грязью лучших командиров—коммунистов, фантазирует и просто жлет.

Фабула его очерков, уснащенных обильно впечатлениями эротоманствующего автора, идет от бреда сумашедшего еврея, проходит через описание ограбления костела, сечения конницей своей пехоты, зарисовку типа красноармейца — сифилитика и оканчивается удовлетворением любознательности автора к тому, как выглядит женщина — еврейка, изнасилованная десятком махновцев, . . . на жизнь автор смотрит, как на широкое поле, где гуляют в майскую солнечную пору кобылицы и жеребцы, — так и на действия Конной армии он смотрит сквозь призму чистой эротики. . .»

«Я думаю, что и вы, со мной согласитесь в том, — пишет Будённый, — что для того, чтобы описывать героическую, небывалую еще в истории человека борьбу классов, нужно прежде всего понимать сущность этой борьбы и природу классов, т. е. быть хотя бы и не вполне осознающим себя диалектиком, марксистом—художником. А как раз ни того, ни другого у Бабеля нет. Вот почему его попытка изобразить быт, уклад и традиции I-ой Конной армии получилась в карикатурно-пасквильном виде, и вся его повесть пронизана мещанско-обывательской точкой зрения с чистой мелкобуржуазной психологией.

Конечно, героические бойцы I-й Конной — обыкновенные, простые и часто малограмотные люди, и поэтому такие ‚художества‘ — в пору, когда мы самой историей поставлены перед фактом вступления в фазис решающих боев труда с капиталом, — я думаю, не только не нужны, но весьма и весьма вредны.

Вот почему я охаял Конармию Бабеля, и не только я, но и вся та революционная масса, силами которой мы на ваших глазах строим социализм.

Можно после этого говорить, что Бабель украсил бойцов I-й Конной армии изнутри лучше и правдивее, чем Гоголь запорожцев? Неужели Вы такой чуткий и тонкий, не заметили того, что Гоголь, описывая даже ‚красивую неправду‘ о запорожцах, как великий художник, избегал пасквильного тона, а Бабель, ‚художник-реалист‘, так ‚украсил изнутри‘ бойцов I-й Конной армии, что я до сего времени получаю письма с самым категорическим протестом против явной, грубой, я бы сказал, сверхнахальной бабелевской клеветы на Конную армию.

Работу Бабеля мы давно осудили, расценивая ее как пасквиль, и я не стал бы к ней возвращаться, если бы о нем не было упомянуто вами именно в том месте, где вы, А. М. учите наших пролетарских начинающих литераторов.

И думается мне, что *так*, как это сделал Бабель, описывать героики наших дней не надо.

С глубоким уважением С. Будённый»²⁸

²⁸ «Правда», 26 октября 1928 года № 250. Документы быступлений против бабелевской конармии цитирует А. Золототрубов: Буденный. Москва, 1983. 194—196.

Ответ Горького последовал месяц спустя выхода в свет письма Будённого. Опубликован он был в 275 номере газеты «Правда» за 27 ноября 1928 года. Ответ этот — не первая и не последняя личная защита Бабеля Горьким. Но он важен в первую очередь, с точки позиции принципиального характера и значения, занятой в споре Горьким:

«Уважаемый тов. Будённый!

Не могу согласиться с вами в оценке ‚Конармии‘ Бабеля и решительно протестую против вашей квалификации этого талантливого писателя.

Вы говорите, что Бабель ‚плелся где-то с частицей глубоких тылов‘. Это не может порочить ни Бабеля, ни его книгу. Для того, чтобы сварить суп, повар не должен сидеть в кастрюле. Автор ‚Войны и мира‘ лично не участвовал в драках с Наполеоном, Гоголь не был запорожцем.

Вы говорите об эротомании автора. Я только что прочитал книжку Бабеля еще раз и ни разу не нашел в ней признаков этой болезни у автора, но разумеется, не отрицаю наличия. Война всегда возбуждает бешенную эотику, об этом говорит нам всякая война, это подтверждается поведением немцев в Бельгии, русских в Восточной Пруссии. Я склонен считать это естественным — хотя и ненормальным — повышением ‚инстинкта продолжения рода‘, инстинкта жизни у людей, которые стоят лицом к лицу со смертью.

Читатель внимательный, я не нахожу в книге Бабеля ничего ‚карикатурно-пасквильного‘, наоборот: . . .Такого красочного и живого изображения единичных бойцов, которое давало бы мне ясное представление о психике всего коллектива, всей массы ‚Конармии‘ и помогло бы мне понять силу, которая позволила ей совершить исторический, изумительный ее поход, — я не знаю в русской литературе. Атака французской кавалерии в Разгроме Э. Золя показывает только механическое движение массы, механический удар ее. . .

Тов. Будённый, разрешите сказать вам, что резким и неоправданным тоном вашего письма вы наносите молодому писателю оскорбление, не заслуженное им. Писателям переходного момента, живущим в сложнейших условиях, в стране, где не меньше 20 миллионов собственников-индивидуалистов и только два миллиона марксистов, из которых, может быть, половина говорит по-Марксу так же сознательно, как попугай по человечески — в этих условиях ко всем писателям нашего времени невозможно предъявлять требования строгой выдержанности. Противоречива наша действительность и к тому же не так поучительна, как прошлое, легко и быстро учившее нас любить и ненавидеть. Писатель — человек, который живет действительностью, пользуясь красками фантазии для того, чтобы, сделать действительность ярче, понятней, возбудить к ней у читателя отношение активной любви или активной ненависти. Не забудьте, что еще не вымерли люди, воспитанные на религиозном отношении к собственности, и что все несчастья, все драмы жизни и все ее мерзости коренятся в инстинкте собственности, который издревле прославлялся, как священная основа государства и главнейший источник счастья личности.

В десяток лет невозможно перевоспитывать людей, которые воспитывались тысячелетиями в поклонении золоту, деньгам. Но мы, в наших интересах, обязаны относиться бережно и терпимо ко всякому человеку, который способен помочь нам в борьбе против загнивших, но еще крепких устоев проклятой,

позорной старины. Бабель—способен. Нас вовсе не так много, чтобы мы могли беззаботно отталкивать от себя талантливых и полезных людей. Вы не правы, тов. Будённый, Вы ошибаетесь. И вы забыли, что к вашим суждениям прислушиваются не только десятки тысяч ваших бойцов. Для правильной и полезной критики необходимо, чтобы критик был объективен и внимателен к молодым литературным силам.

С полным уважением к вам
М. Горький»

**Действительно-ли, что «простые и малограмотные люди»
воспринимали «Конармию» как пасквиль?**

В задачу этой статьи не входит сравнение текста рассказов Бабеля с историческими событиями, происходившими на фронтах войны. А ведь анализ такого рода было бы не столь трудно проделать, обратившись к многочисленной литературе о Первой Конной (особенно к изданиям 1920-х годов) и к мемуарам современников. В мемуарах самого Будённого — правда написанных почти сорок лет спустя после выхода в свет «Конармии» — к примеру, гораздо подробнее говорится о различных «огрехах», в описании которых он с таким гневом обвинял Бабеля, назвав его слова ложью. Последний-же никогда так не высказался о бойцах своей шестой дивизии, т. е. о героях «Конармии», как в телеграмме Будённого, Ворошилова и Минина с фронта: «Из полешатарма I-ой Конной. Предреввоенсовета Республики Троцкому, главкому Каменеву, Предсовнаркома Ленину, копия КомфронтЮгЗап Егорову и КомфронтЮж Фрунзе. Начавшееся было разложение в частях Конармии в результатах крупных потерь в комсоставе и комиссарах особенно проявилось в 6 кавдивизии. тчк. После ряда предварительных мер по отношению к другим дивизиям 11/10 (1920 г. — А. Г.) у ст. Ольшаница полки 31, 32 и 36 шестой кавдивизии окруженные особой кавбригадой с артдивизионом и двумя бронепоездами были обезоружены и расформированы. тчк. (Среди — А. Г.) Обезоруженных бойцов расформированных полков сто сорок преступников неявившихся на смотр и объявленных вне закона. тчк. Потрясенные честные бойцы с плачем покалялись очистить свои ряды от преступников тчк. После сведения разоруженных полкам н-р 1,2 и 3-ей маршевой бригады бойцам оружие и лошади были возвращены. тчк. 12/10 маршевыми полками доставлено ещё семьдесят и 13/10 сорок бандитов из расформированных полков. тчк. Вылавливание и чистка интенсивно продолжается тчк. Дела арестованных экстренно рассматривает находящийся при Реввоенсовете чрезвычайный армейский трибунал тчк. 13, 4, 11, и 14 кавдивизиях революционная дисциплина уже была восстановлена до 11/10 тчк. Радикальная чистка 6 кавдивизии благотворно отразилась на всей армии. тчк. Всюду идёт вылавливание и чистка преступного элемента. тчк. 13/10 — № 212 РВС I-ой Конной Армии Командарм Будённый член РВС Ворошилов, Минин».

* * *

Итак к оценке цикла рассказов Бабеля о гражданской войне постоянно при-
мешиваются частные эмоции, личные счёты, конфликты общественно-литера-
турного характера, более того: отзвуки внутрепартийной борьбы. Отклики
на них вызвали даже зависть «собратьев по перу» в таких полных изумления
восклицаниях:

«В чём
чорт(sic!) возьми
загадка Бабеля? —
Орешек крепонек зело!»²⁹

Но можно-ли установить как «Конармия» читалась широкой публикой;
в том числе «простыми и малограмотными» по словам Будённого участниками
польского похода 1920 года, т. е. событий, являющихся основой бабелевских
рассказов?

Есть свидетельство, согласно которому бывшие буденновцы, встречав-
шиеся через несколько лет после похода на Вислу, ловили себя на том, что
вспоминают о совместных радостях и переживаниях «по Бабелю» и даже «под
Бабеля». Однако автор этих воспоминаний, бывший красноармеец *Кассирский*,
во время работы над ними был уже известным врачом и носил звание акаде-
мика. После стольких лет он мог вспоминать реакцию бойцов уже под воз-
действием дальнейшего своего жизненного пути. Также не могут считаться
полностью аутентичными — что касается реакции рядовых бойцов — восхи-
щение правдивостью бабелевских рассказов маршала Блюхера в 30-ые годы
и даже более раннее свидетельство *Ф. Раскольникова*, автора статьи в журнале
«На Посту» в которой говорится среди ирочего и о том, что бойцы Первой
Конной положительно отзываються о «Конармии» Бабеля.

Но есть случайный свидетель, о непосредственной реакции которого мы
имеем разносторонние сведения. Это — тот самый Мельников, о котором
упоминается в письме Бабеля в редакцию журнала «Октябрь», и который
в последующих изданиях «Конармии» уже назван Хлебниковым. Именно
о нем рассказчик Люттов (а не писатель Бабель!) в конце рассказа получившего
затем название «История одной лошади» упоминает, что он «тихий человек,
похожий на меня характером. У него одного в эскадроне был самовар. В дни
затишья пили с ним горячий чай. Нас потрясали одинаковые страсти. Мы оба
смотрели на луг в мае, как на луг, по которому ходят женщины и кони.»

По окончанию гражданской войны Мельников принадлежал к тем красно-
армейцам, которые нашли своё место в повседневной, мирной жизни, при из-
менившихся условиях НЭП-а. Его назначили работать в торгпредство СССР
в Берлин, где он однажды попал на просмотр фильма, сюжет которого напоми-
нил ему рассказ «Историю одной лошади». Как Мельников прореагировал
на этот фильм, видно из письма Марии Федоровны Андреевой Максиму Горь-
кому от 8 июля 1924 года:

«Кончилась картина. Смотрю, когда зажгли свет в просмотровой ком-
нате, сидит со мной наш служащий Мельников, лицо залито слезами и весь
он дрожит...»

²⁹ С. Кирсанов. Разговор с Дмитрием Фурмановым. «Октябрь», 1928. 2. 116.

— Что вы? — говорю ему. — Милый, чего вы?

— Ох, М. Ф., голубушка, родная вы моя! Ведь вот этот конь совсем как мой... которого отняли у меня... Только мой — белый был...

И рассказывает потом, как нашли они, солдаты Будённого, в каком-то помещицьем уголье, ... замурованными в погребке две лошади: одна кобыла, а другая — вот этот белый конь...

И вдруг случилось «несчастье» — об этом «несчастье» ты, должно быть, читал у Бабеля в «Красной нови»? Это тот самый Мельников, чудесный малый. Сейчас он, конечно, пообтесался немного, даже по-немецки говорит. Славная морда, такая круглая, русская. Волосы кудрявые, русые.

Всклипывает, рассказывая, и — конфузится, басит, а у самого подбородок с ямочкой дрожит. Лет ему теперь, должно быть, 24—25.

— Вот четыре года прошло, а вспомнить не могу! Ведь какой конь, а он, Тимошенко, третирует его! Даже бил — один раз даже укусил его за это конь мой... Слава богу — убили его под Тимошенко, недолго он им владел! ... Разбредили вы меня картиной вашей, Мария Федоровна, опять душа болит! Будто не четыре года, а четыре дня прошло, ох господи!!

Вот тебе и коммунист!

Ну, прощай, голубчик, всего тебе светлого.

М. Ф.»³⁰

Еще более усиливается такое чувство сегодняшнего читателя после знакомства с письмом Мельникова Бабелю из Берлина от 4 июля 1924 года. Письмо было найдено в архиве «Красной Нови» видным исследователем творческого пути Бабеля С. Поварцовым, и опубликовано в 8-ом номере журнала «Вопросы литературы» за 1974-ой год. Отнюдь не исключено, что Мельникова кто-то «попросил» написать в редакцию журнала решительно потребовать от писателя «исправления» допущенных «ошибок». Однако Мельников все время забывает о первоначальной цели своего письма. В конце концов единственная деталь, которую он считает в рассказе неправдоподобной — это свой «выход» из партии. А все остальное показывает истинное воздействие рассказов на «простого и малограмотного» свидетеля, и письмо во всех отношениях читается как истинная 'победа реализма': «прежде чем указать Вам на несправедливость указанного Вам заявления, скажу пару слов о том, что мне никогда не приходило в голову, что после затишья на красных фронтах кто-нибудь скажет несколько слов про жизнь скромного бойца командира, и мне на первых порах как-то неловко было.

А теперь, уважаемый тов. Бабель, прошу вас исправить вкравшуюся ошибку в вашей книге, ибо указание, что я подал военкому заявление о выходе из РКП (б) не соответствует истине, подобного заявления я военкому не подавал, были только горячие споры оттого, что коммунист, отнимая у своего подчиненного командира коня, злоупотребляет властью и делает преступление, что и было указано в рапорте, поданном мной в Штаб Армии,

³⁰ Письмо М. Ф. Андреевой А. М. Горькому 8 июля 1924 года. В кн: Мария Федоровна Андреева: Переписка. Воспоминания. Статьи. Документы. Москва, 1961. 301—302.

на каковом и была действительно положена резолюция ,возвратить белого коня командиру I-го Эскадрона Мельникову.’

Тов. Бабель, если Вы еще не закончили писать книгу о Конармии и Вам нужны материалы, то напишите мне или, вернее, в письме поставьте ряд вопросов, которые Вас интересуют, и я с большим удовольствием на них, по возможности, отвечу. Простите, тов. Бабель, что вместо просьб об исправлении ошибки — написал, быть может, и неуместное, большое письмо. Во всяком случае, нужен Вам материал, или не нужен, прошу ответить мне по указанному ниже адресу, буду Вам очень благодарен.

Эх, тов. Бабель, славная, красивая и полная героизма была жизнь и работа, хотя и полная опасности в нашей непобедимой прославленной Конармии, а белого жеребца не забуду пока жив.

С товарищеским приветом.

С. Мельников»

Стихотворения Ласло Надя* на украинском и русском языках
(Анализ художественных переводов)

Л. М. ТАКАЧ

Творчество и личный пример Ласло Надя по праву имеют особое значение и пользуются громадной популярностью везде в венгерской языковой области. Однако, его поэзия до сих пор не заняла достойного места в практике русского и украинского перевода. Для нас не безразлично, удастся ли вовлечь (и если да, то на каком уровне и степени влияния) поэзию Ласло Надя в литературное кровообращение огромной по численности читательской аудитории русских, украинцев, а также других народов, говорящих (и) на русском языке.

Средний советский читатель привык к воодушевленным, оптимистическим, агитационно направленным, сдержанным в отношении формы и содержания, непосредственным стихотворениям. Именно поэтому советские руководители практики перевода должны особо бережно отнестись к тем зрелым и очень значительным произведениям Ласло Надя, в которых поднимаются сложные исторические национальные вопросы Венгрии, а также вообще вопро-

* Ласло Надь (1925—1978) — венгерский поэт, трижды лауреат премии Аттилы Йожефа, лауреат самой высокой государственной премии Венгрии — премии имени Кошута.

Надь вышел из крестьянской среды. С человеком, природой и трудом он ознакомился в мире деревни, которая определила его мироощущение, мораль, дала жизнь его отношению к слову, цвету и форме; которая до конца жизни осталась для него неисчерпаемым источником поэтического вдохновения.

Он учился мастерству в поэтической школе величайшего венгерского пролетарского поэта Аттилы Йожефа. Здесь он постиг строгие нравы, силу личного примера и власть ответственности перед обществом. Лозунг Ласло Надя в творчестве был: «Твори чудеса, не объясняй!».

Сурова его поэзия, в ней много гнева и сарказма, иронии и ненависти. Но еще больше боли человека, пропустившего через себя страдания всех застенок мира. Однако вместе со всем этим в его стихах звучат слова доверия и надежды, слова утверждения.

Его исключительно богатая переводческая деятельность дала возможность венгерскому читателю познакомиться — в частности — и с дореволюционной русской поэзией, а также с советскими поэтами (В. Жуковский, А. Блок, А. Пушкин, С. Есенин, В. Симоненко, И. Драч, Ш. Гада, Дж. Чарквани, Ю. Шесталов, К. Митрей). Он много переводил из народной поэзии; особенно из болгарской, но из удмуртской, ненецкой, манси, чувашской и русской тоже.

сы человеческого бытия и вселенского трагизма; углубленно, многосторонне, часто с помощью переносных выразительных средств. Адекватная интерпретация этих стихотворений для такого читательского лагеря, который не знаком (или же знаком поверхностно) с венгерской историей (особенно историей XX века) — довольно-таки трудная задача. Особенно тогда, если речь идет о переводчиках, которые не всегда отличаются блестящей поэтической одаренностью, обычно пользуются «сырым» переводом (подстрочником), которые не знают живого венгерского языка и недостаточно осведомлены в вопросах его фонологической системы и ритмической структуры, сильно отличающихся от обоих славянских языков; и мало знакомы с формами венгерского фольклора и венгерской поэзии.

Не случайно лучшим переводчиком Ласло Надя — и других венгерских поэтов — является проживающий в Ужгороде *Юрий Шкробинец*, который знает венгерский язык почти на уровне родного и хорошо знаком с нашей историей, литературой, культурой. Кроме «*Himnusz minden időben*» («ГІМН У ВСІ ЧАСИ»), анализируемого ниже, он перевел на украинский язык также «*Inkarnáció ezüstben*» («ВТІЛЕННЯ У СРІБЛО»), большое стихотворение апокалиптической динамики. Эти переводы можно считать равноценными оригиналам.

Шкробинец тонченно чувствует динамическое пульсирование тонического венгерского стихосложения, которое и в случае одинакового количества слогов допускает разнообразные ритмические решения; и он умеет воссоздать дисциплинированный ритм стиха при относительно свободных ритмических возможностях оригинала.

«ГІМН У ВСІ ЧАСИ» состоит из четырехстрочных строф. Возможности пресечения восьмисложных строк на тонические стопы (4—4, 3—3—2, 3—2—3, 2—3—3, 5—3) украинский вариант тоже богато осуществляет, но последовательно привносит в ритм также ямбический оттенок, возможности которого, конечно, ограничиваются трех- и четырехсложными украинскими словоформами; но он не кажется чуждым оригиналу, хотя и не является его особенностью. Переводчик строго придерживается количества слогов в строке и схемы рифмовки а-а-а-х. Он пользуется в основном полными рифмами и реже применяет ассонансы, чем автор оригинала. Мы можем сделать лишь одно-единственное мелкое замечание — переводчик передает метрическое биение венгерского рефрена в трех стопах: «*Gyönyörűm, te segíts engem!*»; 00—|00—|— менее выразительным средним пресечением на две стопы: «Вродливице, / зарадь мені!».

Часть ошибок в передаче содержания проистекает из неправильного понимания или недостаточно продуманного толкования; но большинство их допущено, очевидно, из-за уже упомянутой нами «сдержанности», которая приглушает, «эвфемизирует» сознательно резкие, шокирующие, но всегда функционально богатые приемы Ласло Надя. По нашему мнению, последнее — уже серьезный недостаток.

Перевод строки «*Piaci csarnok álmosa*» (невывспавшаяся ты, сходишь на крытый рынок) как «Кума, що на торзі дріма» нарушает концепцию стихотворения. Венгерская строка «*Templomon arany-kupola*» (златоглавая ты

церковь'), переведенная (из-за рифмы) как «Злотиста бане верховин», тоже удачно. Но строка «Narvilág lánya, lángölű» (,дочь солнца ты, с пламенным объятием'), переведенная как «Вогненноперса ти краса», не только лишает произведение эротического, полного сил образа, который является мотивом, составляющим единство с «Dárdának gyémánt-köszögű» (,для копыя алмазное точило'), но теряет триединство «Nar-lány-dél» (,Солнце-дочь-полдень') первых двух строф, которое, превращаясь в «рань-роса» и «Промінно-лірно вірний спів», смягчается, обесценивается. Звезда, подающая надежду, которая в оригинале «Csillag, dutyiba pillantó» (,звезда, заглядывающая в тюрьму'); в переводе просто названа «Зоря, що падає в глибін...», а это не совсем то. Строка «Hazátlanoknak otthona» (,дом людей без родины') тоже сильнее, чем «Притулок для подорожан». Ошибочен и перевод строки «Sok-fejű kölyket elvető» (,выкидающая многоголового детеныша') в седьмой строфе; намекающей на страшные последствия угрожающей ядерной катастрофы, как «Бридкий тобі стоглавий змій». В следующей строфе строка «Mindig reményvel viselős» (,всегда беременная надеждой') заменено строкой «Завжди з надією еси!»; однако здесь архаичная глагольная форма «еси» — бессильна. Зато очень удачна находка Шкробинца при переводе рефрена в двух предпоследних строфах своим вариантом, придающим рефрену усилительно-торопящий оттенок: «Вродливице, зарадь, зарадь!».

Стихотворение «Tűz» («ОГОНЬ») перевел Борис Слуцкий, известный советский поэт четко выраженного философско-конфликтного склада, переводчик и критик. В отношении формы он хорошо справился со своей задачей (если не учитывать отличий, происходящих из просодии русского и венгерского языков). Ассонансы Ласло Надя у него превращаются в полные рифмы, которые «лучше» оригинальных. Он удачно передал «глыбистость» трех, пропорционально расширяющихся-суживающихся (посредством увеличения-уменьшения количества слогов в строках) строф; несколько смягчив ритм до неторопливого тем, что относительно короткие строки оригинала, включающие в себе от одного до девяти слогов, он расширяет до объема два-тринадцать слогов. Но это в данных рамках более свободного построения стиха — вполне дозволённый прием.

Что касается содержания — переводчик бережно сохраняет ключевые слова «егő» «sorsunk», «ifjúság» (,сила', ,наша судьба', ,юность'), соответствующие триединому структурному членению стихотворения. Однако, трижды употребленную строку „Tűz / te gyönyörű” (,огонь / ты прекрасен'), которая имеет оттенок единого, взрывного стартового сигнала, он переводит каждый раз по-другому: «Огонь, / мечи лучи», «огонь, / искр дуновенье», «огонь, / большое пламя», и этим обесцвечивается ее эмоциональное наполнение.

Источник лексико-семантических неточностей и недостатков у Слуцкого тоже — стремление к обуздыванию содержания, уже дважды упомянутое нами «сдержанное эвфемизирование».

Например: «...паровоз до смерти загони, / но одиночеством его не бремени» — пишет переводчик. У Ласло Надя строка «hajszold, hogy fekete magánya / ne legyen néki teher» (,гони, чтобы его черное одиночество не было для него бременем') более весома; здесь ,его черное одиночество' — неотъем-

лемый атрибут паровоза-символа. Далее: «слово бодрости» неизмеримо меньше оригинального «virrasztó igéje» (ее бодрствующий глагол). И насколько строже звучит у Надя «húlve latoló józanságban, / ahol áru és árulás van» (в состоянии холодной расчетливости, где товар и предательство), чем у Слуцкого: «благоразумья не прости, / до трезвости не допусти»... И наконец — оригинальное «göptess az örök tilosba» (запусти в вечно-запретное) тоже говорит намного больше, чем перевод: «брось в искони опасное».

Вопреки нашим замечаниям мы можем сделать вывод, что перевод Шкробинца — отличный, и работа Слуцкого тоже выдерживает хороший уровень. Их можно поставить в пример менее опытным или менее одаренным коллегам.

Основным принципом нашего краткого анализа было убеждение, что задача переводчика двойка: максимальная, едва ли не дословная верность в интерпретации содержания подлинника; и выбор формы, не нарушающей характера языка-объекта, но наиболее близкой к языку-источнику.

В заключение мы хотели бы выразить надежду, что в ближайшем будущем и русские, и украинские переводы стихотворений Ласло Надя, изредка появляющиеся в антологиях и журналах, будут собраны в отдельный сборник.

Приложение № 1

ГІМН У ВСІ ЧАСИ

Веселкоброва рань-роса,
Вогненноперса ти краса,
Алмаз бруска на грань списа...
Вродливице, зарадь мені!

Ти — чередниця солов'їв,
Промінно-лірно вірний спів,
Палац, що мармурно зацвів...
Вродливице, зарадь мені!

О пальмо жалісних долин,
Таємна усмішко картин,
Злотиста бане верховин,
Вродливице, зарадь мені!

Збатожений до призу кінь,
Ти — знамено бунтів-горинь,
Зоря, що падає в глибінь...
Вродливице, зарадь мені!

Ти — зілля до бійцевих ран,
Притулок для подорожан,
Хмільне вино і чар оман...
Вродливице, зарадь мені!

Кума, що на торзі дріма,
Танок нужди й нужда сама,
У новорічну тьму — сурма...
Вродливице, зарадь мені!

Як промінь-бета трепет твій.
Бридкий тобі стоглавий змій.
Гасаєш по габі морській...
Вродливице, зарадь мені!

Знайома ти в усі часи!
Завжди з надією еси!
Владарко божої краси,
Вродливице, зарадь мені!

Попідруч вік мене береш,
Ти в подушках зі мною теж.
Під наспів твій гавран помре ж...
Вродливице, зарадь мені!

Коли гидотно вже й ногам,
Коли на мене гримне хам,
Коли себе катує сам,
Вродливице, зарадь, зарадь!

Закон тут мій, якщо він є.
Усе можуть тут — моє.
Коваль мені мечі кує!
Вродливице, зарадь, зарадь!

Заквітне сад мій голубий,
Одмию кров'ю слід ганьби,
І затуркочуть голуби,
Якщо зарадиш ти мені!

(переклав ЮРІЙ ШКРОБИНЕЦЬ)

ОГОНЬ

Огонь,
мечи лучи,
копытами стучи
и паровоз до смерти загони,
но одиночеством его не брeмени,
ты сила звезд,
огонь,
искр дуновенье
и мирозданья вдохновенье,
жги птицу, кровью истекающую,
чтоб прокричала нам судьбу она, —
не тлеющая смерть ее нужна,
а слово бодрости,
огонь,
большое пламя,
победно-радостное надо льдами,
не потерпи, чтоб мы остыли
и бороду в душе постыдно отпустили,
благоразумья не прости,
до трезвости не допусти,
одень в волшеббно-красное,
брось в искони опасное,
на красный бал над ледяной горой
своди нас, юности король,
огонь.

(перевод БОРИСА СЛУЦКОГО)

In the Widening World of Parables of Aytmatov's works

L. JAGUSZTIN

1. In Soviet prose literature of the 70s the number of literary works based on the convincing force of parables became larger and the attention given to them also increased. The most essential element of parables is their duality: the comparison of reality with "a possible world" and the relation between these two spheres. The main point in depicting a possible (legendary or fabulous, past or imaginary future) world is always to make our present reality more explicable, understandable and acceptable. It follows from this that the direct aim of parables is to embellish works of literature with hermeneutic functions, *i. e.* to realize the syncretism of "subtilitas interpretandi", "subtilitas explicandi" and "subtilitas applicandi".¹ Parables wish to influence us with the whole narrated story as an animal fable (басня) does. It is not a genre of criticism but of inspiration and encouragement and uses the interpretation of fate manifested in the narration as an argument that is also applicable to the present. In addition it attempts to preserve the good ideals and guiding principles as recognized in "the possible worlds" and apply them to the real world. This does not mean a withdrawal or escape from the conflicts of reality, it is just an answer to the question of how these good ideals and principles should be chosen and realized. The parable is the genre of crucial social situations emerging in a society that tends to become inwardly more and more perfect reaching ultimately an inward correction of its *own*. The internal power relations of Soviet society have become ripe for the detailed discussion of the great social collisions already solved. Parables carry out this task consistently, their chief characters themselves choose the good with the preservation of their essential features, they do not simply want to annihilate what is wrong but *eliminate* it completely. The motives of elimination, evasion and omission are very important in the solution of parable conflicts. The world is maintained by individual forms of ethic behaviour that are *transhistoric* (Meras), *i. e.* valid for a series of social formations (На чем держится мир?).

2. From this point of view and within this literary genre Aytmatov's oeuvre is the most unified in contemporary Soviet prose. In his short novels Материнское

¹ Hans Georg Gadamer: A hermeneutikai alapprobléma visszanyerése (Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeutik. Tübingen, 1960.) *Helikon*, 1981, x 2—3, 134—187.

поле, Прощай Гульсары, Белый пароход, Пегий пес, Буранный полустанок and also in those not listed here, the attempt to reconcile the forms of behaviour underlying the continuity of national and human existence becomes more and more intensive. Social tasks and actual roles are brought to the surface from the continuity of historical existence in order for them to be highlighted and this feature of Aytmatov's works also becomes more and more explicit and increasingly elaborated.

Tolgonay's dialogue of confrontation with Earth presented in the form of "skaz" deals with the order of importance and rights of matter and existence. The situation has a planetary and at the same time a national scope, the maternal fable about the fate of Sutanbul and her sons makes the truth of patriarchal moral concern pantheistically wide: the involuntary sacrifice for the preservation of life seems to be raised to the level of ritually accepted and, moreover, demanded *human sacrifice*, as it is Earth herself that summons the heroine to give the full emotional recollection of the past. The motive of *human sacrifice* becomes a more and more persistently recurring element in the conflicts in Aytmatov's parables. In *Белый пароход* the spirit of *death* verges on that of *idyll* in the little hero's tragedy. The value of the life sacrificed and its force in attracting attention develop from the child's defensive attitude. The childish moral idyll, created in a dreary world is an attempt to avoid feeling threatened. In this way the narrator's personality both withholds and stimulates the recognition of heroization. It is by the isometric rhythm of the narrator's evaluation and from the viewpoint of the "weak" infant hero who is placed in the position of exalted and sacrificed childhood that the final event in the plot, the self-sacrifice, is defined in *Белый пароход*. The idea of "a conflict between the conflicts of the plot" is used by Aytmatov with a gesture of unexpectedness in *Белый пароход*; It is prepared for in *Пегий пес* and has a mosaic-like structure in *Буранный полустанок*.

3. In *Буранный полустанок* Aytmatov presents a metaphoric definition of his way of thinking. It is in this work that the widest world is offered within the system of "possible ones" presented and evaluated by him. *The system of possible worlds* is the most banal device in our age for stating one's opinion about people. Aytmatov avoids banality by pushing the actions of the fantastic world into the background and he prefers knowledge controlled by morality to knowledge which is controlled by ideology and politics often in the wrong way. The lesson drawn from the conflicts of ethnic beliefs has been suffered for: *it is the carefulness with which they are incorporated into the system of history, the explicability of the historical commonness of experiences*. Aytmatov wants to put sense into the process of fatal human sacrifices! The sense of the quality of human life (cf. Kirisk's fate) is the preservation of human qualities to prevent them from vegetating. The evaluative and invocative character of parable tales is expressed by composing the narrated story as a model.

In Aytmatov's short novel *Буранный полустанок* this model borders on argumentative preparedness, it represents, so to say, the quintessence of his oeuvre and his way of thinking and is characterized by the particular nature of an anatomical dissection. This is expressed by *epic rhymes* which are consistently denoted typographically, too:

“Поезда в этих краях шли с востока на запад и (с) запада на восток...”²
This rhyme is repeated about eighteen times, and the political and ethnic romanticism of the cardinal points is constantly reinforced. The biological, ethnic and ethnic vitality of the crew in the desert station depends on their ability to assimilate themselves. The *culmination* of this assimilation in the story is the end, failure and the symbolic success of the funeral procession:

“— А где же отец? — спросила Шарapat.

—А он вернется к вечеру. Уехал с утра в Почтовый ящик, к начальству тамoшнему.” (294)

The *starting point* is the beginning of historical fate, that is the story of the railway station, family life and camel keeping. This story coincides with the review of the *socio-historical* situation. *Abutalip Kuttubaev's* tragedy in the fifties during the personality cult is the ballad of man's humiliation and defencelessness. Abutalip's behaviour and sufferings represent the tribulation of the participants of a *historical situation* and this is what the warmth of the narrator's *requiem-like* mood also derives from. Aytmatov is an understanding and forgiving narrator, but he records everything and does not forget but blames and preserves. The preservation of the lesson is demanded by the essence of parables, too, their central conflict being the commensurability of *Soviet power*, the *Kazakh custom*, *historical ethics* and *cosmic future*. As a result of the connection of “мифологема” with “футургема” we can witness a very impressive evolution of thoughts. In “мифологема” the consequences of the dominant ethos of power are revealed and repeated in the story itself, in Abutalip's human-sacrificing fate, which can be explained as the present. In “футургема” evolution progresses towards a type of power with a different quality: the final point that either defends or threatens the completeness of mankind. In *Yedigey's* actions and thoughts he disputes Sabitman's “stalinistically” horrifying arguments on power: “И еще подумалось Буранному Едигею: А что, если такой человек у власти окажется — заест ведь всех, заставит подчиненных прикидываться всезнайками, иных нипочем не потеряет.” (30)

Self-preservation and self-defence in the face of *power* are general momenta which move the plots of parables forward. *Yedigey* fights with *five forms of power*: the rigidity of the personality cult; the obliging force of the national past (the funeral); every kind of forceful power (the principle of *Parity*); himself; and the natural world order. *Yedigey* fights alone, he is almost lonely, like Aytmatov's protagonists usually are. He would, perhaps, only be able to make an alliance with the narrator or with natural forces. He carries the burden of the recognized task himself and follows the principles as told in his struggles. This is the Tolstoyan *principle of the value of death* turned inside out: the greater the motivation the sacrifice of life has, the more valuable and beautiful it is.

He carries on the most difficult fight against the dark social forces, the forms of power destroying his friends and *Abutalip Kuttubaev*. The horrifying final product of this system of power is the *mankurt* (манкурт) story compiled from tribal legends, the story of a matricidal people deprived of their freedom of will in the most bestial

² Ч. Айтматов. Буранный полустанок. Москва, 1981, стр. 8.

way, the story of complete spiritual defencelessness. The parable legend qualifies the stalinistic era as well: the vegetating presence and manipulatedness of people deprived of their social and emotional memories represents the intensification of the *Orozkul-effect* in Aytmatov's evaluative system. In *Белый пароход* Orozkul is the representative of the irritated despot, the strong man who has lost his way. The mankurt is a story that can no longer be intensified, it is a separate *work within the work*:

— Жоламан! Снимай — звала Найман-Ана, боясь, что с ним что-то случилось, повернулась в седле.

— Не стреляй! — успела вскрикнуть она и только было понукнула понукнула белую верблюдицу Акмаю, чтобы развернуться лицом, нотстрела свистнула, вонзаясь в левый бок под руку.

То был смертельный удар.” (122—3)

The mankurt is a robot, even biologically manipulated, its legend setting up a counterpoint against the open world of the planet Forest Bosom which tries to establish contact with it. The science-fiction discovery of the planet Forest Bosom (Лесная Грудь) is also an independent parabolic story in the work, that is in Yedigey's real fate. The earthly civilization refuses to make contact and strengthens the inapproachability of Earth with the operation “Обруч”. The almost apocalyptic image at the beginning of the operation extends the ethic validity of the real consequences of human deeds. Through the principle of “паритетность” the decisions concern everyone's existence. Here the world of the parable gains a really cosmic scope and covers the fate of every extant thing. Human existence becomes important as the *value* of mankind's existence *in itself*, in order that the lives of its members should remain reasonable. This is why in the final sentences of the narration Yedigey leaves for the town to fight for his truth. The mankurt legend and the space adventure unite and culminate in his world.

At this point Aytmatov does not pursue the practice of his former works and does not round off the narration with an evaluative moral lesson. The ending and the linking of the stories existing side by side in the work are left uncompleted. This looseness (рубленность), reminiscent of the structure of a ballad, even becomes strengthened in the separateness of the narrator's points of view. Each story has a separate narrative position of its own.

Yedigey's fate, the plot proper, is told from the dual aspect of the “skaz”. The hero's and the narrator's knowledge, world views and moods appear intertwined and this is also reflected in the formulation.

“Едигей сразу догадался, что это жена спешила к нему, что непроста спешит и что есть на то какая-то очень серьезная причина.” (9) The communicative and evaluative description that is external and internal at the same time, reflects the narrator's “compliance” with his hero's simple-mindedness and faltering ability to put his thoughts into words.

In the parable stories built into the *work* the narrator's attitudes are different. The tensions and rhythm of the wording in the mankurt legend are defined by the popular minstrel's maintaining an epic distance, and his knowledge of the whole story. “С тех пор, говорят, стала летать в сарозеках по ночам птица Донебай. Встретив путника, птица Донебай летит поблизости с возгласом: Вспомни, чей ты? Чей ты?” (123)

It is in the cosmic arable story that the narrator is the farthest from his heroes and the plot. The labels (наименования) *Конвенция* and *Паритетность* reflect a kind of theoretizing generality from the very beginning, and this abstractly evaluative attitude runs through the whole parable. The manifestation of “impersonality”, however, denotes not only “dehumanization”, but also “*mankind* as a general and basic value. This is why the way the story is narrated approaches the devices used by communication for mass media and those of reflecting the thoughts and desires of a whole community: “Авианосец Конвенция находился в тот час на своем месте, в том же районе Тихого океана, южнее Алеутов, на строго одинаковом по воздуху расстоянии от Владивостока и Сан-Франциско.” (81)

In the epic rhymes already cited, information about trains going from one place to another occur more than ten times. Their function is to separate the different parts of the process of narration and also to link them together, thus assuring a kind of unity. Their typographical denotation also refers to this inorganic role and this is why the three dots . . . , indicating unfinished thoughts, stand at the end of the different parts of the text. This external compositional linkage is also supported by micro-thematic allusions (аллюзии) such as the fact that the white camel of the legend is the ancestor of *Karanar*, Yedigey’s famous and obstinate black male camel.

It is another world, namely, in the world of the recipient that the different parts of this loose, ballad-like composition are put together. The story, the parable, loses its independence in order to promote the birth of the required human decision and behaviour. In Aytmatov’s work this required human decision and behaviour means historically valid observation, ideation and practice of the principle according to which the preservation of human and natural life is possible only through the search for values and the search for one another.

Повествование и память
(Рассказ Л. Н. Толстого в пересказе одного
венгерского крестьянского сказителя*)

М. ХОППАЛ

1. Вступительные примечания. В ходе собрания фольклорных материалов часто бывает, что фольклорист несколько раз прослушивает, записывает или же другим образом фиксирует одну и ту же историю (или же, пользуясь более общей категорией фольклора, народное повествование) с небольшими изменениями. В этом, собственно, нет ничего удивительного, ведь сущность фольклора в том и состоит, что он живет в вариантах. А работа фольклориста заключается в том, что он из множества подобных текстов выбирает наиболее полный, точнее, реконструирует никогда не существовавшую идеальную форму определенного текста. Однако современные исследования стремятся скорее к описанию системы внутреннего построения текстов и правил построения системы.

Напрашивалась мысль, что в текстах надо исследовать повторяющиеся элементы, с их помощью можно наблюдать осуществляющиеся в текстах правила. Ибо неточное повторение дает возможность познания закономерности изменений.

Отдельные лингвисты-текстологи ясно сформулировали данную проблему: «Эмпирическим фактом является то, что во многих ситуациях одну и ту же мысль можно выразить и различными языковыми средствами. В естественных языках это свойство должно отразиться и в грамматике»¹.

Мысли, высказанные выше, с одной стороны могут быть использованы фольклористами потому, что лингвистические теории вообще более обоснованы методически, чем фольклористические; с другой стороны, большая часть фольклорных текстов, будучи языковыми текстами, может служить моделью для новой текстологической теории при анализе фольклорных текстов.

* Эта работа была написана осенью 1978 года по случаю 150-летнего юбилея со дня рождения Л. Н. Толстого и прочитана в качестве доклада на втором финно-венгерском симпозиуме в Турку в ноябре 1978 года.

¹ Petőfi, S. J.: Beyond the sentence, between linguistics and logic. in: Style and Text. ed. by Ringbom, J. 377–390. Stockholm, 1975.

Зачинатели формирующейся в начале семидесятых годов теории текста и тексто-грамматических или же тексто-лингвистических исследований², изучая проблемы создания языковых текстов и вопросы их понимания, закономерно пришли к проблемам механизмов памяти. Всякий языковой текст (и в особенности фольклорный текст) возникает путем составления из ранее уже существовавших элементов. А понимание текстов является результатом как раз обратного процесса, происходящего в нашей памяти: мы разбиваем тексты на элементы и сопоставляем их с хранящимися в нашей памяти приобретенными знаниями.

Исследование простейших языковых фактов, как выяснилось, сразу же показывает необходимость познания той «простой» человеческой способности, с помощью которой мы воспроизводим в себе что-либо, с нами происшедшее, короче, важность исследования *памяти*. В современной системе научного распределения труда исследование механизмов памяти относится к кругу исследований по экспериментальной психологии³, поэтому фольклористы не учли результатов, достигнутых в этой сфере.

Хотя прежние исследования в этой области, как например работа Бартлетта, в свое время, да и позже довольно долгое время пользовались влиянием, и не только в сфере психологии⁴. Бартлетт применял два разных исследовательских приема — оба одновременно можно рассматривать, как устную модель передачи-восприятия фольклора. В одном случае одно и то же лицо рассказало, припомнило одну и ту же историю через увеличивающиеся промежутки времени. В другом — историю передали из уст в уста, участники эксперимента рассказали ее друг другу (первый — второму, второй — третьему и т. д.). Эксперименты английского исследователя в основном остались неизвестными для фольклористов. В то же время, если в экспериментальной психологии упоминали народные сказки, или же ложные панические слухи в качестве примера воспроизведения текста или функционирования коллективной памяти, фольклорные примеры не удавалось анализировать с достаточной основательностью⁵.

В семидесятые годы появились те эксперименты и анализы, которые исследовали фольклорные тексты с позиций интердисциплинарной подготовки и пришли (именно вследствие осознания недостаточности структуральных методов) к исследованию нарративной памяти⁶.

В то же время другая значительная часть исследований по фольклору сосредоточивает внимание скорее на общественной функции и «встроенности»

² van Dijk, T. A.: Some Aspects of Text Grammars. The Hague 1972. Petőfi, S. J.-Rieser, H. (eds.) Studies in Text Grammar. Dordrecht. 1973.

³ Norman, D. A.: Memory and Attention: An Introduction to Human Information Processing. New York, 1969.; Postman, L.-Keppel, G. (eds.): Verbal Learning and Memory (Selected Readings) Penguin Books, 1969.

⁴ Bartlett, F. C.: Some experiment on the Reproduction of Folk Stories. Folk-Lore, 1920. XXXI год. изд., 30–47. Его же: Remembering. Cambridge, 1932.

⁵ Hunt, I. M. L.: Memory. Penguin Books, 1957. 176–183.

⁶ Colby, V.-Cole, M.: Culture, Memory, and Narrative. in: Modes of Thought. ed. by: Horton, R.-Finnegan, R. London, 1973. 63–91.

в общественные рамки «народного повествования»⁷, и в крайнем случае в них лишь упоминается о том, насколько важно было бы заниматься вопросами воспоминания и повторного пересказывания в случае длинных историй. Другие исследователи тоже предупреждали, что например в связи с репродукцией мифов стоило бы заниматься теми нарративными структурами, которые мы воспроизводим в памяти в первую очередь, припоминая тексты. По мнению Дж. Гуди, например, устное воспроизведение, точная меморизация⁸ (хотя их считают характерной чертой устной культуры) — чрезвычайно редкое явление.

Мы считаем, что для исследования вышеописанной преимущественно текстолого-фольклорной проблемы может дать хорошую теоретическую рамку прием, использованный в т. н. *анализе повествования*, а именно: текст-теоретические исследования⁹, занимающиеся приемами «воспроизведения» и «суммирования».

В ходе собирательной работы, проведенной нами в одной из деревень Венгерской низменности (Надудвар, Хайду-Бихарской области), когда мы хотели реконструировать систему поверий в целом с помощью собранных устных преданий, один пожилой информатор рассказал историю, которую где-то читал, как он сказал, «может быть, у Толстого». В этой истории важную роль играет тот широко известный фольклорный мотив, согласно которому главный герой добывает имение таким образом, что на протяжении определенного времени обходит участок земли. Спустя два года после первой магнитофонной записи, в 1972 году я вновь записал рассказ пожилого человека, земледельца Йожефа Балажа (в то время ему было 69 лет). Меня интересовало, какие отличия появятся в тексте через два года. Интересным было с одной стороны то, как будет воспроизводить опрашиваемый свой собственный текст, с другой же стороны — как будет соотноситься этот текст с оригинальным рассказом Л. Н. Толстого.

Проблемы, подлежащие исследованию, многослойны и их можно попытаться следующим образом:

1. Как и что сохранилось в тексте без изменений?
2. Как и что берет народный сказитель из текста писателя-профессионала?
3. Почему он перенимает именно те или иные элементы?

Если мы продумаем ответы на перечисленные выше вопросы в определенных рамках текстовой семиотики, тогда видно, что возникают по очереди синтаксические, семантические и наконец прагматические проблемы. Значит, в их анализе мы следуем программе вербальной семиотики¹⁰.

⁷ Dégh, L.: *Folktale and Society: Storytelling in a Hungarian Peasant Community*. Bloomington, 1969.

⁸ Goody, J.: *Memorie et apprentissage dans les sociétés avec et sans écriture: la transmission du Bagre*. *L'Homme XVII*: 1: 29–52.

⁹ van Dijk, T. A. et alii.: *Recalling and Summarising Complex Discourse*. (Preliminary version — Mimeo) Amsterdam, 1976.

¹⁰ К вербальному семиотическому анализу см.: М. Hoppál: *Esemény—elbeszélés—közösség*. (Событие — рассказ — общество) in: М. Istvánovits—I. Kriza (ред.): *A komikum és humor megjelenésének formái a folklórbán*. (Формы появления комического и юмора в фольклоре) Budapest, 1977. 61—85.

2. Тексты

Первая запись: апрель 1970 г.

«Жил-был большой, *русский сильный* человек, Алексей Пахум, так его звали, как я помню. И тяжело он работал, физическую работу делал. *Ходил на вырубку леса. Зимой ли, летом ли*, когда было, не знаю, он писал какими словами, что этот человек *купил версту* (цвести квадратов это было?) *земли*, из заработка, что получил за работу. Ну конечно, вырастил он там картошку. *Наелся он досыта печеной картошки и растянулся на* на низкой *лежанке* возле печи. А потом говорит: ,Ну, много работал я этим летом, зато сыт. *В будущем году стану работать еще больше*, и тогда заведу козу или что другое. *Черт же подслушивал за печкой*, так пишет Толстой. И *поддакивает*: Все будет, Алексей Пахум, старайся, старайся! Ну, в следующем году он конечно приобрел землю, и другое, и все больше и больше. И так шло более *трех десятков лет*, что все больше и больше. У него уже было *свое имение, табун, стадо коров*, он получал и газету, но жениться не женился. Так вот однажды в конце *октября, днем*, гулял он по имению, *осматривал* там все. Смотрит на земли — хорошее место, но с одной стороны — крестьянская земля, а с другой — графская. Нельзя расширить владения, нельзя купить больше земель, а деньги у него были бы, и мог бы он купить больше. Ну, конечно, хотел бы он еще и табун с жеребятами, там доили кобыл, делали кумыс, или что. Ну, так вот он раздумывал. Когда

Информатор: Йожеф, Балаж земледелец, римско-католического вероисповедания; род.: 1903 г., Надудвар Хайду-Бихарской области

Вторая запись: май 1972 г.

«Этот Алексей Пахум тоже был один *большой русский мужик*, потому что так называли тогда крестьянина: мужик. Он *ходил на вырубку леса*, батрачил. Раз *зимой или летом* он сильно работал, собрал немного денег и *купил версту* (у нас это называлось, как с тех пор я догадался, ,капафельд, ,гон⁴) — двести квадратных саженей *земли*. И там он вырастил картошку. Испек он себе на ужин картошки, *наелся досыта печеной картошки и растянулся на лежанке*, так пишется в книге. Прикидывал он себе в уме, что *в следующем году станет работать еще больше* и купит еще столько же земли, тогда, думает, заколю поросенка или заведу козу. *Черт же подслушивал за печкой*, он тоже там грелся, и *поддакивал* ему изо всех сил: Так, Пахум, так! Ну и было так — в следующем году Пахум и правда купил землю. А еще через год купил еще больше. *Тридцать лет* так он богател и было у него уже *свое имение*. И вот в один день *в конце октября* Пахум осматривал свое имение — у него уже был *табун, стадо коров*, прислуга.

(Здесь мы прервем второй текст из-за более подробного рассказа первой записи, чтобы первой записи чтобы можно было параллельным повествованием!)

Тогда он *уже получал газету*. Вечером читает, что туда, к Татарской земле, Монголии (это где-то около Китая), в Монголии *тамошний губернатор* (так называли правителя)

же вернулся в дом, конечно, газета уже пришла, он *получал газету*. Читает, где-то около монгольской границы (Монголия — это Татарская земля, не знаю, самостоятельная республика, или куда относится.) Там есть большие целинные или переложные земли. И *тамошний губернатор* или же правитель *объявляет*, что кто даст тысячу рублей, тот может взять себе столько земли, сколько сумеет обойти от *восхода солнца до заката* (ну, это, может, фантазия), до заката *обойдет*, и это на него запишут, и он может обрабатывать. Все это отойдет к нему! Эх, и хорошо же это было бы! Решил, *пойдет туда!* Много дней надо было туда добираться. Пахум ехал поездом. Приезжает. Явился в *губернское ведомство*. И спрашивает, правда ли то, что было объявлено в газете? — Не ложь! Там есть у них поверенный, *заплатит* ему тысячу рублей и займет себе землю, может *брать в свое владение*. Ну и вышел он, а *поверенный*, конечно, *черт был, который подслушивал за печкой*. И говорит ему черт: ‚Батюшка или друг‘ — как-то так он его назвал — ‚берегись, говорит, хорошо мерь землю, потому что если не прибежишь к отмеченной цели, к отправному пункту, потеряешь тысячу рублей. *Проиграешь!*‘ Ну и *отправился* Пахум, взял с собой на дорогу погачей (пышек), но не ест, а старается спешить, бежит. Дальше, вот еще это холмистое местечко, этот *лес*, еще это обязательно надо *занять*. На *одном холме был черт, поверенный*. Солнце уже катится к горизонту, а Пахум *не ел и в обед*. Одежда прилипла к спине. Далеко уже забежал он, когда черт крикнул ему, *чтобы он спешил*, потому что солнце уже скатилось к краю неба. Взялся Пахум бежать. Бежал,

объявляет, что есть там *большие территории* необработанных земель. Если кто положит *тысячу рублей*, то может взять себе всю землю, что *обойдет от восхода до захода солнца*, и пусть обрабатывает. Ну, он *пойдет туда!* — подумал мужик и сильно заволновался. Много дней готовился — съестного там положил, напек себе на дорогу погачей (пышек), и отправился. Конечно, по железной дороге, и так надо было долго ехать! Прибыл и *пошел к правителю*, что мол, есть вот объявление, правда ли это, потому что тогда он хотел бы взять себе земли. — Как же не правда! Значит, он *положил тысячу рублей*, значит, теперь *обойдет земли и может брать в свое владение*. Так вот послал правитель поверенного в условленное утро, что он, мол, там будет ждать. Так вот как Пахум *вышел*, а *поверенный* уже был на месте, но это был *черт, который подслушивал за печкой*. Вот Пахум рассказал ему, чего он хочет, заплатил тысячу рублей, а черт и говорит ему, когда он заплатил: ‚Ну, теперь уже солнце начало всходить, можешь отправляться! Если захочешь занять слишком много и не успеешь обежать до заката солнца, то *потеряешь свои деньги*, потому что тебе надо обежать землю точно к закату.‘ Конечно, Пахум *отправился*, сразу же заспешил, уже тогда утром, на рассвете. Бежит, бежит, еще этот холм, еще этот — осмотрелся вокруг — еще это, еще то. Вот склонилось сильно солнце книзу, эх, еще эту *лесистую часть займет*, до заката успеет. Уже и *не обедает* — что этот один день, как-нибудь выдержит. Но когда он занимал лес, уже надо было очень спешить. Бежал, бежал, разгорячился, вспотел, так надрывался, что *на одном холме*, на на возвышен-

бежал, до тех пор бежал, пока не добежал до цели, прямо свалился с ног, ударился головой, всем телом о вкопанную там лопату. Конечно, там старик вытянулся, умер.

Черт же тогда расхохотался, перевернул его на спину, отмерил рядом с ним два шага — ну, говорит — Алексей Пахум, за этим ты бежал!»

ности был черт, поверенный, и он крикнул Пахуму, чтобы тот поспешил, а то проиграет. Ну, все-таки до заката солнца он прибежал, да еще так, что куда черт вонзил в землю лопату, что это отправная точка, и туда надо вернуться. Пахум так сильно бежал, так сильно, что прямо свалился на землю, лишь головой коснулся лопаты, ударился о нее головой и в минуту умер. Тогда черт расхохотался: «Ну, Алексей Пахум, за этой землей ты бежал! — перевернул его на спину и отмерил два шага рядом с трупом — За этой землей ты бежал!»¹¹

Тексты обоих рассказов, расположенные рядом, показывают, что они одинаковые по длине, несмотря на то, что разные эпизоды описываются в них с неодинаковой подробностью. Хорошо видно, что это одна и та же история, с одной и той же моральной конклюдентой. Как достигает этого сказитель? Что есть общее в обоих текстах, которое, вопреки языковым и стилевым отличиям, делает их одинаковыми?

Проведем один простой эксперимент. Выпишем из обоих текстов те фразы, которые слово в слово (или же почти слово в слово) совпадают и допустим, что, если они и через два года точно повторялись, тогда они важны с точки зрения построения повествования. (К этим языковым оборотам позже мы еще дадим дальнейшие примечания). Значит, мы предполагаем, что эти повторяющиеся элементы несут важную информацию о текстовой конструкции и об идентификации текстов.

Полностью совпадающие слова и выражения следующие:

Алексей Пахум был большой (сильный) русский крестьянин.

Он ходил на вырубку леса (зимой и летом), за это получил деньги, купил землю.

Он был доволен («наелся досыта печеной картошки», «растянулся на лежанке»).

Решил, что «на следующий год станет работать еще больше», (чтобы тогда уже купить скотину — «козу»).

¹¹ Во второй раз пожилой крестьянин добавил к тексту свое объяснение: «...если так подумать, Толстой был прав в этой фантазии — затем лишь бежал, за двумя шагами земли. Потому что ведь он и выиграл, прибежал до заката солнца, однако не смог этим попользоваться!»

Черт слушал за печкой, поддакивал (что он поможет Пахуму).

Через тридцать лет у Алексея Пахума уже было свое имение,
табун,
стадо коров,
он получал газету.

Однажды в конце октября он осматривал имение (нашел, что земли мало, ему хотелось бы еще больше!).

(В газете) он читает, что в Татарской земле губернатор объявляет, что если кто положит тысячу рублей (тот получит столько земли, сколько «сможет обойти пешком от восхода до заката солнца»).

Идет туда.

Приходит к губернатору.

Выплачивает тысячу рублей.

Выходит (на место действия, ждет).

«Поверенный, черт, который подслушивал за печкой».

(Договорились об условиях).

Пахум отправился.

Занял (красивый) лес, холм.

Не обедал.

(Бежит, спешит, потеет).

Черт стоит на холме и

кричит, «чтобы он поспешил», «потому что проиграл!»

Пахум прямо свалился с ног (у цели)

ударился головой о лопату

(и в минуту) умер.

Тогда «черт расхохотался», и перевернул (мертвеца) лицом кверху:

«Ну, Алексей Пахум, за этой землей ты бежал!» — и отмерил возле него два шага (т. е. длину могилы).

Следующий вопрос или же следующий шаг в анализе — как можно было бы формализовать этот процесс, сделать его более точным? Какие теоретические основы делают возможным процесс создания подобных вышеприведенным «текстовых экстрактов»? Поскольку мы, собственно говоря, выбрав полностью совпадающие фразы и обороты, сделали не что иное, как коротко подытожили оба рассказа. То есть был создан экстракт текста, такой более короткий («идеализированный текст»)¹², который содержит всю важную информацию оригинала. Кроме того (и это очень важно в ходе воспроизведения текста), в нем можно раскрыть ряд мелких деталей.

¹² М. Норрál: A mítosz poetikája és logikája. (Поэтика и логика мифа) in: P. Józsa (ред.): A jelentés kérdései. (Вопросы значения) Bpest, 1977.

3. Теоретические рамки воспроизведения и экстракции текста.

Проблемы, связанные с воспроизведением в памяти текста и с его экстракцией, слишком обширны для того, чтобы мы могли рассмотреть их здесь во всех подробностях¹³. Во всяком случае, они отнюдь не так просты, чтобы их можно было решить такими упрощающими и пустыми утверждениями, как например делает И. М. Хант, когда пишет, что с нарративным сокращением рассказ становится все более когерентным¹⁴.

Например доказано, что понимание текста в основе своей имеет семантический характер и основывается на пропозициях¹⁵.

Для начала здесь важно отметить, что память, хранящая более длинные нарративы, содержит тексты в форме упорядоченных множеств пропозиций. На уровне фраз, который некоторые исследователи называют микроуровнем, семантика определяет для рядов фраз текста ряды пропозиций и секвенций.

По предложению новейшей этнопоэтической¹⁶ терминологии нарративную единицу можно определить как аналитическую пропозицию, как такую нарративную синтагму, которая включает в себя одну роль и одну функцию, взятую в понимании В. Я. Проппа, которую можно формализовать в качестве пропозиции, взятой в логическом смысле. Каждую семантическую структуру мы создаем из единиц элементарной секвенции и пропозиционные множества, созданные таким образом, обеспечивают в частности когеренцию текста¹⁷.

Кроме логической когеренции *discourse* конечно имеет важное значение также и правильность языкового оформления текста. Можно спорить о том, что элементарные единицы нарративных структур надо искать на уровне фраз, или же на уровне больших, надфразовых единиц текста. По всей вероятности в ходе анализа на микроуровне более полезно (и достаточно) исследовать элементарные пропозиции текста, например в сравнительных исследованиях по мифологии — в случае *mythème* или же сказочного мотива¹⁸.

Однако когда мы анализируем общие характерные черты нарративов, стоит работать с большими единствами, поскольку очевидно, что глобальное значение текста несут большие, чем фразы семантические и текстовые единства, например несколько фраз вместе, или же весь абзац, другими словами, один из эпизодов текста. Конечно, один эпизод тоже можно сгустить в одну фразу, т. е. его можно переписать в форме единственной пропозиции, и таковые будут

¹³ Хороший обзор этих вопросов можно найти: van Dijk, T. A.—Kintsch, W.: *Cognitive Psychology and Discourse: Recalling and Summarising Stories*. in: Dressler, W. M. (ed.) *Current Trends in Textlinguistics*. Berlin—New York, 1978. 61—80. — Особенно стр. 62—66.

¹⁴ цит. изд. Hunt, 1957. 148.

¹⁵ Kintsch, W.: *Notes on the structure of semantic memory*. in: Tulving, E.—Donaldson, W. (eds.): *Organisation of Memory*. New York, 1972. 247—308.

¹⁶ Jason, H.: *Ethnopoetics: a multilingual terminology*. Jerusalem, 1975. см. стр. 24.

¹⁷ К вопросу когерентности текста см.: Grimes, J. E.: *Narrative Studies in Oral Texts*. in: Dressler, W. (ed.): *Current Trends in Textlinguistics*. Berlin—New York, 1978. стр. 123—132. — Особенно стр. 125.

¹⁸ M. Hoppál: *Mítosz, kép és szöveg*. (Миф, картина и текст) in: M. Hoppál—M. Istvánovits (ред.): *Mítosz és történelem*. (Миф и история) Bpest, 1978. 301—337.

теми макроструктурами, которые сгущают в форме макропропозиций информацию в пропозициях на уровне фраз¹⁹.

Правила создания макроединств собственно совпадают с теми операциями, посредством которых создаются текстовые экстракты. Ван Дейк и его сотрудники организовали с учениками средней школы написание подытоживающих экстрактов после усного прочтения новеллы Бокаччо. Из серии различных экспериментов выяснилось, что в работах учеников чаще всего встречались те пропозиции, которые совместно дают (создают) подытоживающий экстракт новеллы.

Из эксперимента выяснилось и то, что в памяти читателя остается следующее: следы визуальной памяти, пропозиции микроструктуры и пропозиции макроструктуры — они организуют повествование в терминах главных событий. Из них больше всего остаются в памяти упомянутые в последнюю очередь макропропозиции.

Длительная память, имеющая в основе своей семантический характер, сохраняет макропропозиции, подытоживающие сущность больших текстовых блоков²¹.

Если мы сравним макропропозиции²² двух текстов — рассказа Л. Н. Толстого и венгерского крестьянского повествования, то станет очевидным, что последний можно считать хорошим экстрактом, поскольку он охватывает каждый существенный момент. Хорошо сформулировано повествование также и с точки зрения общих принципов нарративной грамматики, поскольку в нем

¹⁹ цит. изд. van Dijk—Kintsch 1978. стр. 68:—«Characteristic of macro-structures is that they are entailed by sequence of propositions (micro-structure) of the discourse. Their function is to *reduce* and *organize* information»; там же они перечисляют правила создания макропропозиций.

²⁰ цит. изд. van Dijk et alii. 1975. стр. 12: дается наглядный пример демонстрации процесса: «It seems to follow that discourse comprehension not only requires assignment of each proposition into some very complex hierarchical structure, but also a sort of macrointerpretations of the text are mapped on a sequence of propositions 'resuming' these sets in the last propositions. Thus, a sequence like "Peter bought sand, stones. . . ; Peter laid foundations; Peter erected walls; . . .;" may be mapped onto a proposition like 'Peter built a house'. It is our contention that a hierarchical structure of such macro-propositions are in fact stored in memory, and that this macro-structure determines all forms of retrieval processes. More in particular, we assume that a summary is a direct verbalization of a macrostructure.»

²¹ ср. Cs. Pléh: Szemantikai emlékezet, ismeret, hiedelem. (Семантическая память, знание, верование) in: T. Frank—M. Horpál (ред.): Hiedelemrendszer és társadalmi tudat. (Система верований и общественное сознание) Budapest, 1980. Membrán-könyvek.

²² Из-за недостатка места мы здесь не приводим список оригинальных и довольно длинных макропропозиций повествования. Издание, на основе которого создавался список: Толстой Л. Н.: A paraszt meg az ördög (Перев. Жужа Раб). Bukarest, 1955. Изд-во «Ifjúsági». Другие венгерские издания, которые могли попасть в руки крестьянского сказителя: Tolsztoj N. Leo: Népies elbeszélések (Перев. Эндре Сабо), Budapest (1899), стр. 65—82. Tolsztoj Leo: Mennyi föld kell az embernek? Új Hang, 1940, N 1, стр. 20—24. Оригинальный русский текст можно найти в издании: Толстой, Л. Н. Много ли человеку земли нужно. Повести и рассказы (1872—1906), т. II, стр. 40—51, Москва, 1974.

встречаются те макроэлементы, которые обязательно нужны, а именно: *завязка, конфликт, развязка* и наконец *оценка*, а также *мораль*²³. Например, в начале произведения дается общая картина ситуации, ознакомление с местом действия, представление главного героя, в конце же извлекается моральная конклюдия.

Однако стоит обратить внимание на некоторые мелкие различия и таким образом мы шагнем вперед (соответственно упомянутой программе вербального семиотического анализа) в направлении обсуждения определенных семантических и прагматических проблем. Таковыми являются: упоминание имени главного героя (Алексей), которое совсем отсутствует в русском тексте. Подобным образом в рассказе Толстого не говорится о том, что мужик заработал деньги на все более увеличивающееся свое имение на вырубке леса, а мы знакомимся с рядом эпизодов из жизни русского крестьянства (например то, что мир решает, примет ли община кого-либо в свою среду, там земля — общая собственность и т. д.). Интересно и то, что в венгерском варианте обогащение крестьянина подчеркивается тем, что у Пахума в имени был «табун, стадо коров» и он получал газету (Sic!) Согласно русскому тексту: «свою землю пахал и сеял, на своей земле сено косил, со своей земли колья рубил и на своей земле скотину кормил.»

Особенно интересно с точки зрения логики повествования, что оно актуализировало действие, согласно венгерскому тексту Пахум читает весть в газетном объявлении, в то время как в русском варианте он неоднократно слышит весть «с земли башкирской» от странников, заезжих купцов. (В повествовании старого крестьянина упоминается «Татарская земля», расположенная «где-то на границе с Китаем»). Черт, как противник главного героя, согласно венгерскому варианту — настоящий сказочный супостат, воплощение лукавого, склоняющего к жадности. У Толстого сказочное эпическое полотно более сложное и читатель лишь из эпизода сна в предпоследний день может догадаться, что башкирский старшина, купец, мужик прохожий — лишь разные обличья того дьявола, который слушал за печкой, как Пахум жаждет приобрести большие земли.

Самый интересный мотив рассказа — приобретение земли или отмеривание территории обходом. Заслуживает отдельного внимания уже и то, что Толстой показывает этот общеизвестный мотив мирового фольклора, как характерный признак мышления башкирских кочевников. В тексте венгерского крестьянского повествователя не выступают ни башкирцы, ни татары, герой гонится за землей, за как можно большим богатством и жадность наказывается. Повествование заканчивается точно сформулированным моральным назиданием. Здесь надо упомянуть, что заключительные картины, последние сцены рассказа перешли в короткое повествование без изменения (например черт или же старшина-башкирец хохочет, или же отмеривание земли для могилы).

Интересно в повествовании старого информатора, что за исключением использования нескольких русских слов (например мужик, рубль, губернатор) абсолютно отсутствуют моменты, указывающие на русский образ жизни,

²³ ср. цит. изд. van Dijk et alii 1975, стр. 91.

и вместе с ними вводятся характерные черты венгерского крестьянского быта (например «капафельд» столько земли, сколько может за день обработать один человек), батрацкая работа, печеная картошка на ужин (у Толстого, конечно, пьют чай), табун с жеребятами, «куцик» (название верхней части печки), которое выступает в обоих вариантах текста. Хорошим примером органического вплетения в текст элементов венгерского фольклора является и то, что в дальнюю дорогу Пахум берет с собой *погачи* (пышки), это рассказчик заимствовал из текстов венгерских народных сказок, где без этого чудесного кушанья герой в дорогу не отправлялся никогда. (Мой информатор очевидно хотел этим дать представление о дальности дороги, поскольку в народных сказках оборот «погачи (пышки), испеченные на углях» употребляется именно в такой функции. У Толстого, конечно, нет ничего подобного).

Можно отметить, что мы нашли такой же элемент, коренящийся в глубине культуры, языка (и в народных верованиях) также и в тексте Толстого, например, когда Пахум говорит о «земле-матушке», он использует выражение *a föld anyácska* (то же), которого, конечно, нет в венгерском фольклоре.

По нашему мнению, это те элементы, появление которых в тексте народного сказителя (а также в рассказе русского писателя, написанном в «народном духе») обеспечивает достоверность текста, делает правдоподобным изображаемый *мир*, место действия и события, короче говоря, обеспечивает когерентность текста на уровне известных элементов данной культуры.

Вопрос об элементах, представленных в вышеприведенных примерах, переводит нас к следующему кругу проблем, а именно к проблемам памяти, определенной культурой.

4. Заключительные заметки о памяти, определенной культурой

Вообще наблюдается, что те элементы повествования, которые из-за причин культуры были менее понятны крестьянскому сказителю, заменились знакомыми элементами, словосочетаниями, выражениями и картинками. Значит, память или же воспроизведение — не просто репродукция, но и толкование. Другими словами, посредством припоминания приходит в движение весь запас знаний и верований личности и они творчески принимают участие в процессе воспроизведения. Наиболее важно в этом процессе то, что верования и знания, связанные с миром, определяют избираемые слова в рамках данного повествования. Как видно, именно «миропонимание» дает эту всеохватывающую рамку, которая определяет, о чем можно говорить в одной культуре, и о чем нельзя. Ясно, что легче воссоздать те фразы, пропозиции или же тексты, содержание которых близко стоит друг к другу. Другими словами, тождество культурной системы (тождественная система языка и верований), как основа охватывает семантику макроэлементов повествования.

Конечно, не случайно внимание старого крестьянина привлек и запомнилось ему именно этот рассказ Толстого, написанный в народном духе — ведь его центральный мотив широко известен в венгерском фольклоре. Недавно в деревне, находящейся в полусотне километров от места жительства нашего ин-

форматора, записан рассказ, в котором тисафюредский рассказчик говорит о приобретении имения господином Михаем Шаркези следующим образом: «...он просил земли лишь столько, сколько сможет *обороздить за один день* на двух волах, и получил он земли вдоволь; на краю дороги, у стана Яноша вонзил в землю плуг и за один день очертил себе три тысячи хольдов...»²⁴

Наряду с относительно новыми данными этот сказочный бродячий мотив можно встретить²⁵ (не говоря здесь о далеких межнациональных параллелях)²⁶ в определенных традициях исторического фольклора, связанных с мотивом приобретения имения. Эти традиции сохранились в письменных источниках о происхождении средневековых дворянских семей. Часто встречающийся в них мотив — такой способ овладения имением, что оно будет равным территории, обойденной вокруг за определенное время. С именем одного из венгерских королей XI века Ласло (Владислава) Святого связан следующий сказ, в котором бедняк получает дворянство и поместье:

«О его проделанном сюда (т. е. в Далмацию) втором пути из наследия наших предков мы знаем следующее: как он поехал на телеге к Каниже, на кроткого короля нашел такой глубокий сон, что он не слышал на тряской дороге шума гремящих колес. Вдруг из колеса вылетела чека и потерялась; эту случайность слуги короля заметили не сразу, да у них и не было под рукой другой чеки, чтобы заменить потерянную. Тогда Балаж, крепостной из тех мест, на место чеки вставил палец и держал болтающееся колесо до тех пор, пока проехали расстояние в один хольд. Балаж с другими крепостными собратями в награду за проявленную верность и беззаветную преданность королю были отпущены на волю и получили столько земли, сколько смогут объехать верхом за несколько часов...» (*aesque terra, quas eques per complure horas obequitasset, accepisse...*)²⁷

Этот сказовый фольклорный мотив, наряду с другими известными мотивами, снова увеличил число тех элементов средневековых традиций, которые и в наше время можно встретить в венгерском фольклоре.

И наконец стоит упомянуть, что в венгерской литературе известна литературная обработка одного из далеких вариантов этого сказа. Дежэ Сабо ввел ее в свой роман «Чудесная жизнь», изданный в 1921 году²⁸. Жнецы разговаривают и один из них поднимает вопрос, каким образом отошел Харомсек к се-

²⁴ M. Szilágyi: Népi anekdoták Józsa Gyuriról és más földbirtokosokról. (Народные анекдоты о Дюри Йоже и других помещиках) *Folklór Archívum*, N 5. стр. 115—123. Надо отметить, что и в оригинальном тексте башкирцы хотели очертить плугом отмеченные земляными насыпями границы имения— ср. венгерский перевод 1955 года, стр. 38, в русском оригинале цитир. изд. стр. 47.

²⁵ Zs. Szendrey, *Nagyszalontai gyűjtés*, (Сборник по Надьсалонте) MNGY, т. XIV. Budapest, 1924.

²⁶ ср. В. Шкловский: *A széppróza — Vélemények és fejtegetések*. (О художественной прозе) Budapest, 1963, стр. 87. — О мотиве Дило.

²⁷ ех: *De Rebus Gestis Hungariae Regum F. I. Jaurin 1742*. in 8. стр. 35—36. — Популярная обработка: D. Lengyel: *Régi magyar mondák*. (Древние венгерские предания) Budapest, 1972.

²⁸ D. Szabó: *Csodálatos élet*. (Прекрасная жизнь) Budapest, 1921. т. I, стр. 52.

кеям. Ответ на это — одно сказание, в первой части которого говорится о том, как один секей выиграл свинью господя бога у саксонца и румына таким образом, что хитроумно выполнил одно трудное условие. Другая часть сказания относится к уже исследованному и нами типу, поэтому мы приводим ее дословно:

«Была уже у секея свинья с двенадцатью поросятами, но не было земли. Пошел он к господу богу: . . . Дай лишь столько земли, сколько я *отделю тремя стульями*, этого мне хватит. Расхохотался господь бог и говорит: Столько я, конечно, дам, сын мой, но увидишь сам, многого ли ты этим добьешься. Пошел секей, взял три больших, неуклюжих стула и перепилил их на мелкие опилки. Потом осмотрел землю, выбрал хорошую харомсекскую область и шел до тех пор, пока не засыпал ее опилками. После того он пошел к господу богу: Ну, пресвятой боже, видишь, как оно есть. Бог и осерчал немного, и смеется. Почесал он голову и говорит: Ну, ты хитрец, и меня перехитрил. Бери себе землю, но так как ты выманил ее *стульями* (*szék* по венгерски «стул»), пусть тебя зовут отныне *секеем*, а землю твою пусть называют Харомсек (Три стула). И с тех пор Харомсекская область принадлежит секеям, и никто ее у них не отберет.»

Вильмош Тольнаи, опубликовавший этот текст, добавил, что последний относится к группе сказаний, объясняющих имена, а способ приобретения имени — к типу Карфагена²⁹.

В конце концов из приведенных примеров можно установить, что снова оправдалось то утверждение, согласно которому культурно понятные, акцептируемые мотивы (элементы или же ряды элементов) запоминаются лучше и с бóльшим трудом выпадают из коллективной памяти. Этот процесс намного медленнее, чем мы до сих пор думали. Особенно относится это утверждение к информации такого характера (сказаниям, мифам и другим нарративам), которые находятся во взаимосвязи с сознанием идентичности среды (например этнонимы, традиция родового происхождения, названия местностей или же связанные с ними повествования).

Культура сохраняет в форме различных текстов информации, необходимые для самоидентификации. Разные жанры нарративов вместе с сетчатой структурой верований³⁰ и языком, используемым средой повседневно, можно считать длительной (*long term*) памятью культуры, они выполняют определенную функцию культурной памяти.

А когда речь идет о разрушении, изменении этих фольклорных нарративов, тогда ясно видно, что надо учитывать следующее:

1. процессы человеческой памяти;
2. внутренние (логические) и внешние (языковые) закономерности текстов, общие правила наррации;
3. наконец, но не в последнюю очередь, взятый в самом широком смысле слова контекст культуры (система верований и ценностей, а также влияние

²⁹ V. Tolnai: Karthago-féle birtokszerezési mondák. Ethnographia, 1923, стр. 114.

³⁰ M. Hoppál: On Belief System. in: Burghardt, W. — Hölker, K. (eds.): Text Processing — Papers on Text Analysis and Text Description. Berlin — de Gruyter, 1979.

предметной среды), потому что это создает возможности для восприятия определенных культурных влияний, или же их отвергания.

Об общем структурном построении нарративов надо упомянуть потому, что выяснилось (см. эксперименты Ван Дейка и его сотрудников), что в процессе создания длинных и комплексных повествований (в случае воспроизведения или повторного пересказывания) текст возникает как результат трех главных составных: 1. нарративных правил (они касаются общего и правильного построения повествования); 2. логики событий и акций повествования (это обеспечивает в ходе повествования когеренцию и консистенцию действий и событий); 3. макроправил — тех правил, с помощью которых мы создаем макропропозиции, сохраняющие самую важную информацию, касающуюся повествования.

Мы считаем, что наши вышеприведенные утверждения подводят нас ближе к лучшему пониманию одной из основополагающих проблем фольклора, а именно — к освещению сложных вопросов передачи традиций.

Critica et Bibliographia

Literatura staropolska w kontekście europejskim. (Związki i analogie)

Pod. red. Teresy Michałowskiej i Jana Ślaskiego. Wrocław—Warszawa 1977.
Ossolineum, 324.

Studia porównawcze o literaturze staropolskiej

Pod. red. Teresy Michałowskiej i Jana Ślaskiego. Wrocław—Warszawa, 1980.
Ossolineum, 195.

Dążenia do odnowienia metod nauki o literaturze, próby skierowane na studiowanie literatur narodowych w kontekście europejskim lub bardziej powszechnie, uniwersalnym, są stałymi zjawiskami badań międzynarodowych. W duchu tego pracują i polscy historycy literatury i o umocnieniu się tej tendencji świadczą zbiory ostatnich dziesięcioleć. To było już celem zbioru studiów pod tytułem „*Literatura polska w perspektywie światowej*”, którego redaktorami są tacy naukowcy, jak R. Pollak, Z. Libera, J. Krzyżanowski, H. Markiewicz i K. Wyka. Dla charakteryzowania tego zbioru wymieniam pracę K. Wyki, pod tytułem „*Literatura polska lat 1890—1939 w kontekście europejskim*”. Po tym, dziesięć lat temu, wydano zbiór studiów pod tytułem „*Europejskie związki literatury polskiej*”, dedykowany Zofii Szmydtowej mającej wybitne rezultaty w badaniu związków europejskich. Właśnie ta dyrektwa podała temu zbiorowi zasadnicze znaczenie. Wydany przez Katedrę Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego zbiór na temat od renesansu do literatury współczesnej dwudziestego wieku zawiera studia szczegółowe nakreślające europejski horyzont literatury polskiej. Redaktorami tomu byli J. Z. Jakubowski, J. Kulczycka-Saloni, Z. Libera — wybitni specjaliści tego kierunku badania. Z punktu widzenia innych badaczy zwracamy uwagę na przegląd H. Markiewicza „o międzynarodowym znaczeniu literatury polskiej w opiniach krytycznej i historii literatury”. Opracowanie przejawień dotyczących relacji literatury narodowej i powszechnej od świadomych wierszy St. Witkowskiego i Kochanowskiego do współczesnych opinii podało autorowi wrażliwemu na zagadnienia teoretyczne podstawę wyłuszczenia programowego spostrzeżeń polegających na ocenie historycznej. Problematyka porównawcza więc powstaje w każdym okresie historii rozwoju literatury.

W pracach i wymianach przeglądów lat siedemdziesiątych powstały zagadnienia studiowania literatury polskiej na tle literatury powszechnej, oraz na podstawie metodologii porównawczej. Tom pod tytułem „*Literatura staropolska w kontekście europejskim*” zawiera w sobie materiały konferencji naukowej o związkach i analogiach wcześniejszej literatury polskiej. Celem pracy było podsumowanie skutków badań mających charakter porównawczy literatury polskiej i odnośnych literatur zagranicznych dawnych wieków. Zamiar wielostronnego podsumowania posłużył opracowaniu i wyjaśnieniu zasad metodycznych dalszej pracy. Według wstępu redaktorów optymalna całość nie urzeczywistniała się, ponieważ kilka prac z proponowanych tematów nie przygotowało się, a z drugiej strony kilka prac nie dotarło do redaktorów. Mimo pewnych niedostatków, bogata i wieloraka tematyka zbiorowego tomu zredagowanego starannością i szerokim horyzontem myślowym, w porównaniu z poprzednimi, jest jednym z pouczających podsumowań nowszych studiów (do tego są doliczone i bibliografia oraz dokumentacja).

Czternaście referatów odzwierciedlających współdziałanie badań polonistycznych oraz współczesnych dyscyplin filologicznych świadczy o tym, że nie chodzi tu o dziedziny badawcze podobnego poziomu i głębokości, lecz zmieniają się bardziej wykrywane lub mniej znane okresy historyczne i historie kontaktów. Po ogólnym obrazie krytycznym wyłaniającym się o stosunkach polsko-włoskich w średniowieczu i w epoce renesansu (T. Ulewicz) następują spostrzeżenia dotyczące bilateralnych kontaktów wieku XVIII, oraz problematyki badań literackich analogii i paraleli baroku (J. Lewański). O związkach literatury staropolskiej i starofrancuskiej, do połowy wieku XVIII, autor (J. Sokołowska) przedstawia swoje propozycje i sugestie z wymaganiem perspektywy syntezy i pospiesza prace porównawcze różnego typu. Co do hispanistyki, praca jest w etapie wyjaśnienia obecności literatury hiszpańskiej w Polsce od średniowiecza do początku oświecenia (K. Niklewiczówna). Dokładne badania kulturalnych stosunków angielskich (W. Ostrowski) i niemieckich (saskich, pruskich) (M. Szyrocki, B. Nadolski) wymagają dalszych systematyzowań. W relacji polsko-holenderskiej, obok humanizmu i renesansu, mniej znany jest wiek XVII (A. Borowski); w relacji literatur skandynawskich też ofiaruje możliwość badawcza niezwykle ruchliwy epok baroku (E. Kotarski). Odmienne były odczyty o stosunkach literatur słowiańskich, przede wszystkim o polsko-czeskiej (J. Magnuszewski) oraz o literaturach wschodniosłowiańskich (ukraińska, rosyjska) (P. Lewin), z sygnalizowaniem braku problematyki południosłowiańskiej. Cecha charakterystyczna związków kulturalnych Polski i Śląsku jest to, że na początku wieku XVII, w wyniku zmian historycznych istnieją dwie literatury narodowe — niemiecka i polska, co wymaga gruntownego badania wcześniejszych i późniejszych okresów (J. Zaremba). To jest radosne, że wcześniejszy okres tradycji polsko-węgierskiej obejmujący coraz bogatszy materiał był przedstawiony dla komparatystów w odcycie o wysokim poziomie (J. Ślaski). Praca programowa występująca na czele tomu, podsumująca nowsze rezultaty i tendencje komparatystyki międzynarodowej, zasłużyła skoordynowaniu rozwidłonej tematyki i metodologicznych rozmaitości, oraz nakreśliła i perspektywy nauki o literaturze komparatywnej w Polsce (Z. Libera).

Ostatnio wydane *Studia porównawcze o literaturze staropolskiej* jest jakby kontynuowaniem współpracy Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Badań Literackich PAN, która objawiła się i współdziałaniu redaktorskiego poprzedniego tomu. Tym razem publikacja warszawska i weneckiej konferencji polsko-włoskiej podała możliwość prezentacji nowszych badań szczegółowych. Podsumowanie mające charakter syntezy, przejmowanie idei i utworów wybitnych humanistów, analizy porównawcze pokazujące europejskie źródła utworów i gatunków literackich, genetyczne badanie doskonałych utworów po łacinie Kochanowskiego — te były najważniejsze problematyki. W ten sposób zostały opracowane „erazmianizm“ w literaturze polskiej w wiekach XVI i XVII (M. Cytowska), oraz „petrarkizm“ w poezji polskiego renesansu i baroku (J. Kotarska); „commedia dell'arte“ w teatrze staropolskim (W. Roszkowska); facecia humanizmu w Polsce i jej włoskie wzory (S. Graciotti); pod względem hungarystyki ciekawy jest przekład polski rodzaju ballady węgierskiej pod tytułem „Historia de duobus amantibus“ i pojęcie miłości w epoce renesansu (P. Marchesani); nowa interpretacja już zmarłego A. Dantiego o tajemniczych pamiętnikach (badanych i pod tytułem „Pamiętniki Janczara“) utworu pod tytułem „Kronika turecka“, których pochodzenie i powstanie do dzisiaj nie jest wyjaśnione; o poezji dworskiej Kochanowskiego związanej z Báthorym (B. Nadolski), funkcja i wyjaśnienie koncepcji humanistycznej „otium“ o starożytnym poczuciu w literaturze baroku (B. Otwinowska). Wysuwanie się tematyki włosko-polskiej na pierwszy plan jest motywowane przez silny wpływ Italii na stosunki kulturalne Polski w wiekach XVI i XVII. Wybrane do dyskusji zagadnienia historyczne i gatunków sztuki dalej rozszerzają dziedziny badań porównawczych, które są bardzo pożyteczne i z punktu widzenia metodologii, pogłębienie badania europejskiej tradycji kulturalnej popiera interpretację i bardziej przenikliwe charakteryzowanie właściwości literatury polskiej. Dwa omawiane zbiory świadczą o silnym rozkwicie komparatystyki polskiej na dziedzinie badań wcześniejszych okresów literackich.

L. HOPP

Munksgaard, Copenhagen, Tomus 23, pp. 214, 1977, Tomus 24, pp. 254, 1978, Tomus 25, pp. 226, 1979, Tomus 26, pp. 201, 1980, Tomus 27, pp. 270, 1981

I.

1. *Scando-Slavica* is an important forum for European Slavonic studies. On the basis of material surveyed over five years the editorship of Jakobsson, Nilsson and Peciva can be seen to be characterized by the presentation of the methods and modern results of the analysis of literary texts. The speedy development of "verification-technology" is largely characteristic of the research into the theory of text, i. e. *the measurement and measurability* becomes more and more predominate both at the *macro and micro text-levels*. The measurement or measurability can not only reveal the extent of text-sets but the structure or the elementary, single structural "stereotypes" as well.

2. Naturally, it is impossible to deal with every single essay on a literary theme, since there are over fifty of them. Our choice is dictated by the interests of the Hungarian reading public, for this reason we do not take chronology into consideration.

2.1. In his essay on "*Ofort by Zabolockij. The Poem and the Title*" F. Björling is trying to find the regularity of lyric text-coherence. The poem, written in 1927, consists of fourteen individual and largely incoherent images. The title (Ofort) forms an "artificial" *frame* which gives the text its coherence and thus also defines the final values of the interpretation. Anna Junggern (1981) evaluates Björling's conception and modifies the semanticcreating role of the *title-frame* in the interpretation. The fourteen statements are grouped into a coherence—funeralapocalypse-town—and Anna Junggern notices the dominant organizing principle of the text in the period of the writer. The essence of this method is the "*столкновение смыслов*" (collision of ideas) within one frame-system. She establishes a significant relationship between *the decrease in textual length and the increase in semantic distances*. Though this discovery has been confirmed several times in the studies of *Scando-Slavica*, we do not think that its significance has been properly recognized and appreciated yet.

2.2. Using computer techniques G. Kjetsaa (1978) has verified the authorship and authenticity of the *Quiet Don*. In Paris, in 1974 the authorship of the *Quiet Don* was attributed to F. Krjukov. Kjetsaa's analysis, using the method of exclusion, overwhelmingly proves that the *Quiet Don* is Sholohov's text. The length of the sentences and words, and their semantic grouping or distribution are more characteristic of Sholohov's writing than of Krjukov's. Kjetsaa shows the efficiency and justifies the use of the "trace-method" examining papers contributed to Dostoevsky, but published *anonymously* in periodicals he edited (1980). Comparing the 58,000 words of the twelve unidentified essays to an authentic Dostoevsky text of 120,000 words, he proves that four of the twelve papers are not from the pen of Dostoevsky.

2.3. We might class those writings in the second essay-group in which the textual analysis is perhaps not so "thorough", but is very precise in its evaluation of the *coherence of the macro- and microstructures*.

In his analysis of the composition of I. Babel's short story *Переход через Збруч* (1978), Nilsson reveals the narrative structure of the *short story-cycles*. He exposes the role of the speech style and narrative techniques which form the coherence and its *frame-creating semantics*.

Analysing Dostoevsky's *poliphony*, Sigurd Fasting points out that Bachtin's theory can still be refined: i. e. there is a hierarchy of the polyphonically (co-ordinatively) pronounced and not pronounced value-judgements and this hierarchy has a ranking. Through the analysis of the *Brothers Karamazov* he proves that it is the open philosophical, ethical, intellectual, existential and polyphon-

ic way of putting a question that establishes the compositional dynamics of the novel, and the "answer" is provided precisely by building this hierarchy.

Fasting also documents the theory of hierarchy when he evaluates the *Симфония. 2-ая драматическая* by A. Belij. In world literature Belij is, perhaps, the most "poeta doctus"-like creative personality. His "symphony" was written in 1902 together with his theoretical arguments (*Формы искусства*, 1902.). The name "symphony" refers to the notion of the central view of the system of the age, to the interest in the elementary, traditional, gnosiological structures and to the role of *musicalness* which has greater expressive potential than language. *The principles of "структурные вычисления"* and "*fragmentation*" became dominant both in literary practice and theoretical writing at the turn of the century. Following Belij, Fasting distinguishes three systemworlds on the basis of their sense forming characteristics in the symphony: the semantic worlds of events, evaluation and philosophical mood related to the age.

This type of essay is also represented by the analyses of Bortnes (1978), Woodward (1980), Loginovskaja (1980) and Hammerborg (1981).

2.4. The third type of essay is formed of the papers in which some rare, hidden theme is enlarged on by "traditional analysis".

Lenhoff (1977) systematizes the rhetorical methods of the Novgorod *Книга Паломник*. He points out that these methods render this important relic of early written literature belletristic, since they represent the dominant principle of text organization.

Stevenson (1981) examines the thematic, compositional and emblematic role of *уход* in Chekhov's prose. As a concrete and as a symbolic component it is a significant element in the whole of Chekhov's work and is present both on the existential and intellectual levels of his prose.

3. The literary essays in *Scando-Slavica* are characterized by an attempt to interpret a concrete work and the ideologization of the evaluations is consciously avoided. They significantly contribute to the proper development of the bourgeois evaluation of Russian and Soviet literature.

II.

The principle stated aim of the journal *Scando-Slavica* is to give an account of Scandinavian Slavists, but it also publishes some articles by other authors. About a third of the material, written mainly in English, with only a few articles in German or Russian is devoted to linguistics and stylistics, showing the diverse interests of the authors and the "peaceful coexistence" of traditional and contemporary scientific approaches. The majority of the articles discuss Russian topics, but Bulgarian, Polish, Slovene and Hebrew material is also represented. In this part of the review I intend to give an outline of the linguistic part of the journal with a more detailed analysis of some of the articles that I found especially interesting.

Most of the articles are synchronic in approach. Only one or two in each volume focus on points of the history of language, mainly on the subject of geographical names, for example, K. Dravin's "Zur Deutung einiger nordkurländischer Ortsnamen. VIII" (1978) and S. Sverdrup Lunden's "*Grumant or Broun? Previous Names for Spitsbergen*" (1980). J. E. Reinton's excellent article on "The Relationship between English Loanwords and Their Synonyms in Russian Sport Terminology" has a comprehensive word-list a detailed bibliography. The 1980 volume contains the last publication of the late Finnish Slavist, J. Hyrkkänen on "Der Vokativ und sein Gebrauch in *Tichonravovski damaskin*", the analysis of a 17th century Bulgarian text.

Phonology is scarcely represented in *Scando-Slavica*. In the analysed five years there are only two such articles, both in the volume of 1981. The article by T. Srebot-Rejec "On the Allophones of (v) in Standard Slovene" publishes the results of experiments made with sonograms of two radio announcers and a professional singer. The author concludes contrary to traditional views, that there are no fricative, voiced or voiceless sounds (w) and (?) in Standard Slovene, the sound concerned

being instead an unstressed (u). Thus the cases under study concern the phoneme (u) and not the phoneme (v). This, of course, does not exclude a frequent alternation of (u) and (v).

An interesting article by A. Mustajoki, "Russian Stress: Word Frequency as an Indicator of Mobile Stress" (1981) substantiates Zaliznjak's claim that as the generality of a word increases, so does the probability of mobile stress. On the other hand, in contrast to Zaliznjak's view, he claims that there is no clear relationship between type XB and frequency or familiarity.

The number of articles on morphology is higher. Two articles by L. Lönngren, "O segmentacii suffiksial'nych morf v russkom jazyke" (1979) and "On Abstract Nouns in Russian and the Notion of Derivation" (1981) make a clear distinction between synchrony and diachrony from the point of view of derivation. He takes the synchronic approach, saying that on the synchronic level derivational directionality can never be more than a psycholinguistic notion or a theoretical construct. The identification of derivational affixes and truncated segments is totally dependent on the way we establish derivational directions between words in a word formation nest. Here Lönngren's approach basically differs from Kiparsky's or Mel'čuk's.

Per Restan presents the results of statistical examinations from a stylistic viewpoint in his "Word Classes, Rhythm, Frequency" (1981). On the basis of 7,000 examples taken from non-fictional prose and dialogue, he establishes special contrasting features of *книжная речь*, and *разговорная речь*. He is principally concerned with well-defined frequency relations of a grammatical and prosodic nature that can be expressed by means of formulae. He concludes: it is a grammatical feature of *книжная речь*, that the frequency of substantives is more than twice as high as that of all other word classes together. Its prosodic feature is that masculine endings are less frequent than dactylic ones. In contrast, *разговорная речь* is characterised by a frequency of substantives lower than all other word classes together and by masculine endings being more frequent than dactylic ones.

Most of the articles are concerned with problems of syntax and semantics. Some elaborate traditional Slavist topics, but many others are studies in general linguistics. The problems of aspect and aspectuality can more or less be regarded as Slavist ones, and there are three articles on this subject. In his "Presupposition and Entailment in a Theory of Aspect in Russian" (1977) R. E. Weber analyses these two logical and semantic concepts to allow their application to problems of the meaning of aspect. On meticulous examination of the proposals regarding these concepts, he finds that entailment rather than presupposition can account for various meanings of aspect (perfectivity, completion, etc.). He also draws attention to the fact that entailment is closely related to a number of other concepts (analicity, meaning preservingness, Carnap's meaning postulates, meaning inclusion, etc.) all of which should be examined for their relevance to problems of aspectual meaning.

H. Chr. Sörensen's "Der russische Konjunktiv" (1977) sheds new light on the morphological and semantic interpretation of the Russian subjunctive form. The subjunctive form is traditionally regarded as consisting of the verb, semantically deprived of its temporal meaning plus the particle *by*. According to the author, however, the preterite of the verb is not an integral part of the subjunctive form and does not lose its temporal meaning and it is only the particle *by* that expresses the subjunctive mood. Thus *by* is morphologically a verbal morphemic element, expressing irreality or hypothesis by playing a special modal role in the sentence, with a syntactic function similar to that of the *li* (for questions) and *n'e* (for negation). We should note here that whilst this concept would be implausible, if the particle *by* alone expressed a given modal meaning, it is to be considered as a sentence modifier, and thus an adverbial, rather than a verbal element.

R. Gyllin contributes to a long debate in his article "What Does the Bulgarian Definite Article Modify?" (1978). After a thorough survey of the previous views on this question he comes to the conclusion that the definite article in Bulgarian is not dependant on any word class, and that its absence or presence refers always to the whole NP — irrespective of the number of its constituents and their order and lexical content. Note here that a thorough lexical examination of the function of the definite article could lead to the conclusion that it is not even just the NP that the definite

article modifies but indeed the whole proposition. The reason for it may be that the definite article represents a universal quantifier that may include in its scope a whole proposition.

I. Pete, the only Hungarian author in the five volumes of Scando-Slavica offers a comprehensive survey of the types of question in Russian ("Типы вопросительных предложений в русском языке", 1979). The author aims to assist Russian studies using a large number of examples. He sets up two main groups of interrogative and non-interrogative questions within which he follows morphological and semantic criteria to define 17 subgroups of questions.

The 1979 volume contains two articles clarifying problems of the functional sentence perspective in Russian. B. Nilsson in "On the Thematic Communicative Function of Nouns as Subjects" and D. Svedstedt in "On Word Order Options in Russian" give thorough surveys of the material and analyses of sentences and sentencevariants, that may facilitate language studies even if they do not represent an important contribution to the theoretical study of the theme-rheme dichotomy.

Lastly, to illustrate the wide interests of Scando-Slavica let me mention one more article: Th. Pettersson's "Existential Expressions in Russian and Modern Hebrew" (1981). The various forms of the expression of existence, familiar from the study of logic, are described in Russian and compared to those in Hebrew. Even if some plausible Hebrew constructions are given too much importance in the article (owing to their similarity to their Russian counterparts), the author does answer quite a few interesting questions (e. g. why there is a copula in the Hebrew sentence *ješ ledan kesef* ('Dan has money') when in its Russian equivalent *У Дана деньги* there is none). Although possibly some more satisfactory explanations could have been found if the author had also considered questions of functional sentence perspective, the article is still an interesting and useful contribution to the carefully selected and edited volumes of Scando-Slavica.

L. HUNYADI — L. JAGUSZTIN

И. В. Поздеева — Н. Д. Кашкарова — М. М. Леренман: Каталог книг кириллической печати XV—XVII вв. Научной Библиотеки Московского Университета
М., 1980, Изд. Моск. ун-та, 360 Seiten, mit ill.

Die Erforschung der alten Kyrillika entwickelte sich in der Sowjetunion in dem letzten Jahrzehnt schlagartig. Von den erreichten Ergebnissen zeugt der große und vielseitige Publikationsertrag.¹ Wegen seiner Methode kann der unlängst erschienene Katalog der vor 1700 erschienenen Kyrillika der Universitätsbibliothek zu Moskau auf großes Interesse rechnen.

Nach unserer Meinung haben die Verfasser ihre Zielsetzung auf dem höchsten Niveau, alle vorstellbaren Aspekte beachtend verwirklicht: die äußerst genaue Beschreibung der individuellen Merkmale eines jeden Exemplars der Sammlung.²

¹ Siehe dazu — unter anderen — die einschlägigen Angaben der ersten 6 Bände der internationalen buchhistorischen Bibliographie=Annual Bibliography of the History of the Printed Book and Libraries (ABHB)!

² Der Vergleich mit dem 1970 erschienenen Katalog der Kyrillika des 16—17. Jahrhunderts der Universitätsbibliothek zu Leningrad von A. H. Gorfunkel liegt auf der Hand; dieser Vertreter der Methode der „individuellen Exemplarbeschreibung“ („поэкземплярное описание“) hat seinerseits auch ausgezeichnete Arbeit geleistet, aber die drei Moskauer Verfasser schritten auf dem angeschnittenen Weg weiter voran, sie haben mehrere Aspekte beachtet, bedienten sich intensiver der Methode der angrenzenden Wissenschaftsgebiete (Wasserzeichenforschung, Paleographie, Geschichte der Buchbindung usw.) und waren bestrebt, alle Stationen im Schicksal der registrierten Bücher zu datieren.

Die alten Bücher wurden als historische Quellen behandelt; durch die Arbeit wurden zahlreiche kultur- und geschichtshistorische, prosopographische, kirchen- und ortsgeschichtliche Daten erschlossen. Die bearbeitete Sammlung besteht aus 396 Werken in 922 Exemplaren, nach ihrer Provenienz sind die Bücher hauptsächlich Gaben von Bibliophilen des 19. Jahrhunderts, überreichte Exemplare anderer Bibliotheken oder durch Ankäufe aus Antiquariaten in den Bestand der Bibliothek gekommen; 238 Bücher sind Ergebnisse archeographischer Sammelexpeditionen der Jahre 1966/1976 in dem europäischen Rußland, in der Ukraine, der Moldau, einige Titel von ihnen waren für die bibliographische Forschung bis jetzt unbekannt. (Besonders wertvolles Material konnte man in den Siedlungen der Altgläubigen sammeln!)³

Der Aufbau des Katalogs ist chronologisch; die Besprechung der Bücher folgt folgendem Schema:

1. Bibliographische Beschreibung

2. Die individuellen Merkmale des Exemplars

a) Der Zustand des Buches; fehlende Blätter, ihr Ersatz durch Handschrift oder durch die Blätter eines anderen Druckes; Textergänzungen durch Handschrift oder durch Teile eines anderen Druckes. Die handschriftlichen Ergänzungen und Einfügungen hat man paleographisch charakterisiert: Datierung, Schrifttyp, Wasserzeichen. Zum Schluß können wir über den Papierzustand des Grundwerkes sowie über die Spuren und Technik eventueller alter Restauration lesen.

b) Der zweite Teil der Deskription befaßt sich ausführlich mit den Einbänden: mit ihrem Material, mit der Technik, Erhaltung, mit den Verzierungen, mit dem Alter bzw. mit eventuellen Reparaturen. Auch die Wasserzeichen der zum Einband benutzten Papiere wurden als Quellen zur Geschichte des Exemplars identifiziert. (Dieses Inventar ist auch für die Erfassung des Papierverkehrs des 16—19. Jahrhunderts von großem Nutzen!)

c) Nach der eigenen Aussage der Verfasser haben sie die größte Achtung der Erschließung der handschriftlichen Eintragungen gewidmet: Nach den Editionsprinzipien der alten russischen Sprachdenkmäler veröffentlichen sie ihren ganzen Text. In diesem Teil werden auch alle in den Büchern auffindbaren Stempel und Exlibris besprochen.

d) Die letzte Datenreihe berichtet darüber, aus welcher Quelle und in welchem Jahr das Buch in die Moskauer Universitätsbibliothek kam.

Der Datenreichtum der einzelnen Exemplarbeschreibungen wird durch sieben, sorgfältig bearbeitete Register zugänglich gemacht.

1. Aus dem Druckverzeichnis geht hervor, daß die große Mehrheit der registrierten Bücher zwar in Moskau gedruckt wurde, in der Zusammensetzung der Sammlung sich auch der Verkehr ukrainischer, belorussischer und litauischer Drucke in Rußland widerspiegelt.

2. Titel- bzw. Inzipitindex

3. Namenregister von Verfassern, Druckern und Mitarbeitern mit biographischen Angaben und Annotationen ergänzt.

4. Register der individuellen und kollektiven Possessoren sowie der in den Marginalien genannten Personen mit Annotationen und Datum.

5. Geographisches Verzeichnis der Siedlungen, Kirchen, Klöster und Einsiedeleien, die in den Possessoreintragungen und Marginalien vorkommen.

6. Chronologisches Verzeichnis der datierten handschriftlichen Eintragungen.

7. Verzeichnis der Sammlungsorte und Sammlungsdaten des in den Jahren 1966/1976 erschlossenen Buchmaterials.

³ Unsere eigene Erfahrungen auf dem Gebiet des griechisch-katholischen Bistums zu Hajdúdorog sowie auf dem des Miskolczer Exarchats weisen ebenfalls darauf hin, daß in Dörfern, Pfarchien recht wertvolle Bücher stecken können, ihre Sammlung, Rettung ist dringende Aufgabe. Die Ostroger Bibel kam von Nordostungarn, aus einer Dorfkirche aufs Tagelicht; bibliophile Pfarrer haben zahlreiche Kyrillika des 17. Jahrhunderts in die Bibliothek des Bistums eingeliefert.

Die Verfasser haben den Katalog mit imponierend vielseitigen Kenntnissen, ausgezeichneter Methode und ausharrender Arbeit so zusammengestellt, daß er als Vorbild dienen kann für jene, die sich mit ähnlichen Studien befaßen.⁴

Das aufmerksame Lesen des Katalogs überzeugt uns, daß die Fragen der altrussischen Buchkultur (besonders die des 16—17. Jahrhunderts!) nuancenreicher, komplizierter sind, als sie sich nach den Forschungen der 60-er Jahre vermuten ließen.

Besonders gilt es für den gesellschaftlichen Stand der Personen, die sich mit Büchern befaßten (Besitzer, Leser, Donator, Glossator); und wie es aus dem Katalog hervorgeht, haben sogar die Vertreter der unteren Volksschichten in bedeutender Zahl Bücher auf irgendeine Art benutzt.

Die Moskauer Kollegen haben die Botschaft alter Jahrhunderte gesandt, wir haben sie mit Freude gelesen. Das Beispiel veranlaßt, ihm zu folgen, inspiriert auf Arbeit!⁵

E. OJTOZI

⁴ Die Possessor- und Marginalienforschungen in der Universitätsbibliothek zu Debrecen laufen, den Möglichkeiten gemessen, mit komplexer Methode. Siehe darüber: J. Czellár-Csiba: Possessori és marginális bejegyzések vizsgálata a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárában (Untersuchung von Possessor- und Marginaleintragungen in der Bibliothek der Lajos Kossuth Universität zu Debrecen.) Debrecen, 1979.

⁵ Wir bedanken uns bei I. W. Posdeewa für das Rezensionsexemplar. Leider erschien der Katalog nur in 1650 Exemplaren, diese Auflagenzahl halten wir für zu klein!

INDEX

А. Шалга: Категория залога в русском языке	5
J. Krékits: Die pantiven und totiven <i>po</i> -Ingressiva in der russischen Sprache	11
П. Узони: К полному словообразовательному синтезу	19
В. А. Федосов: Названия головных уборов в русском и венгерском языках (О принципах сравнительно-типологического писания семантики языков)	27
I. Fried: Beitrag zur Frage des Klassizismus in den ostmitteleuropäischen Literaturen (Zum Charakter der Spracherneuerungen)	35
В. Г. Елкин: К методологии истолкования пушкинского текста (Фрагмент анализа «Капитанской дочки»)	43
I. Csapláros: Das Echo des Novemberaufstandes im Spiegel der damaligen öffentlichen Meinung in Ungarn	47
Л. Аллен: «Герой нашего времени» в художественном восприятии Достоевского	65
Л. Имре: Русские литературные связи кружка Араня—Ченгери	75
L. Lieber: Die Wiederholung in der Charakterdarstellung von Gogol und Čechov	105
А. Геребен: «Конармия» И. Бабеля в литературной критике 20-х годов	119
Л. М. Такач: Стихотворения Ласло Надя на украинском и русском языках (Анализ художественных переводов)	139
L. Jagusztin: In the Widening World of Parables of Aytmatov's works	145
М. Хоппал: Повествование и память (Рассказ Л. Н. Толстого в пересказе одного венгерского крестьянского сказителя)	151

Critica et Bibliographia

Literatura staropolska w kontekście europejskim. (Związki i analogie) (Pod. red. Teresy Michałowskiej i Jana Ślaskiego.) <i>Studia porównawcze o literaturze staropolskiej</i> (Pod. red. Teresy Michałowskiej i Jana Ślaskiego.) (<i>L. Hopp</i>)	165
Scando-Slavica (<i>L. Hunyadi—L. Jagusztin</i>)	167
И. В. Ноздеева—Н. Д. Кашкарова—М. М. Леренман: Каталог книг кириллической печати XV—XVII вв. Научной Библиотеки Московского Университета (<i>Э. Оумозу</i>)	170

СОДЕРЖАНИЕ

А. Шалга: Категория залога в русском языке	5
Й. Крекич: Пантивныи и тотивныи ингрессивы с приставкой <i>no</i> в русском языке	11
П. Узони: К полному словообразовательному синтезу	19
В. А. Федосов: Названия головных уборов в русском и венгерском языках (О принципах сравнительно-типологического описания семантики языков)	27
И. Фрид: К вопросу классицизма в литературах Средней Восточной Европы (О характере обновлений языка)	35
В. Г. Елкин: К методологии истолкования пушкинского текста (Фрагмент анализа «Капитанской дочки»)	43
И. Чапларош: Отзвук ноябрьского восстания в свете современного общественного мнения в Венгрии	47
Л. Аллен: «Герой нашего времени» в художественном восприятии Достоевского	65
Л. Имре: Русские литературные связи кружка Араня—Ченгери	75
Л. Либер: Повторение в изображении характеров Гоголя и Чехова	105
А. Геребен: «Конармия» И. Бабеля в литературной критике 20-х годов	119
Л. М. Такач: Стихотворения Ласло Надя на украинском и русском языках (Анализ художественных переводов)	139
Л. Ягустин: В расширяющемся мире парабол произведений Айтматова	145
М. Хоппал: Повествование и память (Рассказ Л. Н. Толстого в пересказе одного венгерского крестьянского сказителя)	151

Критика—библиография

Literatura strapolska w kontekście europejskim. (Związki i analogie) (Pod. red. Teresy Michałowskiej i Jana Ślaskiego.) <i>Studia porównawcze o literaturze staropolskiej</i> (Pod. red. Teresy Michałowskiej i Jana Ślaskiego.) (L. Hopp)	165
Scando-Slavica (L. Hunyadi—L. Jagusztin)	167
И. В. Ноздеева—Н. Д. Кашкарова—М. М. Леренман: Каталог книг кириллической печати XV—XVII вв. Научной Библиотеки Московского Университета (Э. Ойтосу)	170

TABLE DES MATIÈRES

A. Salga: La catégorie de «zalog» dans la langue russe	5
J. Krékits: Verbes ingressifs panthifs et totifs à préfixe <i>po</i> dans le russe	11
P. Uzonyi: Vers une synthèse dérivationnelle complète	19
V. A. Fédossov: Termes désignant les varités de couvre-chefs en hongrois et en russe (Sur les principes de description typologico-comparative de la sémantique des langues)	27
I. Fried: A propos du classicisme dans les littératures de l'Europe centrale orientale (Caractéristiques de la néologie)	45
V. G. Yolkine: Aspects méthodologiques de l'interprétation du texte pouchkinien (Un fragment d'analyse de «La fille du capitaine»)	43
I. Csapláros: Les réactions de l'opinion publique hongroise contemporaine devant l'insurrection de novembre	47
L. Allain: Le «Héros de notre temps» dans la conception artistique de Dostoïevski	65
L. Imre: Les relations littéraires russes du cercle Arany—Csengeri	75
L. Lieber: La répétition dans la peinture des caractères chez Gogol et Tchékhouv	105
Á. Gereben: La «Cavalerie rouge» de Babel dans la critique littéraire des années 20	119
L. M. Takács: Poèmes de László Nagy en ukrainien et en russe (Analyse de traductions)	139
L. Jagusztin: Dans l'univers élargi des paraboles d'Aytmatov	145
M. Hoppál: Récit et mémoire (Une nouvelle de Tolstoï dans la mémoire d'un conteur paysan hongrois)	151

Critique et comptes rendus

Literatura staropolska w kontekście europejskim. (Związki i analogie) (Pod. red. Teresy Michałowskiej i Jana Ślaskiego.) <i>Studia porównawcze o literaturze staropolskiej</i> (Pod. red. Teresy Michałowskiej i Jana Ślaskiego.) (L. Hopp)	165
Scando-Slavica (L. Hunyadi—L. Jagusztin)	167
И. В. Ноздеева—Н. Д. Кашкарова—М. М. Леренман: Каталог книг кириллической печати XV—XVII вв. Научной Библиотеки Московского Университета (Э. Ойтосу)	170

Szedte az Alföldi Nyomda
Nyomta az Alföldi Nyomda
A nyomdai rendelés törzsszáma: 372.66.19-2
Készült Debrecenben az 1984. évben

NOS COLLABORATEURS

LOUIS ALLAIN
(v. Slavica XVIII.)

ISTVÁN CSAPLÁROS
(v. Slavica XI.)

V. A. FÉDOSSOV
maître de conférences à la Chaire de langue
russe de l'Institut Pédagogique
(l'URSS, Vladimir)

ISTVÁN FRIED
(v. Slavica XVII.)

ÁGNES GEREBEN
(v. Slavica XIX.)

LAJOS HOPP
(v. Slavica XV.)

MIHÁLY HOPPÁL
(v. Slavica XIV.)

LÁSZLÓ HUNYADI
(v. Slavica XVIII.)

LÁSZLÓ IMRE
(v. Slavica XV.)

LÁSZLÓ JAGUSZTIN
(v. Slavica XV.)

JÓZSEF KRÉKITS
maître de conférences à la Chaire de
langue russe de l'École supérieure
«Gyula Juhász»
(Hongrie, 6725 Szeged)

LÁSZLÓ LIEBER
(v. Slavica XVI.)

ESZTER OJTOZI
(v. Slavica XII.)

ATTILA SALGA
maître-assistant à la Chaire de langue
russe
(Hongrie, 4010 Debrecen)

LAJOS M. TAKÁCS
maître-assistant à la Chaire de littérature
russe
(Hongrie, 4010 Debrecen)

PÁL UZONYI
assistant à la Chaire de langue russe
(Hongrie, 4010 Debrecen)

V. G. YOLKINE
maître de conférences à la Chaire de
littérature russe de l'Institut Pédagogique
(l'URSS, Vladimir)